

НОВЫЙ
Журнал

155

THE NEW
REVIEW

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Петлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок третий год издания

**РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА**

NEW REVIEW. June 1984

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию. Окончание II тома	5
<i>Е. Таубер</i> — Стихи	60
<i>Ю. Кашкаров</i> — Князь Иван Хворостинин. Словеса Царей и Дней .	61
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	81
<i>Ф. Скотт Фитцджеральд</i> — Три часа между полетами. Перевод <i>Джеммы Бидер</i>	83
<i>И. Елагин</i> — Стихи	90
<i>А. Шор</i> — В. Т. Шаламов и А. И. Солженицын	92
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	102
<i>В. Крейд</i> — Стратановский и ленинградская поэтическая школа ..	103
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ	
Воспоминания <i>М. В. Добужинского</i> . Отрывок из II тома	115
Переписка <i>И. А. Бунина</i> с <i>М. А. Алдановым</i> (публикация <i>А. Зверса</i>)	131
<i>С. Серебряков</i> — В плену у немцев	147
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА	
<i>А. Федосеев</i> — Эмиграция и социализм	168
<i>А. Натов</i> — Русская периодическая печать второй половины XX века	185
<i>Игумен Геннадий Эйкалович</i> — Понятие "русской интеллигенции" .	209
Троцкий о Сталине. Публикация и вступительная статья <i>Ю. Фельштинского</i>	219
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ	
<i>Р. Плетнев</i> — УДБ	289
ПАМЯТИ УШЕДШИХ	
<i>Г. Лидес</i> и <i>Н. Моравский</i> — Л. Л. Домгерр	293
БИБЛИОГРАФИЯ	
<i>Т. Фесенко</i> — "Жизнь прошла, а молодость длится..." "На берегах Сены" <i>И. Одоевцевой</i>	295
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ	
<i>В. Перелешин</i> — <i>Ю. Иваск</i> — <i>А. Авторханов</i>	299

Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation
335 Clifton Avenue • Clifton, New Jersey 07011

Я УНЕС РОССИЮ

Т. II. "РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ"

В Англии

Переправа через Ла Манш была бурной. Газеты писали, что за 50 лет в проливе не было такой бури, ибо дули "перпендикулярные" ветры-штормы (северо-южный и западно-восточный) и наше утлое судно трещало так, будто вот-вот развалится. Пассажиры лежали полумертвые, кто на койках, кто просто на полу. И только стюарды (чему я поражался) эквилибристически ходили среди пассажиров-трупов, помогая чем нужно. Но до Саутхэмптона мы все-таки дошли.

И вот я иду уже по Лондону, по Оксфорд стрит. И меня охватывает необычайное чувство какой-то полной и странной уверенности во всем. Анархический Париж, бессмысленная толчея неврастенического Монпарнаса — позади. Я чувствую полное душевное отдохновение. "Английская почва" тверда, пряма, тут ты "никуда не оступишься, не провалишься". Никто (как в Париже) тебя не толкнет, не заденет. В Лондоне (и во всей Англии, наверное) словно разлита разумность, ясность, доброжелательство.

В первые дни меня поразило "джентльменство" бриттов, увиденное "в пустяках". Не зная английского, я разыскивал знакомого, написавшего адрес на клочке бумаги. Улицу, мне казалось, я нашел. Но дом с таким номером — хоть убей — не мог. Я стал приходить уж в отчаяние. Улица, как назло, пустынна. Вдруг вижу, по другой стороне идет какой-то средней руки англичанин. Я — к нему. Сказал, что английского не знаю, и показываю нужный мне адрес. Он добродушно смеется и говорит, что это не здесь. Далее он берет меня за локоть и с бумажкой в руке ведет совсем в противоположную сторону. Так, молча, мы прошли квартала два, он подвел меня к нужному

*См. "Н. Ж.", кн. 144, 145, 147, 148, 152, 153.

дому, поднялся со мной по каменной лесенке к звонку, позвонил. И только, когда входная дверь открылась, сдал меня на руки отворившей прислуге. Я благодарил, как мог. А он засмеялся и пожелал мне "гуд бай!" Если б это было в Париже, я почти наверное наткнулся бы на грубое "j'chais pas!". На эти "шэ па" я нарывался не раз. Уличные французы почти всегда грубы и "погибающим" иностранцем никак не интересуются. И в Германии этого доброжелательства к первому встречному не было.

Второй случай джентльменства среднего бритта был еще удивительней. Я заболел кашлем. Доктор что-то прописал. И я пошел в аптеку. Фармацевт стал мне объяснять, что у них этого лекарства нет (это я с грехом пополам понял). Но, вероятно, на моем лице было такое незнание, что же мне делать, что фармацевт вдруг вышел из-за прилавка, взял меня за руку, вывел на улицу и стал показывать на какую-то голубую вывеску (это я понял), говоря, что там это лекарство я наверное найду. Я пошел на голубую вывеску (полквартила) и увидел, что это тоже аптека. Вошел. Дал рецепт. И купил нужное. Внутренне я был поражен тем, что аптекарь послал меня к своему конкуренту-аптекарю. И это было, конечно, джентльменство.

Меерсон жил в дорогой зеленой части Лондона Хемпстеде, в чудесном особнячке. Платил очень много, потому что у Мэри и Лазаря обязательной нормой жизни был снобизм. Но в комфортабельном особнячке я переночевал только ночь. На следующий день милая шотландка, миссис Литтль (наша хорошая знакомая по Парижу) нашла мне в том же Хемпстеде на Александра Роуд дешевый пансион (крохотная комната с завтраком) у двух русских евреек, давно ставших лондонками.

Миссис Литтль была одинока, свободна и с удовольствием стала моим "опекуном" и гидом по всем достопримечательностям британской столицы. Конечно, мы были на разводе караулов у Сент-Джеймского дворца — видели этот подлинный "солдатский балет". Посмотрели снаружи и Букингемский дворец. Были и в Сохо, во французском ресторане, и — на Пикадилли в каком-то фешенебельном отеле. Были, разумеется, и в Гайд-Парке. Тут меня, "большого любителя свобод", при-

влекли и ораторы — “поднимайся на возвышение и говори что хочешь!” — а тебя слушает окружающая каждого оратора небольшая, но всё-таки толпа. Английского, повторяю, я не знал. С миссис Литтль говорили по-французски. Но “мой гид”, старая лондонка, все мои восторги “свободы” сразу разбила. — “Мсье Гуль, — сказала она, — это все так только кажется: для туристов. На самом деле, ораторы Гайд-Парка — маньяки, охваченные какой-нибудь самой нелепой, а подчас даже дикой идеей, которую они приходят сюда “проповедовать” — “Но их же слушают? Стало быть, это не нелепо?” — “Ах, никто их не слушает, люди, окружающие ораторов — преимущественно персонажи, заводящие в толпе “ненормальные знакомства”. Так разбилась моя любовь к “свободе мысли и слова” в Гайд-Парке.

Были мы, конечно, и в Британском Музее, гуляли по берегу Темзы, заполненной разнообразными баржами, яхтами, кораблями. Были в старинном соборе Св. Павла. Только в Вестминстер почему-то не попали. Зато ездили в Оксфорд, Кембридж, Виндзор полюбоваться британской стариной колледжей и замка.

Разумеется, по приезде в Лондон мне надо было “одеться” соответственно с общением с такими людьми, как Жак Федер, сэр Александр (Корда), Марлен Дитрих, Роберт Донат и прочие звезды и полувзвезды экрана. Миссис Литтль, как истая шотландка, повезла меня “только в Скотч-Хауз”. Там я и приобрел твидовые и нетвидовые костюмы, купил соответственные “моему обществу” пальто и шляпу. Вообще, с 35 фунтами в неделю всё обстояло легко. Иногда, по делам фильма, с шофером-англичанином я ехал по Лондону в комфортабельном “казенном” автомобиле “Лондон Филмз Продакшен Компани”, вспоминая, что несколько дней тому назад в Париже у меня не было денег даже на трамвай. А вот еду по Лондону “заправским буржуем”.

Но приятные прогулки, поездки, завтраки, обеды с миссис Литтль были только по субботам и воскресеньям. Всю неделю я интересно работал в студиях Денама (Denham) в “Лондон Филмз Продакшен Компани” в т. н. “британском Голливуде на Темзе”, который выстроил под Лондоном феноменальный делец Александр Корда на архимиллиарды знаменитой страховой

РОМАН ГУЛЬ

компании "Пруденшел".

Каждое утро после чудесного английского брекфаста (крепкий чай с молоком, яйца, поджаренный бекон, теплый хлеб, масло, мёд и прочие вкусности) я ждал у своего дома мистера Трендела. М-р Трендел оказался очень приятным господином. Истый англичанин, он называл себя "гражданином мира", ибо долго жила в Европе. Свободно владел французским, и поэтому он был приставлен к Жаку Федеру (говорившему по-английски плоховато). На съемках Трендел ни на шаг не отходил от своего патрона. За мной Трендел приезжал в крохотном красном автомобильчике для двоих и мы, выехав из столицы, неслись в потоке машин в Денам.

Часто на этом шоссе все машины перекрывал, будто по воздуху несшийся, черный, громадный, блестящий роллс-ройс. Это Марлен Дитрих на своей, привезенной из Америки машине, со своим же шофером (тоже во всем черном) мчалась в Денам на съемки "Knight without armor". За ее участие в этом фильме Корда должен был уплатить не менее не более, как 350 тысяч долларов. Гонорар неслыханный, но, по рассказам Трендела, сто тысяч долларов Корда так ей и не доплатил, что вполне было в нравах этого фильмового "тайкуна".

Трендел был очень разговорчивым, симпатичным человеком и отношения у нас установились дружеские. Он постоянно рассказывал мне всякие истории о том, как умен, ловок и деловит Александр Корда, бедный венгерский еврей по фамилии Кельнер, ставший мировым фильмовым воротилой. Теперь он "дружил" и с Уинстоном Черчиллем, у которого, зная заранее, что не будет "крутить" такой фильм, все-таки купил права на "Лайф оф Мальборо" и, нуждавшийся тогда в деньгах, Черчилль "тайно" даже писал соответственный скрипт за десять тысяч долларов. Дружил Корда и с Уэллсом, сына которого взял в Денам художником, помощником Меерсона; и с лордом Бивербруком, и с Робертом Шервудом, не говоря уж о фильмовых "звездах": Лоуренс Оливье, Чарлз Лоутон, Ральф Ричардсон, Вивьен Хейг, Мерль Оберон и другие. Так никому неведомый Александр Кельнер стал не только легендарным фильмовым "тайкуном", знаменитым Александром Кордой, но

был возведен и в рыцарское достоинство со званием "сэра": сэра Александр.

В Denham

Свою работу в Денам я начал со знакомства с Жаком Федером (Feyder), только что прогремевшим постановками — "Ле гран Жё" и "Кермесс Эроик". Я сразу увидел, что Федер — симпатичный человек (настоящая фамилия его — Фредерикс, по рождению он был бельгиец). Я как-то спросил его: "А вы знаете, что при русском царском дворе был некий Фредерикс? Даже министр двора...". Федер рассмеялся: "Знаю, знаю, говорят, большой был осел...". Федер был артист до мозга костей. По виду страшно худ, бледен, очень живой, говорил, сопровождая сказанное чрезвычайно характерными жестами. Встретил он меня радостно, предупредив, что у меня будет много работы, потому что он не хочет, чтоб его "высмеяли в Польше". В Польше тогда шли европейские фильмы и поляки, конечно, поняли бы и высмеяли всякую русскую "развесистую клюкву". А "Knight without armor" — был из русской жизни, из времен революции. Я клятвенно обещал, что полякам "его фильм высмеять не удастся", за это ручаюсь.

Рассказал Федер, как произошло мое "чудо" — приглашение в "технические советники". Известная французская драматическая артистка, долго выступавшая в Комеди Франсэз, Франсуаз Розе, жена Федера, выслала мужу из Парижа несколько "нужных для его фильма книг". И среди них был мой "Азеф" по-французски, изданный у Галлимара под заглавием "Lanceurs de bombes" ("Бомбометатели"). Но по недосмотру издательства на титульном листе было напечатано "перевод с немецкого". Помню, я поехал тогда к Галлимару, чтоб "устроить скандал", требуя перепечатать титульный лист. Но милейший Брис Паррэн, тогдашний директор издательства, свободно говоривший по-русски (женатый на русской — Челпановой, дочери известного московского профессора), уломал меня всякими "вескими" доводами. Перевод на французский Н. Гутермана был очень хорош, и Федер, прочтя книгу, как он говорил, "залпом", пошел тут же с "Азефом" к Меерсону, сказав: "Лазарь,

вот этого немца я обязательно хочу достать как "техникал адвайзор'а". Взяв книгу, Меерсон залился смехом (по рассказу Федер): "Да это же вовсе не немец, а русский, мой друг, которого мы немедленно можем вызвать телеграммой". "Я был в восторге! — говорил Федер, — и мы, с согласия Корды, послали вам телеграмму". Это и была телеграмма в 52 слова с требованием "не соглашаться меньше, чем на 50 фунтов в неделю".

В первый же день Федер повел меня "представиться" Александру Корде. Корда произвел выгодное впечатление. Очень высокий, худой, умное, "неординарное" лицо, дорого-небрежно одетый, прекрасно говорил по-французски. Сказал мне все "нужные аншантэ", выразив уверенность, что я буду прекрасным "техническим советником". Мы долго не задерживали миллионера-тайкуна, который, как говорил мне Федер, на постановку "Knight without armor" получил не более не менее как 3 миллиона фунтов стерлингов. Цифра по тем временам астрономическая. И мне, конечно, нужно было настаивать на 50 фунтах в неделю, которые я без сомнения и получил бы, ибо эти миллионы (как я увидел за шесть месяцев работы), расхищались как попало.

Фильм "Knight without armor" ставили по роману английского писателя Джемса Хилтона. Сюжет из времен русской революции. Была в нем, конечно, и "графиня Александра" (Марлен Дитрих) и ее отец, министр внутренних дел, на которого покушаются террористы (копия с убийства Плеве из романа "Азеф"). Но министр (по ходу сценария) был только ранен. Лошади же были убиты. Откуда-то достали четырех кляч и убили для съемок. Этих кляч мне было жаль.

Меерсону было раздолье: он строил и дворянскую усадьбу по фотографии знаменитого имения Юсуповых "Архангельское"; и русский уездный городок; и русскую железнодорожную станцию. Все это влетало в большую копеечку, но на миллионы "Пруденшэл" можно было порезвиться. На съемках — сцены переигрывались десятки раз. И на это никто не обращал внимания.

Я был должен следить за правильностью костюмов отдельных актеров и революционной толпы, громящей имение "графини Александры". Для большевицкого комиссара Олечка

прислала экстренно из Парижа выкройку "толстовки", так как Федер обязательно хотел обрядить именно в нее большевика-комиссара. В те годы (1936) люди не носили бород и бакенбардов, ходили бритые, и студийные парикмахеры пришли в замешательство с "русскими" бородами и усами. Для сего я достал книгу портретов членов четырех русских Государственных Дум. Теперь парикмахеры были в полном восторге, преображая строгость английских лиц русскими бородами, усами, а иногда и бакенбардами. Для форм Белой Армии я экстренно выписал из Парижа от моего друга-однополчанина (корниловца) Димы Возовика его превосходный альбом фотографий Белой армии. Ему, конечно, за это хорошо заплатили. И как только я раскрыл альбом перед Федером он, увидев первым генерала Врангеля в черкеске, тут же ткнул в него пальцем, сказав: "Непременно хочу, чтоб было вот это! Что это такое?". Я объяснил, и черкески были сшиты. Понравилась Федеру и корниловская форма — черная с белым кантом и шевроном на рукаве "череп и кости". Я работал с увлечением. Федеру моя работа нравилась, он чувствовал, что теперь его уж никак не "высмеют в Польше". И от парикмахеров я переходил к студийным портным, через Трендела объясняя, что тут изображено на фотографиях. Портные понимали с полуслова. Часть грабящих именовали "графини Александры" я одел в матросскую форму с надписью на околышах "Аврора". Вообще всё шло гладко и интересно. С Федером мы очень подружились.

С Марлен Дитрих я познакомился в первые же дни, в студийном ресторане за завтраком. Федер представил меня Марлен. Надо отдать справедливость: первая женщина в мире, надевшая мужские штаны, была интересна. Она была одета элегантно: в какую-то полумужскую куртку цвета "беж" и в такие же заглаженные складкой штаны. В разговоре (свободно говорила по-французски) была проста особой простотой знаменитости. С ней сидела русская девушка, эмигрантка Тамара Матуль, которую я знал по Парижу. Отец ее был московский купец (немецкого происхождения). Я встречал их у общих знакомых (тоже бывших московских купцов Ильвовских). Я поздоровался и с Тамарой. Сказали какие-то незначительные слова. Тамара — бледная, с большими темными глазами, производила

странное впечатление. Начала она в Париже с кордебалета, но дело не шло, пока не встретила Марлен, которая к ней глубоко привязалась и взяла под свою опеку. Вскоре Тамара вышла замуж за первого "законного" мужа Марлен — за Руди Зибера. Газеты писали об "интимном квартете": — Марлен, Тамара, Руди и фон Штернберг. Но длительно такой супербогемной жизни Тамара, вероятно, выдержать не могла. Она сошла с ума и скончалась в доме для умалишенных.

На Рождество Марлен сделала подарки всем сотрудникам фильма, от Федера (дорожный несесер) до последнего рабочего студии. Я получил прекрасный бумажник светлой свиной кожи, который служил мне долгие годы. К костюмам Марлен меня не подпускали, Федер выписал из Парижа своего приятеля художника Бенда, но, увы, русских сарафанов и прочего он, естественно, не знал и Марлен часто отказывалась от сшитых по его рисунку нарядов. Но знаменитые ноги Марлен я все-таки видел не раз. Это было в студии, в сцене, изображавшей Марлен в первый день, когда она "перебежала" к белым. Федер зачем-то вызвал меня (для какой-то точности). Марлен, по ходу действия, должна была мыть ноги. В фильме за 3 миллиона фунтов и с гонораром Марлен в 350.000 долларов надо же было (и не раз, а много раз!) показать ее "знаменитые ноги", до которых кинозритель был так охоч. Скажу по правде, в натуре "знаменитые ноги" меня несколько разочаровали: да, они были прекрасны, стройные, длинные, прямые, но ступня — большая, немецкая. И потому всегда надевалась обувь на очень высоком каблучке, чтобы скрыть величину ступни. Это было не так легко.

А как в разговоре со мной ругался Федер, когда выяснилось, что Марлен запрещала снимать ее в профиль (профиль был нехорош), нефотогеничен, как говорится. И когда лицо Марлен попало на пленку в профиль, это немедленно вырезалось. Снимать было можно только "ан трау кар" или "анфас". Конечно, режиссеру это было трудно и в разговоре со мной Федер чертыхался и ругался самыми "камброновскими" словами.

Столь же претендателен был и партнер Марлен — молодой англичанин Роберт Донат, которого неизвестно почему выдвигал Корда. Как-то он вызвал меня для примерки русского полуботинка. Перед зеркалом он пробовал его надевать и так и сяк: и

открыто, и полуоткрыто, и застегнутым. Глядя на него я думал: "ну, настоящая баба!" А снимать Доната тоже полагалось только при каких-то определенных поворотах головы. Остальное вырезалось. Но ведь все так называемое "искусство кино" — тут-то за шесть месяцев я убедился в этом воочию — с подлинным искусством если и имеет, то самую отдаленную общность. В большинстве это чистейший "кич", почти всегда полу-халтура или просто халтура для одурения "массового кинозрителя", с подыгрыванием под его вкусы. Исключения единичны.

Подлинный художник, Федер, разумеется, понимал это еще лучше меня, но... 3 миллиона фунтов — сила притягательная, а он тянул из них весьма большую толику. Сам говорил, что во Франции "скрутил" бы этот фильм в два месяца. А тут "крутил", слава Богу, — целых шесть!

При студиях в Денам было два ресторана. Один — для высших персон и дорогой, другой — общий кафетерий. Я ел и там и сям. Как-то Меерсон позвал меня позавтракать со знаменитым Чарльзом Лоутоном (Lauthon), прославившимся всемирно и прославившим Корду в фильме "Частная жизнь Генриха 8-го". Лоутон, по-моему, был гениальный актер и собеседник очень интересный. По-французски говорил, как подлинный парижанин. Меерсон сказал, что в молодости Лоутон целый год играл в "Комэди Франсэз", Грузный, обрюзгший, некрасивый, толстый, рыжеватый, с неправильными чертами лица, он ел и пил много и без умолку рассказывал всякие смешные и интересные вещи. О его интимной жизни говорили всевозможные свинства, вероятно, так это и было. Мне особенно нравился Лоутон в роли Генриха 8-го, когда он ест курицу руками. Это было сделано артистически и запомнилось.

У Стивена Грэма

Через несколько дней я был у Стивена Грэма (Stephen Graham), редактора-издателя моего "Азефа" по-английски*, и в

*Roman Goul; General BO. Translated by L. Zarine. Edited by Stephen Graham. London Ernest Benn Lmt. 1930 (p. 322). Тот же текст вышел в Америке:

разговоре упомянул о фильме "Генрих 8", Грэм с омерзением меня перебил: "Это — гнусная и вульгарная карикатура Корды и его компании на нашу британскую историю". Я тут же прекратил всякий разговор на эту тему, поняв, что я, как русский, не почувствовал той "развесистой клюквы", которую не чувствуют (и любят!) иностранцы в фильмах на русские темы. Грэм был известный автор исторических исследований и романов. Писал он и на русские темы, написал книги о Петре I и об Иоанне Грозном. По-русски он говорил почти свободно, с легким акцентом. Было ему лет за 50. По типу — истый англосакс: очень высокий, худой, как будто небрежно, но хорошо одет. Жил на 60 Фрис стрит, Сохо Сквэр. Пригласил он меня завтракать и ели мы курицу, которую он сам зажарил в камине на вертеле, в своей старой квартире, заваленной книгами и увешанной картинами. До этого мы переписывались. Личное знакомство было приятно.

Кстати, вспоминаю. Через 10 лет (после войны) я приехал в Лондон уже как турист и решил узнать жив ли Стивен Грэм. Развернул телефонную книгу: тот же телефон, тот же адрес. Позвонил. Услышал голос Грэма "Хэлло!". Назвал себя и он тут же пригласил меня к себе опять на завтрак. Но когда в условленный час я подошел к его дому, я был поражен: угол дома, как бритвой, был отсечен. Но квартира Грэма каким-то чудом была не тронута. Грэм был тот же, только больше седины. Он познакомил меня со своей секретаршей-сербкой. В русской речи Грэма появилось много сербизмов. Как только я вошел в его старинный кабинет с камином, я спросил — бомбой ли разбита другая часть его дома? Грэм подтвердил. И тут же поразил меня, как громом. Медленно расставляя слова, он сказал: "Какая жалость, что Гитлер не победил". Как громом, потому что я ненавидел Гитлера и, как все в Европе, был рад его разгрому. У меня мелькнуло: вот наверное единственный во всем разбомбленном Лондоне англичанин, не радующийся своей

Provocateur. Historical Novel of the Russian Terror. Edited with an introduction by Stephen Graham. Harcourt, Brace and Company. New York 1931 (p. 312). На американском экземпляре Стивен Грэм написал: "Roman Goul with considerable admiration for his style and his work".

победе. Заметив мою "остолбенелость", Грэм сказал: "Жалость, потому что Сталин хуже и опаснее Гитлера". Я не нашелся, что ответить. Но сейчас — в 1984 году (когда Сталин — Хрущев — Брежнев — Андропов — Черненко) поставили мир на край страшной ядерной гибели — слова Грэма представляются providенциальными. Говорят, у американского генерала Патона в конце Второй мировой войны была правильная мысль — после нацистского Берлина покончить и с тоталитарной Москвой. Но куда тут! Вокруг больного Рузвельта поднялось такое кликушество и кудахтанье либералов, прессы, радио, что об этом и думать было нечего. Наоборот, в презренной и политически глупо-недальновидной Ялте "дяде Джо" отдали на пытку три прибалтийских государства, Польшу, Восточную Германию, а позднее — Венгрию и Чехословакию. Рузвельт даже пробовал рекомендовать представителю Норвегии Трюгве Ли — "уступить Сталину какой-то там кусочек норвежской земли", который так хотелось приобрести "дяде Джо". Но даже левый Трюгве Ли этим возмутился. И "кусочек" остался неуступленным.

Рассказы Трендела

А сейчас я возвращаюсь к нашим утренним поездкам в Денам с Тренделом на веселеньком красном автомобильчике. Трендел молчалив не был, всегда рассказывал что-нибудь интересное, остроумное. Как-то рассказал об остроумии Уинстона Черчилля. На каком-то дипломатическом рауте, когда гости откушали, — начались танцы. В модном танце пошел по залу и лидер лейбористов Бевин (A. Bevan). Бевин был некрасив, толст и, вероятно, неловок в танцевании. И какая-то дипломатическая дама обратилась к Черчиллю: — "Скажите, сэръ Уинстон, как называется этот танец, что танцует мистер Бевин?" — "Лэйбор мувмент", — без раздумья ответил Черчилль.

Когда я рассказал Тренделу, что миссис Литтль показала мне в Челси дом, на котором была мемориальная доска: "В этом доме жил известный драматург и острослов Оскар Уайльд", — Трендел удивился — "В Челси? Да я там живу десятки лет в двух шагах, и никогда не замечал никакой доски. Уверен, что и из соседей никто о ней не знает. Мы, англичане, народ спортивный

и на "мемориалы" мало обращаем внимания. — Потом, помолчав, спросил: — А вы читали в "Candide" воспоминания какого-то его приятеля о жизни Уайльда в Париже, там было много занятого". — "Нет". — "Я расскажу вам, что помню".

"Известно, что жизнь Уайльда в Париже была нищенская. Пьесы его не шли. Многие его сторонились. И дойдя до полного отчаянья, Уайльд решил кончить жизнь самоубийством. Но как? Ночью броситься в Сену с Моста Мирабо. Ночь. Отчаявшийся Уайльд идет уже по плохо освещенному мосту, но на середине его ему почудилась какая-то фигура, стоявшая у самого парапета. Уайльд подошел к человеку, участливо спросил: "Etes vous aussi un désespéré?" — "Non, monsieur, — сказала фигура, — je suis un coiffeur". Неожиданный ответ сорвал всё отчаяние Уайльда".

Вспоминая Мост Мирабо, недалеко от которого мы жили. в его полуночной темноте и тишине, мне всегда приходит на память стихотворение Гийома Аполлинэра (Костровицкого):

Sous le Pont Mirabeau
Coule la Seine
Et mes amours...

Другой рассказ Трендела из "Candide". Жил Уайльд недалеко от церкви Сан-Жермэн-дэ-Прэ, на улице дэ Бо з'Ар в паршивеньком отеле, на котором все-таки — для рекламы, наверное, — теперь была прибита дощечка: "Здесь жил известный английский драматург Оскар Уайльд". Я это знал, ибо рядом было "Литературное Агенство" Марка Слонима: эс-эр, самый молодой член Учредительного Собрания (от Одессы), литературный критик, впоследствии профессор русской литературы в Америке, Слоним был настоящий делец. И вел свои дела прекрасно. Он продавал русские книги для переводов на иностранные языки. Продал изд-ву Бержэ-Левро мою книгу о Вождях Красной Армии, "Тухачевского" — изд-ву Мальфэр, в Испанию продал "Азефа" изд-ву Zevs Editorial, Madrid, в Швецию "Вождей Красной армии" из-ву Siderstrom. И когда я пришел получать присланный аванс за испанского "Азефа" — 250 франков (ничего кроме "авансов" иностранные изд-ва и не платили, т. н. "роялти" оставались только в договорах), у Слонима я столкнулся с Н. А. Бердяевым, тоже пришедшим получать аванс от испанцев за свою замечательную "Фило-

софию неравенства”. Но его аванс был всего в 200 франков. Так что, когда я вошел в нашу “квартиру”, радостный, что у меня в кармане 250 франков, я, смеясь, сказал Олечке: “Знаешь, Испания ценит меня гораздо выше Бердяева! Я его перешиб на целых 50 франков!”

Еще рассказал Трендел о том, как навестивший Уайльда в Париже какой-то его друг подарил ему золотой луидор. Для нищего Уайльда это было целое состояние. Но на грех в тот же день почтальон принес Уайльду заказное письмо. И взяв его, Уайльд по привычке начал шарить в карманах мелочь, чтобы дать на чай. Увы, в карманах ничего, кроме золотого луидора не было. И Уайльд дал луидор “на чай” обомлевшему почтальону, поразившемуся, вероятно, щедростью богатого барина. Уайльд же, как и до луидора, остался нищим, но “джентльменом”.

Рассказал Трендел и о сыне Уайльда — Вивьене. Сидел Трендел с компанией в Сохо во французском ресторане. За соседним столом — Вивьен с компанией. Вдруг в дверь входит пожилой человек, делает несколько шагов в их сторону, но, увидев Вивьена, круто поворачивается к двери, чтоб быстро уйти.

Эй, ты, старикашка! — закричал Вивьен, — куда ж ты уходишь?! Иди к нам, сюда! Ведь если б ты не предал моего отца, ты бы мог быть моей матерью!

Это, оказывается, был престарелый лорд Дуглас, друг Уайльда, во время процесса ведший себя не по-джентльменски.

Когда я во время поездки как-то рассказал Тренделу об удивившем меня джентльменстве среднего англичанина (про человека, нашедшего мне нужный адрес и об аптекаре, пославшем меня к своему конкуренту), Трендел в особый восторг не пришел, сказав: — “Да, это здесь бывает, бывает. Но есть и другое, вот моя подруга, с которой я живу уже 20 лет, до сих пор не может забыть, как в детстве и юности отец бил ее башмаком по голове... отец был сапожник... И это не единичный случай. Среди англичан есть люди весьма мрачные и жестокие. Вы заходили когда-нибудь в ‘pub’ы?” — “Заходил, — ответил я, — и в сравнении с парижскими быстро и немецкими пивными был поражен, что в них “пьют молча”. — “Да, да верно, это вот и есть те самые, которые бьют детей “башмаком по голове”.

Моя работа

Так, в разговорах, мы и приезжали в Денам. Трендел шел к Федеру. Я по своим делам "советника". Однажды мое "советничество" было совершенно непредвиденным. Меерсон сказал, меня разыскивает композитор Миклош Рожэс (Miklos Rozsas), пишущий для "Рыцаря без доспехов" музыку. И, действительно, в студию Меерсона пришел этот Миклош Рожэс, впоследствии сделавший, кажется, карьеру в Голливуде. Это был скромный молодой человек, как и Корда, венгерский еврей, приятного вида, застенчивый. Он объяснил мне, в чем дело. Он должен из русских мелодий сделать музыку, подходящую для фильма, но мелодий этих он не знает. Рожэс говорил по-французски и мы могли хорошо сговориться.

— "Мсье Гуль, — говорил он, — можете ли вы мне напеть подходящие к сюжету фильма мелодии?". — "Напеть мне трудновато, — ответил я, — но если здесь есть где-нибудь пианино, я наиграю вам эти мелодии, нот я не знаю, играю по слуху". Рожэс обрадовался, говоря, что для него это даже лучше и мы пошли в какую-то комнату, где был рояль.

Я предложил ему, во-первых, для сцен с министром внутренних дел (и вообще для начала фильма) — гимн "Боже царя храни". Сыграл ему кое-как. И Рожэс тут же записал мелодию на нотной бумаге. Для революции я предложил революционную песню "Смело, товарищи, в ногу" (ему тоже понравилось). Но, как главную мелодию фильма я предложил "Эх, яблочко, куда котишься". Это ему особенно понравилось. Он был в восторге. И я был удивлен, как каждую мелодию по слуху он тут же заменял превосходной аранжировкой, будто перед ним лежали ноты. Из "Яблочка" он сделал всевозможные вариации и решил провести эту мелодию сквозь весь фильм. Играя свои аранжировки и вариации, Рожэс показал себя в полном блеске музыкального дара. Тут же он записал всё на нотной бумаге. И за все "напевы" нещадно благодарил, говоря, как я его выручил. Эта музыка и прошла в фильме.

В тот день меня рвали — то тот, то другой. Федер настиг меня с большой фотографией, где были русские дореволюционные городовые. — "Тут все понятно, но что *это* такое?" — тыкал

он пальцем в башлыки. Я объяснил, что в Западной Европе этого не носят, нет нужды. А в России носят башлыки от холода. — “Так вот я их обязательно хочу иметь!” — “Чтоб не высмеяли в Польше? — пошутил я. — Хорошо, я их вам сделаю”. И в тот же день пошло экстренное письмо Олечке в Париж и в ответ она (тоже экстренно!) прислала полный рисунок башлыка и выкройку. Федер был удовлетворен. И в сцене покушения террористов на министра внутренних дел городовые у нас фигурировали в башлыках, точь в точь “как в натуре”.

После этого меня настиг Меерсон. Ему надо было сделать внутренность крестьянской избы, которой он никогда не видал. Я ему все рассказал: появилась на рисунке и печь с полатями, и божница с иконами, и лавки, и стол. Но вот “зыбку” Меерсон долго не мог понять, а я уверял, что для колорита старой крестьянской избы “зыбка” необходима. И “зыбка” родилась, на подвесочках, покачиваясь из стороны в сторону, как с ребенком.

За завтраком Федер был особенно весел: вечером приезжала на два дня Франсуаз Розэ. Это был крепкий, хороший брак, у них было трое детей, о которых Федер как-то сказал: “Я не хочу, чтоб они стали актерами, пусть будут директорами банков, какими-нибудь чиновниками в министерстве иностранных дел...” Потом, помолчав и улыбнувшись, Федер спросил: “А знаете, что Франсуаз делает первым делом, когда приезжает ко мне в Лондон?” — “Нет, что?” — “Прежде всего, — улыбаясь, говорил Федер, — она дает мне две пощечины...” — “Почему?” — удивился я. — “Да потому, — сказал он, смеясь, — что она же знает, что в ее отсутствие я обязательно сделаю какие-нибудь “глупости с женщинами”...”

Как режиссер, как “показывальщик” актеру, что и *как* нужно играть, Федер был исключителен. Помню самую простую сцену: горничная должна пройти по ресторанной комнате, заполненной “белыми офицерами”. Какая-то маленькая актриса, игравшая горничную, взяла и прошла. И вдруг Федер пришел в бешенство. — “Да разве так горничная проходит через комнату, переполненную молодыми мужчинами?!” — кричал он. Бедная актриса растерялась: ну, прошла и прошла. — “Вот я сейчас вам покажу, как горничная должна пройти!” И худой Федер прошел по залу, “как горничная”, подвигивая задом, кокетливо глядя по

сторонам, выпятив грудь. Это было настолько сногшибательно артистично и психологически верно, что все присутствующие разразились овацией. И бедную актрисенку-горничную Федер заставил пройти так четыре-пять раз, пока она не "восчувствовала" эту бессловесную роль.

Помню, как на плато в перерывах съемок пришел к Марлен, приехавший из Европы, Жозеф фон Штернберг, ее первый режиссер и, кажется, бывший муж. Разговаривая с ним на плато, Марлен почему-то то и дело целовала ему руки, что, по-моему, было странновато. Правда, Марлен была обязана Штернбергу всей карьерой. Он "сделал" Марлен. Если б не "Голубой Ангел" мирового имени, вероятно бы не было.

"Ich bin von Kopf bis Fuss
Auf Liebe angestellt
Das ist mein Welt...
Und weiter gar nichts..."

"Голубой Ангел" я отношу к тем немногим подлинно художественным фильмам, которые можно смотреть и сейчас. Там и Марлен и Яннингс — на большой высоте. И вся дальнейшая артистическая карьера Марлен была основана, конечно, на "Голубом Ангеле". Потому, разговаривая о чем-то, она и целовала то и дело руки невзрачного, чорненького, лысого человечка — Штернберга.

То, что без режиссера, без его "показа" Марлен ничего сыграть не могла, подтвердилось и в "Рыцаре без доспехов". Большая, талантливая драматическая актриса Франсуаз Розэ каждые две недели приезжала из Парижа навестить Федер. Она присутствовала и на съемках. И издевалась над Марлен, как могла: — "ужас", — говорила она и делала глупое лицо с вытарашенными глазами; "счастье" — то же лицо с вытарашенными глазами; "раздумье" — то же лицо; "радость" — то же лицо с вытарашенными глазами. Франсуаз Розэ была женщиной властного, сильного характера и как-то Федер сообщил мне "по секрету", что Франсуаз строго-настрого запретила "режиссировать" Марлен, "показывать", "помогать" ей. "Пусть играет сама, как умеет".

Федер был человек мягкий, вполне под башмаком жены. Приказ Франсуазы Федер решил выполнять, — ничего не



Pour Roman Goul. Avoir un grand romancier comme "technical adviser", c'est un luxe passager, mais d'avoir pu gagner son amitié c'est une joie durable. Jacques Feyder, 1937.

”показывать” Марлен, пусть играет, как умеет. Но Марлен такой подлинной артисткой, как Франсуаз Розэ, не была. Марлен требовала ”руководства” и ”показа”. И когда Федер (будто незаметно для других) перестал ”показывать”, Марлен сразу это почувствовала и ”онемела”. Кончилось дело небольшим скандалом. Она пошла к Корде и пожаловалась на Федеру, что он совершенно ”не руководит” и ей трудно так играть. Корда вызвал Федеру, говорил с ним. Дело уладилось. Вопреки ”приказу свирепой Франсуаз”, Федер стал опять ”показывать” и ”помогать” Марлен. И все вошло в обычную колею.

Иногда после работы Трендел не мог взять меня на автомобильчике. И тогда нас (человек десять) везли в автобусе до железнодорожной станции Денам. Почти всегда мы приезжали в последнюю минуту, купить билеты не было уже времени. И мы садились (вполне легально) в поезд без билетов. В первый раз я спросил одного, говорившего по-французски: ”Ну, а как же мы без билетов поедим?” — ”Ничего, за билеты мы заплатим в Лондоне”. И действительно, в Лондоне мы подходили к кассе, кассир спрашивал: ”Откуда вы приехали?”. Мы отвечали — ”Денам”, и платили сколько надо. Если бы такое доверие к человеку завели в континентальной Европе, железные дороги, вероятно бы, разорились. Это было английское джентльменство: джентльмен не соврет.

Туманы

В Лондоне я мечтал увидеть две его ”опозитизированные” достопримечательности — черный ”fog” и желтый ”fog”: знаменитые лондонские туманы. Теперь, говорят, их больше нет, уничтожили какими-то ”очистителями”. Но я их увидел во всей красе и силе. В эти туманы Трендел, конечно, за мной не приезжал, не мог. Я сам ехал на автобусе и на поезде. А туманы были такие (и желтый и черный), что если вы на улице поднимали перед глазами руку, то ее не видели. Впереди автобусов шли кондукторы, освещая дорогу какими-то сильнейшими фонарями. И автобусы двигались за ними черепашьям шагом. И все же эти знаменитые ”фоги” стоило увидеть. В них была своя прелесть.

М. И. Будберг

Когда я как-то был в студии Меерсона и мы пошли с ним в ресторан завтракать, в проходной студии его помощника художника Уэллса (сына Герберта, молодого человека, приехавшего ежедневно со свежей гвоздикой в петлице пиджака) я столкнулся с женщиной, которая меня поразила. Обычно говорится: "я бы ее не узнал". Может быть на улице я бы ее и не узнал, но тут лицом к лицу (с моей острой памятью на лица) я пораженно узнал ее сразу. Это была Мария Игнатьевна Будберг, с которой мы ужинали вместе с А. Н. Толстым в Берлине. Но какая перемена! Предо мной стояла женщина, невероятно располневшая, одетая не в хорошее пальто, а в какой-то "салоп" ("какая-то солопница", мелькнуло у меня). У нее, вероятно, была тоже хорошая память на лица, она сразу узнала меня, сказав: "Какими судьбами?" Я объяснил "какими", разглядывая ее. М. И. от природы была некрасива, но в те берлинские времена у нее было худое, породистое лицо. Теперь предо мной стояла некрасивая, "размордевшая" женщина в годах. Тонкие черты лица исчезли, глаза уменьшились, а странная одежда придавала ей простоватый вид.

После моих объяснений, что я тут делаю, она сказала: "Приезжайте как-нибудь к нам, буду очень рада", на клочке бумаги написала адрес и телефон: 81 Cadogan Square, тел. Slo-66-27. Я поблагодарил: "С удовольствием, Мария Игнатьевна!", но беря записку, я твердо знал, что никогда к ней не поеду. И она, вероятно, писала только "для приличия". От Б. И. Николаевского о М. И. Будберг я слышал слишком много неприятного и пакостного. Это была дама "ni foi ni loi". По мнению некоторых, писавших о ней, она была и "загадочной", и "железной", и "умницей", и "красавицей", и "блестящим собеседником". Я знал о ней все, что есть в мемуарной литературе, когда писал "Держинского". Например, о воспоминаниях чекиста Якова Петерса, писавшего (по документам), что в Первую мировую войну у нее в петербургском салоне было "гнездо немецких шпионов". Знал много о деле Локкарта, английского разведчика, сошедшегося с "Мурой" во время революции и арестованного вместе с ней ВЧК. О допросах ее самим



Б. И. Николаевский (1887-1966)



Б. И. Николаевский и Р. Б. Гуль на могиле Азефа, 1931.

Яковом Петерсом, в результате которых она вместе с Петерсом, "держась рука за руку" (какая интимность светской дамы и чекиста!) появились у арестованного Локкарта. И, оказывается, Мура через Петерса его освободила. Но *чем?* Какой ценой? В учреждении Петерса "даром" ничего не делается. За все надо *платить*, тут "шуточек" нет. О цене хотя и неприятно, но не так уж трудно догадаться. Помню, как характеризовал М. И. Будберг Толстой — "авантюристка чистой воды!" И это было верно. Но авантюризм ее бывал "и с кровью".

Б. И. Николаевский был очень хорош с М. Горьким (сейчас часть их переписки, ранняя, опубликована в сборнике "Берлин 1921-1923", ИМКА-Пресс, 1984). Мне Б. И. часто говорил: — "злой гений Горького, это Будберг. Она все время толкает его возвратиться в СССР". Почему же Будберг была этим "толкачом"? Были ли у нее не порваны связи с Петерсом? А за Петерсом же — Сталин! Конечно, Горькому и самому хотелось въехать в СССР некой "мировой пролетарской ведеттой", загребать баснословные "длинные рубли" за собрание своих сочинений, прослыть "зачинателем социалистического реализма". Все это так. Но он знал и Сталина. И вернуться в СССР ему было не просто. И он, решив возвращаться, все-таки на Западе оставил свои "Дневники", доверив их Будберг. Но именно этих-то "Дневников" и добивался Сталин. И в 1936-м году, как говорил мне Николаевский, эта "авантюристка чистой воды" лично повезла в СССР доверенные ей Горьким его "Дневники". Говорят, на границе ее ждал особый вагон (какой "комфорт" в пролетарском государстве!), вот до чего эти "Дневники" стало-быть были нужны товарищу Сталину. И он их получил в собственные руки. Вскоре после прочтения "Дневников" Сталин "в подарок" за них послал Горькому какие-то "кремлевские бонбон". Горький любил сладости. От них, от этих "бонбон", изготовленных "специалистами" Кремля, Горький и отдал Богу душу. Чекистов-исполнителей Г. Ягоду и П. П. Крючкова Сталин расстрелял. Будберг уехала за границу. Сталин расстрелял и Я. Петерса. Концы в воду. А в советских газетах и журналах появились страшные сообщения: — "Горький был чудовишно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов" (См. М. Горький. Материалы и исследования под

редакцией В. А. Десницкого. Москва. 1941). На том и кончилась одна из историй "авантюристки чистой воды".

За завтраком я спросил Меерсона, что тут делает Будберг? "По-моему, ничего, — ответил он, — но формально Корда дал ей место "чтицы" скриптов; очевидно, она нужна ему и как жена Уэллса, и как баронесса для светских связей". (Отметим, что "баронессой" Будберг была "липовой". Она фиктивно вышла замуж за барона Николая Будберга, какого-то "прожигателя жизни", только для того, чтобы выехать из Эстонии /став эстонской гражданкой/, где ее подозревали в шпионаже в пользу СССР).

Под занавес жизни эта "загадочная", "железная" кончила совсем плохо. В каком-то лондонском универсальном магазине она "купила" что-то, но "забыла" заплатить. Детективы в таких магазинах — "ребята практикованные" — никогда не останавливают эдаких "покупателей". Они дают им выйти на улицу и уже на улице берут "с поличным". Эта покупка "загадочной баронессы", секретарши Горького и Уэллса, попала в скандальную хронику газет. И карьера "железной женщины" кончилась.

Ничего ни "железного", ни "загадочного" в этой пошлой авантюристке не было. Имя таким — миллион. Она попросту всю свою жизнь жила уркаганской философией: "умри ты сегодня, а я завтра..." или, выражаясь более элегантно — "жить, чтобы выжить". Но ведь это "философия" любой проститутки, которая ложится в постель с первым встречным-поперечным именно потому, чтобы "жить, чтобы выжить"; всякий грабитель или растратчик грабит и крадет не для удовольствия, а для того, чтобы "жить чтобы выжить". И, конечно, всякий человек, ставший стукачом КГБ, доносит для того, чтобы "жить, чтобы выжить". В сущности, это типичная УГОЛОВНАЯ психология. Больше г-жу М. И. Будберг я не встречал.

Эдуард VIII

Под конец моей жизни в Англии я внезапно узнал англичан политически. В 1936 году скончался король Георг V-й и по закону о престолонаследии трон переходил к принцу Уэльскому, под именем Эдуарда VIII-го. Англичан охватило какое-то, нам

непонятное, радостное возбуждение: король Эдуард VIII! Мгновенно витрины магазинов наполнились разнообразными "сувенирами" с изображением короля Эдуарда VIII-го. Недалеко от меня в посудной лавке все окна были заставлены — тарелками, чашками, блюдами, блюдами, вазами и все — с изображением Эдуарда VIII.

Но биография принца Уэльского была широко и дурно известна: кутежи, пьянства, дебоширства. Газеты не скупилась на описание "экстравагантностей": будто в Праге принц в нетрезвом состоянии перебил все фонари на какой-то улице. Это еще туда-сюда. Но стало известно, что король Эдуард VIII состоит в любовной связи с американкой простого происхождения, к тому же дважды разведенной — миссис Симпсон.

И вот тут вокруг трона закипела борьба (м. б. редкая в истории Великобритании). Эту борьбу против Эдуарда VIII возглавил сильный человек, премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин (Stanley Baldwin), опытный политик, консерватор, человек мудрый и волевой. Его поддержал архиепископ Кентерберийский и подавляющая часть консерваторов. У Болдуина были сильные козыри. Помимо всего прочего, из некоторых высказываний принца Уэльского газеты делали выводы, что он сочувствует фашизму, бывшему тогда поветрием в континентальной Европе. Принц Уэльский спускался в шахты английских горняков, чего члены династии не делали, и произнес там речь, которую консерваторы расценили, как "склонность" к фашизму. И наконец стало известно, что принц Уэльский в Европе будто бы встречался с Гитлером. Это был уже козырь чрезвычайный, чтоб заставить Эдуарда VIII отречься от трона.

Но если судить о настроении простого народа по рабочим наших студий, ко всему этому "букету" у них не было никакого отрицательного отношения. Рабочие были *за короля* — и только! У нас в перерыв работ в кафетерии происходили бурные сборища. Помню, как один молодой рабочий, придя в раж, кричал: "Мы любим нашего короля! Мы хотим нашего короля! Нам нужен наш король!". Им не было никакого дела до миссис Симпсон (скорее наоборот), до кутежей и даже до свидания с Гитлером. "Это *наш* король! Мы любим его!" — кричал

неистово этот молодой рабочий. И все с ним были согласны.

Скажу честно, слушая все эти высказывания рабочих, я завидовал англичанам. Я увидел воочию, как им, англичанам, действительно *дорог и нужен король*. Они были подлинные монархисты. И не разбираясь в тонкостях политики, хотя своего законного короля. Мне была завидна эта английская, органическая, естественная, глубокая привязанность к своей истории, к своей монархии. В этом была большая сила и воля. И я невольно вспоминал о чувстве нигилизма и анархизма, вымахнувшем в России в начале революции, когда в бараках 140 Запасного полка в Пензе солдаты (народ, крестьяне!) срывали со стен портреты царя и царицы, и в каком-то диком (дичайшем!) исступлении и остервенении топтали их сапогами до тех пор, пока не оставалось ни клочка. Я никогда не был "записным монархистом". У нас в семье жил дух демократизма и реформизма, но вырвавшаяся наружу (во всем народе!) нигилистическая и анархическая ненависть к монархии была мне супротивна, она *потрясла меня*. Вместе с ненавистью, с топтанием портретов вырвалась ненависть и ко всякому "чинопочитанию". В этом всенародном нигилизме и анархизме я почувствовал "всегосударственную опасность". Конечно, в этом прежде всего была вина самой трехсотлетней династии, не сумевшей привить народу к себе ни доверия, ни любви, ни традиции. Была вина и церкви, которая (за малыми исключениями, жила "вне народа"). Виновен был и бессмысленный террор народников, эс-эров. Всё ж больше всего виновны были те, кто держали в руках власть. И глупо "подмораживали Россию" на свою же голову.

"Гражданин мира", богемьен Трендел был тоже за Эдуарда VIII. Но совсем из других предпосылок. Во время одной поездки он сказал: "Главный козырь против Эдуарда VIII, это — миссис Симпсон. Но что же делать, если она единственная женщина в мире, с которой он может спать?". Такой поддержки Эдуарда VIII со стороны "гражданина мира" было маловато.

Волнение народа кончилось быстро и неожиданно. В декабре 1936 года Эдуард VIII выступил по радио с обращением к нации, объявив о своем отречении и о том, что с сего дня он будет только герцог Виндзорский, а трон переходит к брату короля, вступающему на престол под именем Георга VI-го. Во всей



Марлен Дитрих



*Pour Roman Goul en souvenir de notre collaboration. Affectueusement
Jacques Feyder, 1937*

Англии воцарилось спокойствие и удовлетворение: на троне — законный монарх!

Вот тут-то я и бросился в посудную лавку и закупил для Олечки — тарелки, чашки, блюда, блюдо — все с изображением короля Эдуарда VIII-го. Теперь они раскупались нарасхват, уже как "сувениры", которые скоро станут редкостью.

В декабре 1936 года Георг VI стал королем Великобритании, а в начале 1937 года я из Лондона уехал в Париж. Должен откровенно признаться — Лондон, конечно, чудный город, но жить там, увы, я бы не мог: не мог потому, что — скучища смертная. И как за последнее время я затосковал по анархическому Парижу, по толчее неврастенического Монпарнаса, по всему свободному укладу парижской жизни. Пусть я не француз (и быть им не могу и не хочу!), но я почувствовал себя, увы, человеком "опарижаненным".

Перед отъездом я сердечно простился с Жаком Федером, давшим мне две свои фотографии с несколько преувеличенно лестными надписями. Вместе с ним пошли к Александру Корде. Сэр Александр был чрезвычайно мил, сказав "Vous avez fait un joli travail". Простился с Марлен Дитрих, получив от нее на память фотографию с ее автографом. Простился с Тренделем, Меерсоном. И с чековой книжкой в кармане, на которой было около 900 фунтов (скопленных для покупки фермы для семьи) с Викторией Стэйшен тронулся поездом в Саутхэмптон.

В Париже

На Gare St. Lazare меня встретила Олечка, слегка пополневшая, порозовевшая (после нищеты-то!), в чудесном верблюжьем пальто, которое я переслал, вместе с другими вещами, через Мэри, из Лондона, и в какой-то сногшибательной, широкополой, фетровой темно-зеленой шляпе. Мы расцеловались. Я спросил, смеясь, что за роскошная шляпа? "От Диора, очень дорогая, но, правда, хорошая?" (Олечка любила дорогие, хорошие вещи). "Очень хорошая".

Пока мы ехали в такси, Олечка рассказала, что всю семью поместила в отель "Электрик", в двух комнатах, недалеко от нас. Рассказала, что мама, войдя в нашу "замечательную" квартиру,

заплакала: — "Боже мой, я знала, что вы живете бедно, но чтобы вы *так* жили, не могла себе представить!". Олечка успокоила ее, что "чудеса", слава Богу, пришли и "нишета" кончилась и Рома везет деньги на ферму и на новую квартиру.

Я, конечно, был рад встрече с семьей после почти четырех лет разлуки. У мамы был усталый вид, жена брата была в порядке. Племянник Миша подросток, ему уже 11 лет. Но кто меня озадачил, так это брат. Не знаю, как и почему, но он впал (именно "впал") в какой-то неистовый и агрессивный баптизм. При мне он был церковно религиозен, читал Франка, Булгакова, Бердяева и вдруг... баптизм. Но какой! По характеру своему он был человек "цельный", бескомпромиссный. И не только сам стал баптистом, но душевно требовал, хотел, чтоб мы все пошли за ним по "верной" дороге: — Библия и опрощение. Наш первый разговор был не вполне приятен, ибо я не выразил никакого рвения к баптизму. А у Сережи были два настояния: сейчас же сесть на землю, пахать, бороновать и опрощение жизни во всем: в быте, одежде, жилище. И — Библия, только Библия! И чтобы не он один, а вся семья превратилась в баптистов-опрощенцев. При упорном характере брата я понял, что "тут дело на лад не пойдет". Я сказал ему сразу, что его баптизм уважаю, как всякую искреннюю веру, но чтоб меня и Олечку он оставил жить так, как мы хотим.

Когда я распаковывал чемоданы и Сережа увидел мои костюмы, вещи для мамы, Олечки, его жены, он взорвался: "К чему ты накопил все эти тряпки?! Нам деньги на ферму нужны, а ты истратил столько на тряпки!" Я успокоил его, что без этих "тряпок" я не смог бы заработать на ферму, что деньги на ферму я скопил и привез, а "тряпки" будут мне и Олечке нужны в дальнейшем. Олечка предложила всей семьей поехать осмотреть достопримечательности Парижа. Мама с удовольствием согласилась, в свое время с мужем она бывала в Париже и любила его. Но Сережа наотрез отказался: — "Никакой Париж мне не нужен и неинтересен!" Он хочет скорее ехать в Лот-э-Гаронн, чтобы сесть на землю. Через несколько дней мы с Сережей выехали в Лот-э-Гаронн "садиться на землю".

”Пети Комон”

Так называлась ферма, на которой мы сели. Petit Caumont крохотная ферма, принадлежала русскому эмигранту Кайдашу, бывшему унтер-офицеру царской, а потом белой армии. У Кайдаша была жена, называвшаяся трогательно — Ирочка. Она была недурна собой, много моложе мужа и подвергалась заушениям и даже избиениям, так что вмешивались соседи. Ферма эта была у самого Нерака, бывшей столицы знаменитого “Le Vert Galant” (Henry IV).

Нерак — маленький, но очаровательный городок. Стоит он на реке Баиз (Baïse), протекающей с одной стороны мимо старого городского парка, а с другой — мимо маленьких домиков с садами. Через Баиз перекинут старинный мост. По преданию, в Баиз утонула дочь пастуха Флорэтт, приглянувшаяся Генриху IV, но скоро ее бросившему. И в парке до сих пор стоит памятник покончившей самоубийством, плачущей Флорэтт. А на холме — замок самого Henry IV. Замок был бы прекрасен, если б его не “реставрировали” крайне грубо белесым цементом. Тем не менее издали замок хорош. Под холмом большой старинный дом Сюлли, знаменитого министра финансов короля, но ничем этот дом не примечателен.

Найти ферму (купить или арендовать) вы должны здесь через специальных “agent d’affaire” (комиссионеров). С таковым — вертким французиком, никогда не снимавшим с головы берет, ни дома, ни на улице, ни в жару, ни в холод, — меня познакомил еще в мой первый приезд сюда единственный русский города Нерака — Monsieur de Sellhem (в переводе на русский значит фон Зельгейм). “Agent d’affaire” назывался Mr. Desplat (Деспля, по здешнему произношению). Фон Зельгейм был в годах, бывший офицер гвардии, женившийся на состоятельной и благородной неракеске, внезапно скончавшейся и оставившей ему просторный двухэтажный дом и какие-то сбережения. Так что жил он, не работая, как хотел. И помогал русским во всяких французских делах. Был он хороший, порядочный человек, он и свел меня с мсье Деспля.

Я известил мсье Деспля о нашем приезде. И прямо с вокзала мы пришли к нему, благо жил он в двух шагах. Все эти “комис-

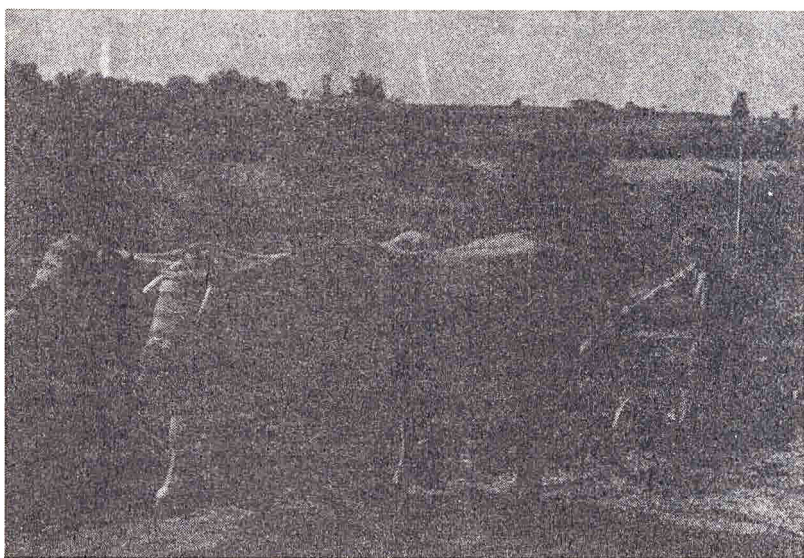
сионеры” уже по роду своих занятий (“всучить”, “продать”) очень любезные люди. Начали мы разговоры о ферме, причем Сережа сразу спросил: продал ли Кайдаш свою ферму? — “Нет, не продал, люди находят, что она мала и потому малохододна”. Но как это ни странно, Сережу вовсе не интересовала “доходность”, он был совершенно не “делец”, до смешного. Жить на земле, пахать, сеять, бороновать, молотить, а дальнейшее ему было “все равно”. Это было, конечно, “барство шиворот-навыворот”. Продажей полученного с фермы должен был заниматься я: пшеница, вино, телята, купить корову. Сережа даже не спрашивал, дорого ли, дешево ли. Ему нужна была — Библия, жена, и работа на земле, по которой он очень любил ходить босой и ничего больше.

Так что мы сразу и поехали в “Petit Caumont”, она была километра полтора-два от Нерака, что, конечно, было удобно, ибо ни автомобиля, ни лошади у нас не было. Приехали. Кайдаш, коренастый, здоровенный, лет 55-ти, с довольно неприятным лицом, постарался встретить нас “как умел любезно”, даже угостил вином собственного производства (у него был небольшой, но хороший виноградник).

Ферма была маленькая: гектара два с половиной пахоты, причем часть (полгектара) лежала в целине. Вокруг дома (т. е. того, что называлось домом) нечто вроде сада с фиговыми и фруктовыми деревьями. Вода собственный источник, заросший ивняком; вода эта была ледяная, наредкость вкусная, чистая. Дом? Вот дом подгулял. Был хороший двухэтажный каменный дом (на самой границе фермы), но сгорел до основания, стояли только одни кирпичные стены, которые Кайдаш уже продал соседу, итальянцу Романо. А то, что должно было быть домом, где Кайдаш жил с Ирочкой — длинное белое, увитое виноградником помещение из двух комнат. В самой большой пол был земляной, “глинобитный”, босиком ходить было холодно. В другой пол — наполовину деревянный, наполовину асбестовый. Из этой комнаты была дверь в сарай, где стоял громадный чан для своего домашнего виноделия, какие-то инструменты, дальше — коровник на двух рабочих коров. Дороги (проезда) прямо к ферме не было, надо было ехать через соседей по полевой дороге. За фермой (не знаю кому принад-



Наш дом на ферме "Пети Комон".



Сергежа за работой.

лежащий) лес.

Посмотреть на все это и уехать в Париж было приятно. Но чтобы остаться тут "насовсем", надо было быть Сережей. К тому же было ясно, что эта маленькая ферма семью не прокормит. И тем не менее Сережа (говоря мне по-русски, когда не было вблизи Кайдаша) в эту ферму "вцепился". "Больше мне ничего не надо! — говорил он, — давай купим!". Удобство было одно, я мог сразу заплатить Кайдашу всю сумму, которую он хотел (с двумя рабочими коровами, плугом и пр.). — "Ну, что ж, — сказал я, — если ты хочешь - купим!". И купили к удовольствию Сережи, Деспля, Кайдаша (ему трудно было продать такую маленькую и неудобную ферму). Я к этой покупке восторга никакого не испытывал. Но кто знает свою судьбу? Эта ферма во время войны спасла меня от ареста нацистами и неминуемой смерти, ибо в войну немцы искали меня за книгу "Ораниенбург" и в Париже, и даже в Эр/э/Луар (у Блиновых, где мы живали). А Лот-э-Гаронн оказался в "свободной" зоне Франции. И тут дотянуться до меня было трудно. Тем более, что мы с Олечкой вскоре ушли рабочими на стекольную фабрику в Вианн, а потом все четверо стали сельскохозяйственными батраками (*métayers*).

Итак, Сережа с удовольствием, жена его (без большого удовольствия) переехали в "Petit Caumont". Маленький племянник, когда вошел в свою (с матерью) глинобитную комнату, со страшным испугом спросил мать: "и тут мы будем жить?". Да — тут. Так решил опрошенец-баптист Сережа. Но племянник тоже не знал своей судьбы: теперь он богатый француз, человек с высшим образованием, профессор, владелец замка "La Sevelotte", у него и дети французы и внуки французы. И живет он, дай Бог всякому.

В Париже мы переменили квартиру на приличную, двухкомнатную на 253 рю Лекурб. Мама осталась до лета с нами. А летом 1937 года мы все уехали в "местоимение" — в "Petit Caumont", в "Château de la misère", как шутливо называл нашу ферму, заходивший к нам, фон Зельгейм.

За работой

Вдали синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых коров. Небо

еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, ото всюду слышны долетающие, однообразные понукания пахарей. В матерчатых занавесках на мордах (чтоб не кусали мухи), в проволочных намордниках (чтоб не хватали траву) коровы мои, выгнув спины и медленно переставляя ноги, волокут плуг, отваливающий блестящие пласты суглинка, а по борозде, сзади меня, гомозятся куры.

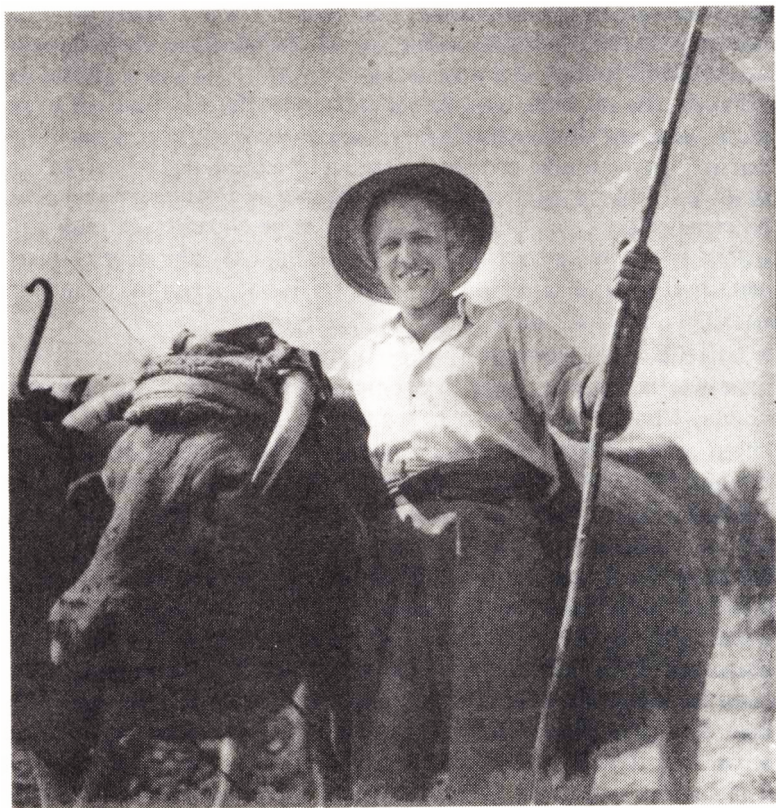
Это небо не наше. Это небо с полотен французских импрессионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с празеленью, неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью, затихающих коров я кричу: "Ха, Верми! Ха, Верро!"; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. Я задумался о том, о чем, собственно, никогда не надо думать: о прошлом.

После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз; теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой. В это утро я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. "Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет, но пришла именно она, мускульная, трудовая, крестьянская жизнь". Под широкополой соломенной шляпой я улыбаюсь тому, что это утро, пашня, коровы в русском переводе именно и значат: "Ну, тащися, сивка, пашней десятинной, выбелим железо о сырую землю!". Только на этом гасконском крутосклоне мне кажется теперь, что тогдашняя тоска мелкопоместного пензенского барича была зряшней. Ну, разумеется, ну, конечно, и в ней, как и во всей катакомбной философии Толстого, жила какая-то пленительная социальная правда; но сказочная, а потому вредная людям. Этот кающийся нерв русской интеллигенции революцией с кровью вырван из русской жизни. "Аррэ, Верми, ха, Верро, орэ сай...", по-гасконски кричу я, перевортывая плуг. Тяжело переступая, коровы неуклюже крутятся и снова, натянув цепь, медленно волокут его.

За работой я часто мысленно разговариваю с Львом Толстым. Мне раньше всегда казалось, что он, как никто, умел чувствовать и любить землю. Но став крестьянином, я понимаю

что Толстой чувствовал и любил ее сверху, по-барски. Крестьянин любить земли не может. Он, если хотите, любит ее, но так, как корова любит траву, которую ест, как лошадь любит дорогу, по которой бежит. То есть, живет землей. Став сам мужиком, я хорошо теперь знаю эту человеческую особь. До чего он, мужик, глух, нем, жесток, первобытен, неблагоприятен и всегда хитер, как хитры окружающие его животные, и нечестен, как нечестна с ним природа. Мужик должен быть таковым, ибо таковы силы земли, иначе мужику с землей и не сжиться, и не справиться. Он с рождения знает неблагоприятность своей земли. Мужик всегда сумеречен, суеверен и никогда не может быть истинно религиозен, оставляя это пастухам, поэтам, бродягам.

Небо надо мной уже другое, яро-лазоревое, с ослепительно тающим солнцем. Овода и слепни облаком вьются над спинами коров. Солнце почти что отвесное. Я знаю: скоро полдень. На краю поля, зайдя головами в тень кустов, коровы мои не хотят поворачиваться. Я даю им отдохнуть. Эта гасконская глина тяжела: если нет дождя, она клёкнет, становясь камнем, если польют дожди, она разойдется месивом и пахать нельзя. Это не пензенский чернозем, который паши, когда хочешь. Здесь надо еще уметь выбрать время пахоты. Но русская революция заставила меня вздирать именно эту французскую глину, и я ее вздираю. Причём иногда даже сам себя спрашиваю: а не выиграл ли я на всероссийской революционной лотерее? Кто из нас, русских, спасся от всеокрушающей революции? Большевики, что, окружая Ленина, зачали октябрь, в большинстве расстреляны в подвалах своей же чеки. Рабочие? Те, что верили в "кто был ничем, тот станет всем", вот уже больше двадцати лет ведут рабью жизнь египетских феллахов. Мужики, солдаты, что с войны, из окопов бросились делить землю? Революция давно их лишила земли, превратив в полунищих государственных батраков. Интеллигенты? Свободомечтатели? В революцию их погибло множество, а те, что остались, влачат тяжкую жизнь несвободы. Так что в предгорьях Гаскони моя судьба совсем не худшая. Повернув коров и перекинув плуг, я спрашиваю себя: разве я не тоскую, что выброшен из России? И идя за коровами, с предельной искренностью отвечаю: в моей скитальческой жизни я всегда чувствовал облегчающее душу удовлетворение,



Я в "Пети Комон".



Олечка кормит "Ружи" перед домом.

что живу именно вне России. Почему? Да потому, что родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, но всё-таки остается свободой. "Ха, Верми! Ха, Верро", — подгоняю я моих затихающих коров.

Нетерпеливо отмахиваясь хвостами и ногами от оводов, ощутив ослабленность ремней ярма, коровы сбрасывают его с голов и смешной рысью, как неумеющие бегать женщины, трусят в стойло к охапкам маиса. А я иду в свое крестьянское жилье, которое каждому художнику захотелось бы написать. Старый крестьянский дом из дикого камня; стены увиты виноградом, от купороса ярко-голубым, голубоваты даже камни, легшие фоном винограда, а виноград перерезали розовые, желтые, вытянувшиеся до крыши мальвы. У порога пунцовым огнем цветет гранатовое дерево. В этом многовековом доме прохладно в жар и сыро в зиму, греет только камин в полстены.

У нас в красном углу — икона, копия Св. Троицы Андрея Рублева, на стене дешёвая автотипия: А. С. Пушкин, с портрета Тропинина. Александр Сергеевич глядит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на всё бедное убранство комнаты.

Старчески сгорбившаяся, с широкогрустными глазами, словно ставшими еще шире и темнее, мать на этой ферме больше всех беспокоится: уродится ли маис, взойдут ли арбузы и дыни, встанет ли полегшая после бури пшеница, оправится ли неладно отелившаяся корова? Она любит и этот, наверное уже последний, кусок французской земли. И здесь все ее дни, как всегда, в материнском беспокойстве за утлый корабль нашей уплывающей жизни. Иногда невзначай глянув на нее, я с большим напряжением заставляю себя представить, что это была она же там, в Пензе, в зеленой гостиной, игравшая вечерами Шопена и Моцарта, связавшая в моей памяти тот свой молодой облик с убегающими, ускользающими звуками "rondo alla turca".

Сам-шесть, мы садимся за стол, обед весь свой: овощи с огорода, хлеб своего зерна, молоко своей коровы, вино своего виноградника, яйца своих кур, всё что дали труд, земля, животные. По земляному полу комнаты ходят цыплята, утята; выгнув спину, у ножки стола вьется кот; тут же рыжая овчарка, помощница в пастьбе, и я считаю, что если мы и не в интеллигентном,

то в очень приятном обществе. За обедом наши разговоры однообразны и для постороннего совершенно скучны; это всё заботы хозяйства: появившиеся на картошке дорифоры, на винограде оидиум, плохие всходы кормов, запор у теленка, базарные цены на цыплят и всякие соседские несложные сплетни и новости.

Иван Никитич

Первым косцом идет брат, вторым Иван Никитич, третьим я, а моя жена и жена брата вяжут снопы, кладут их в крестцы и от крестцов желтое поле как бы приподнимается. Так мы работаем до полдня. А в полдень, обедая в тени фигового дерева, Иван Никитич, отирая потную сморщенную, словно замшевую шею и вместо русского кваска отпивая из бутылки "пикет", рассказывает, как смолоду служил в урядниках в Сальских степях и какие видывал там священные калмыцкие праздники. Иван Никитич донской казак, бывший атаман своей станицы, живет по соседству, на ферме, в развалинах древнего католического аббатства; земля у него неудобная, безводная, скалистая. Казаку пошел седьмой десяток и он, как перст один, ковыряется в этих скалах, а ночь напролет спит с горячей лампой, ибо как только потушит, то в развалинах, говорит, поднимается такая шамата, такая шамата, что тут же зажигает лампу и шамата тогда, со светом, исчезает.

В революцию Иван Никитич потерял трех сыновей, двух в Белой армии и одного в Красной, девочка-малолетка умерла без него, а о жене он так ничего и не знает. За годы странствований чего только Иван Никитич не перевидал: Турцию, Болгарию, Румынию, Германию, Корсику, север Франции, Гасконь, но лучше Тихого Дона для него нет страны, и он очень любит вспоминать донские степи, где гонял табуны долгогривых дончаков, где осенью с станичниками охотился на дроф, увозя битую дичь телегами, а когда ездили на рыбалку, то неводом захватывали столько рыбы, что и вытащить бывало не под силу. Иван Никитич помнит еще стародавние времена, когда казаки еще не садили картошку, помнит как земля была еще неделеная и по весне казаки выезжали всей станицей в степь и каждый сколько хотел, столько для себя и запахивал.

— Да рази хранцузам такое снилось?! — улыбаясь в седые усы, с искренним сожалением говорит Иван Никитич, — да у нас же везде простор, поэтому наш брат тут в тесноте по границам-то и пропадает, изэх... — Иван Никитич глубоко и грустно вздыхает. — Вот работал я в Эльзасе, был там у нас один русский, Полем звать, то есть Павел, значит, так такой чудной был, ни с кем, бывало, слова не говорил, как есть, ни по-русски, ни по-хранцузски, ни по-немецки; ты к нему, Поль, мол, сколько время? а он улыбнется, покажет часы и всё. Ему скажут, Поль, подай, мол, вилы, он ногой их швырнет и вся недолга. А завтракать завсегда отойдет к сторонке, сядет один и ест. И не старый, годов сорок, не боле. Говорили про него, будто гвардии-офицер был, а как приехал за границу, будто зарок дал ничего не говорить, пока не вернется к себе в Россию. И молчит. А работать примется, за мое почтение, только как бы немой.

Я плохо слушаю, я вспоминаю классическую толстовскую косьбу Левина с мужиками; тоже "барская была косьба", — думаю я.

— Дддааа, — глядя в гасконское небо, лежа на траве, заложив руки за голову, вздыхает Иван Никитич, — сызмальства привычный я к степи, у нас осенью дрофы кады по-над степью летят, ну, верьте, хмарой небо застыт и шум такой, что твои еропланы...

Брат кончил отбивать косу, поднялся; встали и мы с Иваном Никитичем, заходим за край поля и снова в этот зной идем друг за дружкой с общим звенящим шуршаньем кос. Пот выступает на лбу, на скулах, стекает по лицу, солит губы, а в ушах стоит протяжный звон не то миллионного комариного пенья, не то это кровь звенит в ушах. Я стараюсь идти вровень с Иваном Никитичем, а у казака-старика силищи! И мне радостно от мерного взмаха кос, от здоровой усталости мышц, оттого, что с крутосклона рябит ушедшая цветная даль, оттого, что наша пшеница уродилась и мы, кажется, на ней заработаем.

На закате мы уходим с поля усталые. С возвышенности пестрят те же лоскутные одеяла полей, виноградников, лесов, дороги, обсаженные платанами. У тенистой реки тонет очертанье древнего замка тамплиеров, он повис над обмелевшей рекой; в нем живут три семьи мужиков-итальянцев, ничего, конечно, не

смыслящих в музыкальной строгости пропорций строения, в летящей красоте замковых лестниц и галлерей, в чем кто-то из строивших его тамплиеров понимал толк. Зато крепкие богатеи знают толк в откорме свиней, в отпое телят; денным и ношным трудом, сметкой, хищностью, ловкостью богатеют эти крестьяне и дай им Бог здоровья, хоть они и загадили выдавшие виды, великолепные залы тамплиерского замка, а часть замковых стен даже развалили, сделав из камня совершенно замечательные свинарники.

— Вот живал я и в Париже, чтоб его намочило, — идя рядом со мной говорит Иван Никитич, — а нет, никак не выжил, камни одни и выйтить некуда. Я уж там, бывало, слободной минутой в Булонский лес ездил, только чтоб подошвами по земле походить.

Я молчу, я устал, в голове занозой сидит глупейшая стихотворная строка "так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук", и я никак ее не могу из себя вытащить.

— Вот вижу я вчерась сон, — продолжает, тихо идя, Иван Никитич, — будто как я посреди своей семьи, всё дети мои и будто они собираются обедать, да только толкутся, толкутся, а ничего у них не выходит. Я смотрю, смотрю, да и говорю им: "Да што ж вы? Сначала надо умыться, Богу помолиться, а потом уж об обеде думать, обед собирать". Ну, они меня как-вроде послушались, стали мы все на колени и начали "Отче наш" читать. Стою это я на коленках, обернулся назад, смотрю, мама моя стоит, а до этого ее тут не было. Стоит она в сереньком таком платьице своем и как у нее голова часто болела, платочком таким повязана. Я это говорю ей: "Да откелева ж вы, мамаша?". А она мне ничего не сказала, а я это упал перед ней, цалую ей руки и говорю: "Мама, да не могу я так больше жить!". И почему я ей так сказал, сам не знаю, вроде это как дети што ль меня не слушаются, а только она положила мне руку на голову, да и говорит: "Нет, Ваня, ты еще можешь..."

Я молчу. Я, конечно, знаю, что даже на этой гасконской земле Ивану Никитичу легче, чем на парижском асфальте, но и здесь, разумеется, казаку не прижиться, он дерево непересадочное, оттого и тоскует. Есть пословица: без корня и полынь не

растет. С тоненьким звоном кос, задевающих за ветви вязов, мы по лесной дороге подходим уже к ферме. Иван Никитич вздохнул, что-то пробормотал и начинает старческим дрожащим тенорком напевать:

”Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждет”.

А на прошлой неделе вот опять сон снился и опять не знай к чему, — вдруг говорит Иван Никитич, — вижу будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без дверей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они всё уходят, а я им кричу: ”Да, куда ж вы! Пойдите! Марья!”. А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как ”не надо, мол, мне тебя”, и вошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найти не могу”.

Гарабос

Страдная пора здесь не жатва, а молотьба, когда по фермам ездит молотилка и соседи сходятся друг к другу на помощь. Гасконцы, веселый, солнечный народ, хохотуны, хвастуны, безалаберники, но всегда себе на уме. С соседями я хорош, хоть и замечаю, что эти кондовые потомственные мужики относятся ко мне чуть-чуть свысока, с еле замечаемой усмешкой. Это потому, что я человек не их круга, а себе равноценными все люди признают только людей своего круга. Так светские люди относятся к ”ragveni”, так же стадо рабочих коров относится к замешавшейся в нем молочной корове. Это вполне естественное, зоологическое чувство.

Из крестьян я сошелся ближе всего с Гарабосом. Может быть оттого, что он странноват. Над старым бобылем подсмеиваются соседи. Мне же он нравится из-за моей любви к хорошей породе. А Гарабос — столбовой гасконец, оставшийся здесь, как невыкорчевывающийся виноградный корень даже после того, как всю округу залили итальянцы. Лицо у него будто

сшито из кусков коричневой замши, до того закоржавело складками, морщинами. Губы украшены грязными седыми усами, изо рта торчит единственный черный клык, а слезящиеся зеленые глазки всегда издевательски смеются; основной же чертой характера семидесятишестилетнего гасконца остается, конечно, веселость.

В закопченное жилье Гарабоса страшно войти, тут круглый год то тлеет, то пылает камин. Жена давно умерла, сыновья ушли в город. В ветхой разваливающейся усадьбе старик один. В часы отдыха, бросив в камин бревешко, он дремлет у огня, радуясь пламени, согревающему старческое тело; у огня лежит и его голодная коричневая сука.

На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и прожил жизнь, как прожили ее здесь прадеды и пращурь. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и вот уже застывает; он скоро умрет и смерть его, может быть, никто даже и не увидит, кроме его худой голодной собаки.

В свежие утренники с усадьбы Гарабоса видны вечные Пиренеи, по ним старик предугадывает погоду, иногда дребезжаще поет с детства заученную песню: "Les montagnes des Pyrénées, vous êtes mon amour". Старик — философ. Ему всё ясно. Как-то я заговорил о войне 1914 года, но он не поддержал разговора. "Это северным округам надо было воевать, — сказал старик, — а нам здесь воевать не с кем!". И это искренне, это то же крестьянское чувство враждебности к государству: "мы тульские, до нас не дойдут". Да другое представление было бы и естественно, ибо весь мир Гарабоса здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника, с которых он никуда не сходит. Только раз, ребенком, отец возил его на ярмарку в окружной город и это единственное путешествие до сих пор старик вспоминает, как лежащее в бесконечности. Остальные его передвижения коротки и однообразны: отвести корову к соседскому быку, сходить на помощь, занять у соседей для клушки яиц, взять винную бочку. И лишь в субботу, с раннего утра, когда на ферму глядят далекие, за ночь словно отмытые, светящиеся Пиренеи, Гарабос собирается в самое большое путешествие. Он надевает тогда черную, гасконскую рубаху навывпуск, оставшуюся еще от

времен, когда торговал скотом; маклачская рубаха сразу же скрывает нечистоплотность костюма старика; шляпу он сменяет на широкий черный берет и, посасывая самодельную старую трубку тихо спускается на еженедельный базар ближайшего городка. Тут, на скотьем базаре, старик приценится к бычкам, которые, как фарфоровые, привязаны пестрым рядом; узнает цены на яйца, на кур; с своими сверстниками, такими же стариками, посасывающими такие же трубки, он наштутится островами и поговорками, какими они остряют вот уж шестьдесят лет; и если кто-нибудь угостит, то старик выпьет рюмку анисовой водки. А когда начнется разъезд, Гарабос той же тропкой поднимется домой, на гору, на ферму, чтоб на рассвете на паре белых волов, с черными, словно обугленными глазницами и такими же черными метелками хвостов, выехать пахать свое поле, на котором он знает каждую ложбинку, ибо старым ручным плугом пашет его больше шестидесяти лет.

Раз, после базара, я помогал старику резать виноград. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желтолазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил:

— Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, — он указал старым, закорузлым пальцем на нежно-осеннее небо, — ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? — и, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой.

Мы продолжали резать матово-чугунные, черные, переспелые гроздья, от сладкого сока которых слипались пальцы. Мне всегда трудно было распознать отношения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что эти отношения существуют, хотя они понятны, вероятно, только им двоим. Этот гасконский вольтерьянец всегда подсмеивался над аббатами, церковью, над Богом, но сегодня, в осеннем винограднике, его должно быть что-то волновало. Вскоре он опять заговорил, рассказывая, что ночью в прошлую пятницу у вдовы, соседки увидел в середине виноградника какое-то сияние, на следующую ночь опять, в воскресенье ночью то же самое, тогда он пошел к ней посоветовать, чтоб отслужила по мужу панихиду; и действительно,

после панихиды ночное сияние в винограднике исчезло.

— Что же это такое было? — продолжая резать переспелые гроздья, спрашиваю я.

— Не знаю, что было, а вот было, — и зеленые глазки старика смеются, при этом он шелкает губами и произносит любимое "хок-йок!".

Трудно распознать душу этого старого гасконца.

Философия хлеба, постели, могилы у Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Когда умер восьмидесятилетний сосед и я сказал об этом Гарабосу, он снял соломенную шляпу, неожиданно обнажив совершенно круглый безволосый череп, и произнес с сожалением: "Жаль". Потом, помолчав, добавил: "Ну, пахать-то он уж не мог, а вот мотыжить мог еще". Я понял чувство и мысль старика, что каждому нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом идти в землю. Зато живя здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно любит всякие плотские радости: красное вино, жирный кусок баранины, пахнувший овчиной сыр. После еды Гарабос желтым пальцем набивает обсосанную трубку горлодерущим табаком; а за едой он неизменно, со всей соленой откровенностью, балагурит о женской любви и сам первый залиvisto хохочет, сотрясая высохшее, костлявое тело.

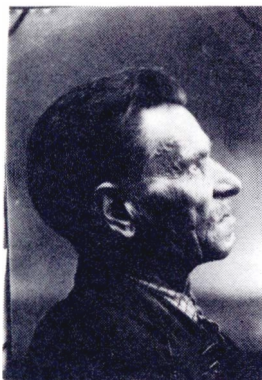
В склонах Гаскони Гарабос произрастает, как старый корень, дожидаящийся естественного умирания.

Молотьба

На молотьбе всё ведется по истари заведенным правилам: и угощение, и работа. Подняв соломотряс к голубому небу, машина нетерпеливо ждет рабочих; засаленные машинисты отрывистыми свистками созывают их. В спадающих с костлявой поясницы, заплатанных широкими латками портках, с свисшими седогрязными усами, но тщательно выбритый, с вилами на плече Гарабос идет к нам на молотьбу первым. На помочи старик, конечно, уж только ловчится, приходя, чтоб задарма поесть кур, мяса, сыру, попить вина, кофе, арманьяку, потолковать, посудачить. Он издали уж кричит какие-то "патуасские" острооты, это значит, что от предвкушаемого пиршества старик в хорошем расположении духа.

За стариком сходятся человек двадцать соседей, французов, итальянцев; в гасконской рубахе, в соломенной шляпе пришел и Иван Никитич. Кругом смех, остроты, у южан сильно развита шишка жизнерадостности. Но вот паровичок застучал, все по местам и за шумом машины уже еле слышны выкрики голосов, а скирд начал мерно таять под вилами залезших на него мужиков, споро кидających тяжелые снопы в подрагивающую пасть машины.

Дубовые столы уж приготовлены, накрыты скатертями, на них встали пузатые пятилитровые бутылки с красным и белым вином. Гасконцы идолопоклонники хорошей кухни. Окончив молотьбу и перетаскав к амбару мешки, соседи в очередь моют у ведра руки и с веселым говором садятся за столы. Церемония началась, как надо. Закуской подаются сардинки; за ними национальный наполеоновский суп с вермишелью, доев который каждый обязательно наливает в тарелку вина и, вкусно сполоснув, спивает. А хозяйки несут уже жирный кусок вареной говядины, ее каждый вдосталь запивает красным вином, уже из стакана; за мясом салат, за салатом разварные куры, за разварными жареные, золотистые; и как только жареные куры приносятся на стол, происходит всегдашний отказ гостей от чести их разнимать. Это — дело и честь старейшего. Золотая курица плывет вокруг дубовых столов от отказывающегося к отказывающемуся пока, наконец, не дойдет до Гарабоса. Старик, смеясь, и всегда с одними и теми же прибаутками крепкого полового свойства, не спеша, берет свой сработанный, но острейший нож и ловко начинает разнимать тело птицы. На его искусство глядят молодые, отпуская такие же остроты, сопровождаемые дружным хохотом здоровых, уже наедающихся тел. Солнце юга, его блеск, вино, мясо, чеснок, кофе — все тут землянее, кровянее, чувственней, чем у нас, северян. За дубовыми столами от простоты плотского веселья, от крепкоядения стоит всё усиливающийся гомон голосов. Эти пиршества молотьбы мне всегда напоминают старые полотна Босха и Брейгеля. По-локоть засученные мозолистые руки, крепкие челюсти, проголодавшиеся желудки, ничем не сдерживаемый хохот, грубость острот, звуки еды, крики, икота. Даже пришедшие с хозяевами собаки, подхватывающие оброненные со столов куски, и те



Иван Никитич Землянов



Молотьба в "Пети Комон".



Семья Гулей перед домом в "Пети Комон".

вкусно пахнут "Деревенским праздником" знаменитого фламандца. Подвыпившие и наевшиеся кидаются друг в друга хлебными шариками, сливовыми косточками, ударяют разговаривающих соседей головой об голову. Под общий хохот на лугу, у столов, парни повалили здорового малого и, сташив с него штаны, ищут со смехом, есть ли у него то, что бывает у всех. Крестьянское веселье несложно, это детское веселье. Может, оно и тяжеловато, но, в сущности, не всё ли равно, как веселятся люди, главное, чтоб веселились, а остальное — воздух, климат, кровь, нация, класс.

Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотье. Это всё обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.

На поля, на луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помощь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крикает спешащий автомобиль. В небе вызвездилась первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыпятся вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон, выходит луна и заливает всё своим бледным светом, в котором резко заострился выросший после молотья омет соломы.

Вино лишает меня чувства действительности, мне всё кажется, что это и не молотья, и не я, но какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой.

Смерть матери

Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом. Увидевший стену виноград цвел, испуская сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая, с странно молодым лицом.

Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирającego хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врвалось далекое, русское, война, революция. И с широко раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: "Господи, да как же всё это было? Ведь я же путаю...". Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: "сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья". Но вскоре с взглядом напряженно-ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: "А, знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут... в прошлом не пришли, а в этом придут...". Я понял, что это вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав, мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: "Как это страшно, что человек так близок к безумью... один шаг и начинается безумье...". Я успокаивал ее.

Над домом теплое небо расписалось созвездиями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто всё к чему-то прислушивается и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это *пришла смерть*, что сейчас начнется единственно-страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства и наступало именно это: мать лишалась души, речи, сознания.

Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает происшедшее с нею: от закупорки вены в ноге — закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцать пять лет назад,

закаменев в своем горе, мать вот так же в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, *что времени нет*, что это было вчера и вот ее самое теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настает, надо прощаться.

Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука непослушна. Я беру эту бессильную руку с пальцами сжатыми крестным знамением и помогаю поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживаются только, когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдаёт до дрожи. Мать пытается говорить, но всё, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток человеческих звуков, и в нем различимо только "Господи... Боже мой...". Словно она молится Богу и видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей до-сказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.

Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: "Умру". Это было последнее. Силы, уводящие ее из жизни, брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она может быть заснет, но, полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще парализованную руку, сделала ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с полпути, уходя навсегда.

Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее всё стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг — полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать и умирать легче, тут земля нестрашна, с землей слипся, сжился.

Так же, как в отрочестве, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: "смотрите, как всё это ни к чему и как всё это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех".

Боролась со смертью только земля, не позволяя себя

забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И подчиняясь земле, мы работали и возвращались к лежавшей без сознания, умиравшей матери.

У матери закрыты глаза, в тишине она дышит всё чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях деревьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит, словно торопясь. Мать умирает и в свои сорок лет я ощущаю, что остаюсь потерянным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко переводит дыхание. И вдруг всё стихло. Это останавливается сердце. Бывшееся шестьдесят пять лет, оно биться кончает, еще мгновение и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще один глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпающегося человека. За ним из этого мира — в иной мир страшная, влекущая тишина. Вот — запоздалый, всеотпускающий последний вздох и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания... Мать умерла...

Есть в уничтожении много страдания, но есть и необъяснимое, радостное. Вот ушла мать, и с страданием смешалась непонятная, противувольная, неопределимая, невозможная для высказывания радость. Что это? Радость возвращения? Радость покоя? Того, что зовется вечным упокоением? "Жизнь бесконечная"?

Из своего источника мы принесли воды, обмыли давшее нам жизнь маленькое тело, одели и уложили мать на прибранную постель, потом срезали незатейливые цветы, положили у тела и в сумраке прикрытых ставень в комнате настала пустота горя и тишина без дыхания.

Сосед привез гроб из свежих досок. Мы бережно положили мать в него, на свое только что скошенное свежее сено; и сухонькая, она, чья жизнь сложилась трудным женским подвигом, легла, скрестив восковые руки.

Русский священник служит панихиду. Отрываясь от кадила, ладанный дым летит, своим запахом вызывая воспоминания

детства в России; дым улетает в раскрытое окно. С свечой в плоской руке, немигающе уставясь в пространство, стоит Иван Никитич, что-то шепчет, перебирая синими губами. Батюшка служит за священника, за дьякона и сам поет за хор, но чин православного отпевания так умиротворяюще прекрасен и глубинной мудростью смысла и радостно-страдающими напевами, что даже служба одинокого священника снимает животную боль, соблазны, лукавства, искушения, давая душе благодать успокоения.

На рассвете сосед-итальянец, одевшийся в праздничный темный костюм, подводит к дому двуколку, запряженную красными молодыми коровами в белых пополах и пестрых занавесках на мордах. Он управляет ими движением вишневого трости. Это здешний обычай: покойника на кладбище везут соседи; и мы подчиняемся ему.

В скуфье, с серебряным крестом в руке, в черной метушей дорогу рясе, за двуколкой пошел русский священник, я, брат, наши жены и Иван Никитич. С возвышенности бесконечен вид лугов, полей, виноградников. Встречные крестьяне, снимая шляпы и береты, пропускают горькое сельское шествие, с любопытством глядя на шагающего вразвалку русского священника. Я вспоминаю пышные похороны отца с громогласием дьяконов, с священниками в парчевых ризах, с звучным хором, чужими и своими рысаками, извозчиками, роскошным катафалком, изобилием живых цветов, искусственных венков, и бедные крестьянские похороны матери, на сене, с немногими полевыми цветами, кажутся и легче и правильнее.

Кладбище заросло акацией, бузиной, сиренью, будто русское уездное кладбище. В ряду крестов — открытая яма, из нее тянет сырой холодок. Мы ставим гроб над ямой на два горбыля, под ними веревка. Француз-могильщик с любопытством рассматривает русского священника с длинными волосами и удивленно слушает непонятную службу. В груди пустота и остро прорезывающее чувство бездомности. Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, все родные. "Надгробное рыдание!". И, снижаясь, гроб опускается в могилу. На крышку упали комья

глины. Я и брат закапываем мать, а над нами поют какие-то кладбищенские птицы, им хорошо, их тут никто не спугивает.

Наплывают свежие кучевые облака, сквозь солнце начинает сечь теплый, слепой, крупнокапельный дождик. Полями, мы молча возвращаемся на ферму, к дому, где крыша под одно прикрыла комнаты, сарай, коровник; только одно окно при закрыто ставнями, это комната матери, ставшая без нее странно пустой.

Я, торопясь, запрягаю коров, ехать свозить оставшееся в копнах сено.

— Иван Никитич! — кричит батюшка, — лезьте на телегу, а я подавать стану! — В широкополой шляпе, в русской белой рубашке, в штанах, подхваченных ремнем, он сильным розмахом мечет сено. Казак еле успевает подхватывать. — Вот оно как по-сибирски-то! — улыбается русский батюшка, светлолицый, косая сажень в плечах.

Он — сибиряк, сын протоиерея, юрист, военный, эмигрант, фабричный рабочий и наконец, православный священник на юге Франции, подвижнически путешествующий и в зной, и в дождь, и в невылазную грязь по русским фермам Жиронды и Гаскони, везде служа, крестя детей, венчая молодых, исповедуя старых, собирая больных, отпевая умерших.

С луга мы поднимаемся на изволок за поскрипывающим, покачивающимся возом.

— Где только я не побывал за этот год, — говорит священник, — недавно казакам служил всеношную прямо в лесу, да как хорошо было, составил хор, чудно пели, а погода была такая тихая, что в лесу со свечами стояли.

С подъема он оглядывается на пестреющую окрестность.

— Очень красиво, — говорит, — только нашей-то Сибири, конечно, не ровня. По сравнению с нашими-то просторами, это всё игрушки. Бывало, плывешь по Енисею домой из университета, что за красотища! С парохода, балуясь, кричим: "Хозяин дома?!". А эхо на весь Енисей несет: "Домааа!". И батюшка мягко улыбается воспоминанию. "А зимой, когда на лошадях ехали, — снега, просторы дикие. Везешь, бывало, с собой обязательный кулек замороженных шей... Да, наша сибирская-то мощь европейцам и во сне не приснится". — И вдруг батюшка

смолкает, словно поняв, что Сибирь очень далека и не стоит бередить себя воспоминаниями.

На утро он торопится уйти еще до раскаленного жара. Высоченный, широкоплечий, в черной шляпе, с клеенчатым чемоданчиком, в котором уложены ряса, крест, скуфья, свечи, кадило, батюшка идет к другим русским людям на фермах Гаскони.

А я выезжаю пахать.

Так я и живу в Гаскони и только иногда, во сне, хожу в Россию. Недавно видел себя мальчиком, будто я и старый сельский учитель Непогодкин идем на охоте по болотным Лапотковым лугам. Я в высоких сапогах, они мне велики, я хлюпаю ими по болотцу, но вдруг всем телом вздрагиваю от внезапно фыркнувшего взлета чирков. Я сразу просыпаюсь: это трещит будильник, я в гасконской хате, с постели вижу, что земляной пол выкрошился, его надо набить; я — здешний мужик, это моя настоящая, не выдуманная жизнь и надо вставать задавать корм коровам.

Накинув пиджак, подрагивая от прохлады рассветающей ночи, в одних подштанниках, я иду в коровник. Заслышав меня, лежащие коровы с тяжелым крехтом поднимаются на колени, встают, от них пахнет приятным молочным теплом. В полутемноте правая ловит шершавым длинным языком полу моего пиджака и жует ее. Я похлопываю старую умную корову по тяжелому свислому подгрудку и тихо разговариваю с ней на коровье-гасконском языке; потом я задаю им сена. И вдруг опять это ощущение нежно-изливающейся теплоты. Оно до того телесно ощутимо, что я даже приостанавливаюсь: "что это!?". И тут же отвечаю: "ах, это мама, опять". Я чувствую, будто она не исчезла, а где-то вот здесь, за моим плечом, *только совсем в иной жизни*. И наполненный этим мягко-согревающим внутренним светом, я ухожу из коровника.

После завтрака я выхожу на последний укос люцерны. Я работаю бездумно, но в это утро мне особенно хорошо: я люблю всё: и свою рыжую собаку "Моську", легшую неподалеку от меня, и сработанную ладную косу, под которой ровными рядами ложится трава, и щетку соседского мокрого жнива, и своих коров, и вспаханную дышащую землю, и свои начисто вымытые винные бочки, и деревья сада, согнувшиеся под

урожаем яблоков, и высокое небо, и весь этот резкий воздух, которым я дышу и не надышусь.

Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака. Но во мне есть и другое русское чувство, по которому вся земля — наша, вся Божья. И с моих пяти десятин в это утро я радостно встречаю и благодарю весь мир, за косьбой вспоминая изумительную молитву сеятеля: "Боже, устрой и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего..."

Конец второго тома

New York, 1984

Рене Герра

Трещат дрова декабрьским утром в печке.
За окнами — простор и синева.
Молочника тележка у крылечка
Остановилась, скрипнувши едва.

Размерены еще и осторожны
Все звуки наступающего дня.
Пусть он пройдет без суеты тревожной
У этого веселого огня —

В медлительном любовном созерцаньи
Простого мира дремлющих вещей,
В безделье сладком и припоминаньи
То дальних странствий, то любви речей,

Когда опять коснешься благодарно
И с нежностью внезапной и живой
И тайных слез, и радости угарной,
Чей не пролит напиток огневой.

Екатерина Таубер

КНЯЗЬ ИВАН ХВОРОСТИНИН

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Роману Борисовичу Гулю

Ночью была метель. Выл ветер. Наутро вышло солнце, задолбила капель. Он открыл оконце под самой крышей, в келью ворвалась прохладная мартовская прель. Над островерхой башней парусами бежали быстрые весенние облака. За Красным прудом, за оврагом на луковом огороде пели овсянки: покинь сани, возьми воз. Их перебивала призывная барабанная дробь дятла на высокой сушине у самой башни.

Ночью били в колотило — долго, надоедливо. Он не пошел к полуношнице, озяб, не хотел, боялся темноты на крутой лестнице и в монастырском дворе, боялся чужих злых, острых глаз, боялся рязанца с лисьей острой мордочкой. И не лег в гроб, в котором нехотя приучал себя теперь спать. Уснул на лавке.

И видел сон. Будто он в Вейссенштейне, в парке. Стоят старые, словно плавающие в тумане, липы. Зима, а снега нет. Дорожки уложены мелким белым камнем. Чисто и сухо, как везде в Ливонии.

Он долго идет по длинной аллее, а в конце ее дом, всего с одной дверью, и без окон. Над дверью — знакомый герб Мнишков — веер из семи страусовых перьев.

Он вошел — попал в зверинец. Пахло зверем, затхлою водой. Окно в мелком переплете во весь потолок. Но все равно сумеречно, темно.

— Герр московит хочет, наверное, полюбоваться на наших замечательных обезьян?

Он присмотрелся к сторожу в зеленом кунтуше, розовых сапогах:

— Стадницкий?

— Ich weiss nicht.

Конечно, это был он, Мартын Стадницкий. Белокурый, кудрявый, одна темная бровь заметно короче другой.

Последний раз — он вспомнил даже во сне — он видел Стадницкого мертвым, в тот самый вечер, когда погиб царь Димитрий. За окном в Чертолье цвели яблони, свистали соловьи, стояло спелое весеннее томление, но воздух уже тогда показался ему напряжен и виноват. Мартын Стадницкий лежал под парсуной Леды с широко раскрытыми голубыми глазами и рассеченной, в запекшейся темной крови, грудью. Горбатый францисканец в коричневой рясе и сандалиях на босу ногу читал над Мартыном *Nunc dimittis*. В животе у Леды торчал ржавый стрелецкий бердыш и по ножу в маленьких, цвета густого желтка, Касторе и Поллуксе, копошавшихся у ее ног среди своих пустых скорлупок. Служанка Марыся, плача, собирала с полу пустые бутылки из-под выпитой убийцами мальвазии.

— У нас замечательные обезьяны, герр московит, — вкрадчиво повторил служитель. — Совсем как люди.

Обезьяны сидели внизу, в выложенном темным камнем мелком пруду, в черной вонючей воде. Верхний свет был неверный, зыбкий, и чтобы их разглядеть, надо было долго всматриваться вниз, перегнувшись через каменный парапет.

Первое, что он увидел, был штандарт царя Димитрия — красный, с черным орлом, висевший на стене, в углу над обезьяньим прудом. Самец, высокий, в черных ботфортах и черном плаще, в глубокой и широкой шляпе с провисшим павлиньим пером, задумчиво хлюпал по воде из одного конца каменного пруда в другой.

“По кругу блуждают нечестивцы, по кругу человека водит бес”. — Он не сам себе это сказал, не сам вспомнил, а услышал, будто ниоткуда.

Самка сидела в углу под штандартом на каменной высокой скамье, подобрав лапы, ссутулившись, в темном плаще и бархатной шапочке с жемчужной булавкой, совсем как у государыни Марианны. Он хотел разглядеть ее морду, поманил ее пальцем, вытянулся. Самец остановился, недовольно зарычал. И вдруг направился в его сторону. Он огляделся, позвал: “Мартын, а, Мартын!”. Сторожа нигде не было. Только он, большая обезьяна-

самец в черном плаще, упрямо лезущая из черного вонючего пруда — достать его, убить, наверное. И печальная самка на каменной скамье.

Пятясь, заставляя себя не бежать, он вышел из зверинца. И быстрым шагом пошел по дорожке — прочь из парка — боясь оглянуться, а сердце колотилось. Было тихо вначале, но вдруг он услышал, будто эхо, как далеко, за туманными липами, стала плакать в своем темном зверинце самка.

На повороте аллеи, у срезанной молнией толстой березы он не утерпел, посмотрел назад. Самец был совсем близко, настигал — в ботфортах и шляпе с поникшим павлиньим пером. И тут он, наконец, разглядел: морда у обезьяньего самца была его, князя Ивана Андреевича Хворостинина, а ныне старца Иоасафа — лицо.

Он проснулся и стал вспоминать, как в ночь после убийства царя Димитрия сидел в погребе, дрожал, боялся. Даже там, в подземелье, было слышно, как шумел ветер и стучал по земле тяжелый град, как по всей Москве лаяли собаки, пока не спали с голоса — их в тот день забыли посадить на цепи, — как близко брехали в заросшем чертополохом, заячьей травой и лебедой старом рву прибежавшие нивесть почему этой ночью в город лисицы, а со стороны Серпуховской дороги слышался протяжный, надсадный волчий вой.

Наутро он вылез из погреба. Порадовался, что стала, наконец, расти борода. День начинался странный, неожиданно розовый, притихший. В саду скукожилась, пожухла трава, за ночь град побил весь цвет у яблонь и вишен.

Днем пришел Жак Маржерет в тяжелой, не по времени, шубе, пеший, с наклеенной рыжей бородой, — прощаться.

— Я уйду из царства Персефоны, — сказал он с пафосом, и потрогал кушак: целы ли золотые. — И, как Улисс, покидающий пещеру Полифема, счастлив.

— Возьми меня с собой, — попросил Иван. — На Москве люд злой, глупый, жить не с кем.

Мать, княгиня Гликерия, заплакала.

— Не волнуйтесь, мадам, — сказал Жак. — Дюк Жан принадлежит только вам и вашему сарматскому отечеству.

Он выпил на посошок, съел крынку рыжиков из переславской

вотчины и ушел к пастору Беру, с сожалением вспомнив на прощанье:

— А ведь сегодня нас ждали турниры, маскарады...

Он, старец Иоасаф, давно уже вывел полууставом — "Словеса Царей и Дней Московских". Чернила высохли, он разрисовывал каждую букву, плакал, и все никак не мог начать. Вчера все же сделал над собою усилие, написал: "Всякий возраст да разумеет, и всякий да приложит ухо слышать...". И опять не смог больше. В памяти упрямо всплывало все необязательное, случайное, пустое.

Серебряный лев в природную величину и жареные лебеди на свадебном пиру Димитрия и Марины. При императоре было молодое, веселое, — показалось, что начинается новая, нечаянная жизнь. Он впервые напился, ему вдруг стало грустно, что — сирота, и тогда он побил рынд — от своей печали.

Все в прошлом вспоминалось тяжело, тревожно. Групп царя на Торгу, на Красной площади с надетой на лицо личиной. "А ведь это, возможно, и не он, — говорит степенный пастор Бер. — Впрочем, каждая маска, как верили древние, — отдельная персона".

Царь Василий тащит из истлевшего гроба цепкой желтой костистой рукой багровую парчу мертвецкого кафтана. "Как положил, так и лежит! — раздается в наступившей испуганной тишине его дребезжащий умиленный голос. — А орешки, орешки-то в ладошке у чудного отрока, гляньте, хоть сейчас коли и ешь!". Царь Василий — хитрый, редковолосый, никакой. Четыре года маленький хозяин скрипучего, гнусавого голоса сидел и плел, вязал и разрешал в маленькой Москве, проржавевшей и облупившейся, среди воровства, измен, прелести, людодерства.

Ольха и болота вокруг Иосифова монастыря. И сырость под карягой у пруда, где хоронился в камышах, пока был сыск и били в набат перед собором. Бил в набат, конечно, презлой старец Феофил, он любил разбойные дела и память о своей опричной службе, — там потерял глаз и стал крив на бок.

Царевна Аксинья за шитьем в Горицах, теперь уже совсем бледная, с крупной татарской родинкой на смуглой шее. "Только бы батюшкина могилка была присмотрена. Мне бы в Рождественский монастырь, на Неглинную — от родительских гробов близко.

И от братика...” За окном ее кельи блестит на солнце Шексна, пролетают курчавые, рукой с земли достать, облака.

Побуревшие шатры на высоком глинистом берегу Москвы реки в Тушине у Восточного монастыря. Наглый, пропойный голос Вора. Марина в гусарском наряде, маленькая, как двенадцатилетний мальчик, постаревшая. Вывалившийся розовый язычок ее сына, трехлетнего царевича Ивашки, только что повешенного на Болоте.

Последний черно-желтый снег на Варварском крестце, перемешанный с человеческим калом и конским навозом. Безместные попы бьются на кулачки у Фроловских ворот, играют в зернь, пристают к прохожим.

Слепые лисята в лесу, на большой дороге под Смоленском, поселившиеся, как в норе, в пустом человеческом животе. Вместо темной луны — пожары в лесах. И две совы сидят на опушке носами друг к дружке, будто что-то говорят. А под ними, внизу, воеет голодный взъерошенный волк.

У иноземца, князя Артемия Аштона, толстая позолоченная баба на лестнице, держащая над головой черную чашу. На лбу ее написано имя: Тайна, Вавилон Великий, Мать блудникам и земным гнусам...

Они теперь сидят, едят, не уставая, деснищами трепетными и недостойными, успокоившиеся и все еще злые, каждый в своей каморке — князь Иван Катырев в переславской вотчине, Авраамий на Соловках, чувствительный дьяк Иван — в Новгородском приказе, а может, теперь уже и в Ярославле, нелепый князь Семен Харя — в Тобольске, Дионисий — здесь, у преподобного Сергия, в такой же, как у него, пустой келье, — и едят, и вспоминают свои обиды, мелкие и большие, прикидывают, что утаить, а что оставить, как оправдаться и как оправдать — или обличить — страну, ближних, время, ибо тогда, в Смуту, Бог попушал, а враг действовал.

На Авдотью-плюшиху заезжал князь Иван Катырев по дороге в соседнюю вотчину. Он встретил его под горой у церкви Параскевы, у вновь отстроенного Подольного монастыря. Шел рядом с санями, молчал. Над главами монастырских церквей, чуть они вошли в святые ворота, поднялся вороний грай. Катырев задрал

вверх бороду, смотрел на тучи слонявшихся под низкими облаками ворон. Потянул носом сырой, пахнувший навозом и дымком воздух:

— Скоро весна, Ваня! А реки еще крепки, не пошли!

Увязая в прохладном тающем снегу, они подошли к палатке Годуновых у нового собора, сели на расчищенную скамью под молодыми липами. Катырев тихо заплакал, у него из волосатой ноздри вытянулась длинная прозрачная капля, долго дрожала на слабом ветру, пока он ее не вытер рукавом.

— Эх, Борис, Борис Федорыч! — вздыхал Катырев. — И деточки, деточки... Царица Марья, она была крапивного семени, Малютина дочка, зла. А тоже ведь — жаль. Отослали, нехотящую, в вечный покой.

Хворостинин вспомнил Годуновых на кремлевской площади, перед дворцом, окруженных глумливой толпой. Царица Марья, остервенясь, рвала на себе волосы, выла, матерно ругалась, а то ползала на коленях в пыли, молила, хватая подъячих за полы кафтанов. Ее насурмленные брови потекли, отчего глаза стали больше и страшнее на скуластом старом лице. Царь Федор стоял молча, покорно опустив голову. Жемчужный ворот его рубахи был разорван и на тонкой шее виднелись родинки, точно такие, как у его сестры, царевны Аксиньи. А позже, голодным летом, он видел их простые каменные плиты на Сретенке, за пушечными избами, в бедном Варсонофьевом монастыре, на скудельнице, заросшей высохшей, пожелтевшей полынью и горячей крапивой. И понял тогда, может быть, в первый раз в своей жизни, что вот, всякое благолепие — утренняя роса; сколько было в мире прекрасных лиц и могущественных царей, и все — истлели.

Катырев снял шапку, остался в черной тафье на лысом черепе. Он был старше Хворостинина всего лет на десять, а совсем развалился, обрюзг.

— Как живешь, Иван? — спрашивал Катырев, — Как над душой промышляешь? В Москве о тебе говорят: совсем заворвался князь Иван, постригся в чернецы.

— Что ж моя жизнь, так, одна вавилонская греза, — отвечал Хворостинин. — Ни в чем не утвержден.

Пишешь все, или остановился?

— Слезы у меня вместо чернил, — пожаловался Хворости-

нин. И забормотал: — Кабы злость избыть, избыть злость...

Катырев на него покосился. Хворостинин говорил, поджимая тонкие, упрямые губы.

— А я все пишу, да с прохладцей, помалу, лень, — сказал Катырев. — Пишу, однако, не по слуху, не по убеждению, а что сам видел. Добрым человекам в поучение, а злым, чтоб в умиление пришли. А ты, Иван, для чего?

— Хочу свободы от страха. И от надежды. Ну и смерти, наверное, боюсь, я ведь в воскресение мертвых плохо верю.

— Беспокойный ты, — пожалел Катырев. Вздохнул. — Вон, Христос стоял перед Пилатом безгласен, чтоб ликовал Адам. Ни в чем не оправдался. А мы так не можем. Спешим, говорим, оправдываемся в словесах. И все-то грабящими руками, обидливыми очами, клеветливым языком...

Он поднялся со скамьи, запахнулся, надел высокую шапку:

— Весною сверху печет, а снизу морозит. Я, Ваня, замерз. Пойду, приложусь к преподобному, а там в сани. Вешний путь — не дорога, когда-то доберусь к себе.

Хворостинин проводил Катырева до саней. Толстый князь продрог, устал, но все умилялся:

— Ветер как тихо веет! Так, пожалуй, скоро и снег растает. А все еще зябко, однако... Потом, глядишь, поля зазеленеют. Деревья обложатся в новое листвие. Подумаешь — чудно, — как это вдруг из ничего содевается вся эта небесная красота? А тут мы, со всем нашим, со злым, с нехорошим, все-то колеблемся семо и овамо...

"Отчего это у Катырева такая радостная душа?" — не в первый раз удивлялся Хворостинин. У саней Иван Михайлович его обнял, обслюнил черную схимонашью куколь:

Ты меня, дурака, прости!

— Что тебе, князь?

— Что перед царем не отстоял. И в Тайнинском не навестил. Побоялся, грешным делом. А теперь и сам в опале, на Верх больше не зовут. Ленивая у меня душа. Другие говорят — добрая. Нет, ленивая.

Лошади взяли под гору. Хворостинин помахал вслед. Над святыми воротами опять взвились тучи галок, ворон. Он расслышал, как Катырев кричал, обернувшись назад грузным своим, рыхлым

телом:

Употреби, князь Иван, высокий глагол! Напиши все, как было, без утайки! Какие мы грешные, слабые. У тебя высокий глагол хорошо идет: Слова Царей и Дней!

И прежде, чем сани скрылись за монастырской мельницей, Хворостинин успел увидеть, как высокая вавилонская шапка Катырева слетела с круглой его головы и упала, потерялась в пористом сером снегу.

Он шел, сгорбившись, через монастырский двор, а чернец Афанасий Ошерин, пьяница и озорник, кричал ему вслед:

— Тужливая ты кавычка, вот ты кто, опальный князек!

Хворостинин закипел было гневом. "Сколько же у души частей?" — спросил он себя. И себе же ответил: "Три — словесная, яростная и желающая".

На крутой деревянной лестнице в башню встретил востроносового монашка в линялой скуфейке. От хитрых его лисьих глаз заглодело под сердцем.

— К себе спешишь, старец Иоасаф? — зашепелявил рязанец. — Хочешь, я тебе кое-что покажу?

— Что у тебя там?

— Так, безделица, князь, твоя могильная плита.

Хворостинин перегнулся через перила, посмотрел вниз, в глубокий колодец между Сушилом и Келарской башней. Там на оттаявшей земле лежал, весь в зеленом старом мху, расколотый надгробный камень.

— Вот она, князь, твоя могильная плита! — хихикал рязанец. Разбита-а-а! Никакой памяти по тебе не останется. Плиту, и ту разобьют!

— А кому она нужна, плита? — спросил Хворостинин. Рязанец не услышал, скатился вниз по лестнице, грохоча сапогами.

Он затворился в своей келье, раскрыл "Александрию". Но читать ему не дали. Пришел старец Илларион Бровцын.

— Опять ты лицом отемнел! Вон и вода у тебя в бадье стоит открытая. Ты воду-то закрой. Положи две палочки крестом, чтоб нечистый дух ненароком не выкупался, разве трудно.

"На Москве люд глупый, жить не с кем, — тоскливо думал князь Иван. — И в монастыре не лучше. Вот: изгнан, пострижен и

все еще в странствии. Куда ж теперь деться? В смерть, что ли? Там, говорят, тихий покой, никакого неразумия и вечная премудрость. А как поверить? Авраам, Исаак, Иаков жили в шатрах, обетованного не получили, а только издали видели. И радовались, и говорили себе, что вот, странники они и пришельцы на земле”.

И так велико было в этот пасмурный весенний день желание избавиться от оскорбляющих зол, от цепкого египетского плена земли, что он сел к столу и стал писать духовную память, пытаясь вспомнить, что ему было в прошлой жизни дорого и чем он владел. То, с чем он пришел в монастырь, он еще помнил — охабень, ферязь, кафтан, кунья шуба, шапка, да четыре ковра, да немецкий жеребец, карий, с оправленным мундштуком, да конь ногайский, рыжий, да сани... Все это, по обычаю, отошло обители, но был еще неприсмотренный и пустой дом в Москве у Серпуховских ворот, вотчинные деревни за озером, в Переславле, где сидела теперь его нечаянная жена, рябая тихая женщина из княжен Голибесовских, была серебряная посуда, были лошади, был скот, были дворовые люди, были вещи.

Он старался, припоминал, и не мог, потому что забыл, чем владел. И не знал, кому оставить: мать была близко, в Хотькове, в девичьем монастыре, ей теперь не надо; тетки тоже постриглись по дальним монастырям; двоюродных братьев он не жаловал, кроме одного, тезки Ивана, убитого Заруцким при осаде Астрахани; племянники были малы, и он их не знал.

Наконец, решил, написал кудрявым своим почерком, отказал деревни жене, а по душе попросил давать сорок алтын в год на панихиды. И отложил бумагу, скучая и не веря, ради прочитанной ”Александрии”, ради последних часов царя Александра.

”Александр на правителей и вельмож посмотрел и сказал: ”Мои любимые и милые великие цари всего света, вельможи и вятизи; всю вселенную покорили мы, богатые и пустые земли, и до рая дошли, где был Адам, праотец наш. Все, что есть на земле прекрасное, видел я. И высоту неба постиг. И глубину моря узнал, но убежать не смог жестокого смертного серпа. Вы, меня видя умирающим, хотите помочь — и не можете. Туда я иду, где от века умершие пребывают, вы же оставайтесь с Богом, до смерти своей меня вспоминая. А увижусь я с вами, когда мертвые из гробов восстанут на том Страшном Суде, на великом торжище”. — Сказал

Александр и умер — в земле Гесем, в стране Халдейской близ Египта, на реке Ниле, на том месте, где Иосиф Прекрасный сотворил семь житниц фараону-царю”.

Прошлый год он прожил на Белоозере, в Кирилове монастыре на покаянии, под надзором крепкого в житии старца. У могил великих Воротынских, куда надо было ходить на молитву рано, затемно, стыли ноги. Было неудобно и неловко на виду у игумена Филиппа притворно биться о холодные кирпичи пола. Он не любил этот придел.

В трапезной — тишина и скука. Три кушанья в перемену — каша, горох, репа, а по праздникам — гольцы в кислых шах и моченая брусника. Старцы пахли чесноком и мятой. Сидели, будто кроткие, — мелкоглазые, презлые. В его келье стоял запах сырой кожи — от переплетов, и выдыхающегося донника. Икона у него была одна — Царица Небесная над рекой жизни.

В соседней келье жил надзиратель, старец Феодорит Умной из арзамасских боярских детей. Он был трепетный старец, доверчивый, добрый. Поучая, стенал, охал, потел, огорчался, жалел. Бранился всегда одинаково, “азарапкой”, других хульных слов не знал, а вернее, забыл. Азарапка-мордвин когда-то давно, в опричнину, завладел, оболгав, его поместьем.

Летом они сживали под горой, под березами, у Ивана Предтечи, церкви, построенной великим князем Василием и Еленой Глинской за дарование наследника. Феодорит вспоминал предостережение Иерусалимского патриарха Марка великому князю: “Если дерзнешь на законопреступное супружество, сын твой удивит мир своей лютостью”.

— Патрикей Прусский, — говорил Феодорит, — видел место, где начинается тартар. Я, грешный, тоже видел, а было оно в Александровой слободе.

Царь Иван во тьме лез ночью на колокольню, за ним Афонька Вяземский с фонарем. А там уже был пономарь Малюта, начинал. И вместе они трезвонили в колокола. По шесть часов стояли на службах, на рассвете шли в трапезную со своими ложкой и блюдом, раздавали нищим, что недоели, а потом садились на лошадей и скакали прочь — убивать и мучить.

В Кирилове царь Иван утопил в болоте Михайлу Воротын-

ского. Ползал в ногах у игумена, плакал: "Помоги моему невоздержанию!". Вышел от игумена и поджарил князя Щенятева, тут же, заживо, в слободе, на большой железной сковородке.

Через сколько-то лет явилась в Москве голосистая, дикого вида птица. Прилетала больше ночью, вопила долго, страшно. И царь Иван помре. Пошел туда, где двенадцать убогих судят царей.

Он рассказывал Феодориту о Москве. Старец там не был лет двадцать с лишком, с тех пор, как удалился от молвы мира. Старец спрашивал:

— Как же это ты, князь Иван, был при Расстриге, а живущей в нем прелести не видел?

— Молод был. Все не видели, верили. Или ввали. Сам знаешь, как мы к ложному шопоту податливы, — нехотя оправдывался Иван. И тихо добавлял, будто про себя: — На Москве сеют рожью, а живут всё ложью... Я и сейчас точно не могу сказать, был ли он истинный Димитрий, или нет.

— Грабежливый московский народ, хитрый, — соглашался, не всё, наверное, хорошенько расслышав, Феодорит. Должно быть, вспоминал опричника Азаряпку. — Все-то в ярости, все в злобе, все в тиранстве...

Иван рассказывал Феодориту о пострижении царя Василия. Царя держали за руки, царь в чернецы не хотел, рвался прочь, плевался, а стольник, князь Гришка Тюфякин говорил за Василия слова пострижения.

— Тьфуй! — негодовал старец. — Вот неистовство! Вот чужого спасения рачители!

— Лжа, как ржа, — говорил князь Иван. Сам он из всех прошлых царей ненавидел больше всего именно царя Василия, шубника, шептуна. Совсем его не жалел.

— Недаром в Тавриде, в крымской орде, московское племя считают на торгу дешевым, как коварное и обманчивое.

— Разве? — удивлялся Феодорит.

Иногда он затворялся в келье, писал, веря и не веря, "Умилительную повесть об убийственном и кровопролитном Флорентинском соборе", а на ум приходило другое — Леда с телом цвета живого жемчуга, каменный Аболон-идол, рассказы Мар-

тына Стадницкого и принца Густава о том, как красива и удобна Флоренция, о тамошних розах, парсунах, тисненой коже, голом царе Давыде на главной площади.

— А что, на Страшном Суде потечет душа назад в тело, или не потечет? — спрашивал он у старца Феодорита.

— Ленивым чертог будет затворен, — твердо отвечал старец. — Однако, надеждой не греши.

Лето было жарким, они выходили за монастырские стены, к озеру, там казалось прохладнее. Смотрели в прозрачную воду, разгадывали облака. Он надкусывал кислых маленьких муравьев, морщился, выплевывал, тосковал.

— Ржа железо ест, моль казнит ризы, а печаль человеку ум отнимает, — говорил Феодорит.

Из-за Сиверского озера, из Гориц, из девичьего Воскресенского монастыря звонили — тонко, робко: "К нам, к нам, сиротам!". Но никто туда из Кирилова не ездил: старцы стояли на молитве, а детеныши были в поле, жали, косили.

Он был там один раз, старцы отпустили. — "Куда ж я от вас убегу?". Пришел пешком; на горе Мауре, в малиннике, его чуть не задавил медведь, он еле спасся, убежал. В соборе, на гробах Евфросинии Старицкой и Юлиании, жены царевича Ивана, стояли в глиняном горшке вялые ромашки. В келье Ксении теперь жила древняя старуха-карлица; самой царевны на свете уже не было, умерла прошлой осенью в Суздале.

Он помнил ее здесь много лет тому назад, когда, казакуя с ватагой пана Песоцкого, заехал в Горицы.

— А вот и ты, Ваня! Здравствуй, — сказала она, подняв голову от шитья. Не удивилась. — Хорошие тут места, спокойные.

— Что это у тебя будет? — спросил он.

— Покров на плашаницу, "Не рыдай мене мати".

Она отвернулась к окну, смотрела на вьющуюся внизу излучину Шексны. По начавшей блекнуть щеке скатилась слеза. Потом, будто очнувшись, спросила:

— Что ж там, в Москве, перестали изобретать лжеименитых царей, иль нет?

— Говорят, царь Димитрий будто бы спасся. Стоял в Тушине, а в этом году перешел в Калугу. И Марина с ним.

— Я этому не верю, — сказала Ксения. — Но зла на него не

держу. Как-то он теперь на Суде отвечает? А Марину жалко, маленькая она, с кикимору, злая, длинноносая, жадна к власти. Не будет ей, видно, покоя до гробовой доски...

— Не все покой любят, царевна, — сказал Иван.

Осенью доставили из Москвы на подводах опальных немцев, Анца Локмана и попа Матюшку. Немцы привезли ему послание от князя Семена Шаховского, от Хари, и стихи с убеждением к персидскому шаху Аббасу перейти в православие. И то и другое Иван бросил в огонь, не читая.

За поленищами, в старой бане у Свиточной башни он с немцами устроил тайную молельню, служил панихиды — по царю Димитрию, по царю Борису, по пану Песоцкому, некогда утонувшему тут же рядом, на приступе, в проруби.

Он купил в слободе вина на две гривны и напился с ссыльными немцами на поминках. Потом отнял у цыгана медведя, привел в дьяческую избу, бил дьяка Елистрата Красноглазова до крови и медведем драл; подьячие метались в страхе вон из окон. Немцы смеялись и хлопали в ладоши. Не помня как, пришел на монастырский двор, рвал на себе перед собором постылый подрясник, пел:

Сам не знаю, как на свете жити,
Бывши телом на земле, Богу не грешити.

Пьяный люторский поп Матюшка стоял рядом, покачивался, согласно кивал лысой, непокрытой головой:

— Es stimmt genau! Вот оно это самое и есть!

Анц Локман лежал в пустой липовой кадке под колокольней и уже ничего не помнил.

Их поймали, связали, посадили в холодай для протрезвления, даже приковали к скобе. Он очнулся первым, очень себя пожалел, подобрал холодный острый камень и нацарапал вслепую на стене:

“Огнепальная погружает меня жития сего волна”.

Проснувшись и протрезвев, поп Матюшка сказал:

— Вещи несут кару за нечестие и получают друг от друга возмездие в установленное время.

Пришел старец Феодорит Умной, дал ему оплеуху:

— Гордостью, князь Иван, не превозносись! С кем, азрапка, связался? С немцами! Ведь они — издавна прельщаемый от дьявола род!

Когда выпал снег, попа Матюшку и Анца Локмана отправили тужить дальше, в Тобольск.

II

В апреле начались яркие, теплые, длинные дни. Солнце слепило глаза, в разогретом воздухе замелькали крапивницы. Быстро обмелели ручьи. Леса долго стояли голые, лишь чуть тронутые с исподу прозрачной зеленоватой тенью кустов и быстрой молодой поросли. На Клементьевском поле парни играли в лапту, он им завидовал, идучи мимо на луковый огород помогать старцу Неофиту.

Луна росла, росла, выросла, выходила в розовые длинные вечера на полнеба — он неотрывно глядел на ее желтый шар из своей глухой, крытой тесом башни, а потом шел к столу в полутьме, зажигал свечу и садился переписывать, в который уже раз, житие Никиты Готского, бывшего бесов своими цепями в царьградской темнице. Ничто из мучившего его не рассеивалось дымом даже после сорокового списка жития бесобойца Никиты; "Словеса Царей и Дней" лежали, пылясь, на полке.

Князь Семен Шаховской прислал из Тобольска еще одно послание, жалуясь на кончину третьей жены. И прислал старые вирши на смерть датского королевича Ягана, жениха Ксении Годуновой, — какая-де печаль, что принц умер некрещен.

Приехала из Хотькова мать. Положила у его гроба-постели холщовый мешочек:

— Вот, жена твоя, Марья, прислала. Грибков маленьких, сушеных, да еще рябинки дикой черной.

Тихо села под иконой Царица Небесная над рекой жизни. Он свечу не зажег, стоял у окна, смотрел на полную луну. Мать у него за спиной, в сумерках, молчала, не шелохнулась.

Не оборачиваясь, он ее окликнул:

Ты что, спишь, что ли?

— Так, немного привалилась, — отозвалась мать. — Темно

у тебя.

Ему не хотелось с ней говорить. Засела и давно жила старая обида, с тех самых пор, как царь Василий, по ее челобитью, отправил его на покаянье в Иосифов монастырь.

— Может, я тебя в старые годы и вправду чем избытчила, — шевельнулась в своих сумерках мать. — Ты уж меня прости, не сердись. Давно это было. — И стала, в который раз, оправдываться: — Я как лучше хотела. Ты все с немцами дружбу водил, с Ванькой, окаянным братцем. Боялась, кабы душой не пал, а потом ведь мог и пропасть.

— Что же, — с горечью сказал князь Иван, — вот мы теперь с тобой оба и чернецы, вот мы и спаслись.

— Умру я скоро, — пожаловалась мать. — В речах у меня забытье и запность. А то вдруг временами людей худо признаю, обморок в голове, что ли.

— Больного проведайте, покойника проводите, — откликнулся сын. — Все мы смертны.

Мать стала подробно, как ему показалось, с удовольствием перечислять:

— Как помру, дай на мое преставление нищим калачей, рыбки, квас сычен. Да вели вписать в литию и в синодик. Еще дай в Ростов, в дом Пречистыя Богородицы и великих страсто-терпцев Бориса и Глеба чем душу строить и поминать — ризы мои: камку рудожелтую, шелки разные, мои, да черный атлас с золотыми крапинками, да платье, шитое канителью и жемчугом, да кичу с камнями, да мухоротого мерина, на котором к тебе сейчас приехала...

— Я раньше тебя помру, — сказал Иван. Закрыв окно и зажег свечу.

Мать, кряхтя, подошла к свету, взгляделась:

— Ты и впрямь лицом отемнел. Глаза у тебя кровавые. Посуши полынь, смешай головки с белком и прикладывай, кровь от глаз отойдет.

Он вдруг вспомнил ее знатной верховой боярыней, полногрудой, крупной женщиной с густо набеленным, будто обсыпанным мукой лицом, в колымаге, покрытой красным сукном; в ногах у нее вместо скамейки сидит девка Домна, а лошадью правит босоногий Матюшка Лишний в косматом полушубке.

Наутро он провожал ее в Хотьково. Маленькая, незаметно для него усохшая, она с трудом, охая, влезла на старую монастырскую подводу. На ярком солнце он увидел все ее морщины, постаревшую черную сгорбленную спину. У него заныло сердце, стало жалко ее старости, их обоих. Он не сдержался, тихо заплакал. Она как будто не заметила его слез. Уже сидя на подводе, вспомнив, забеспокоилась:

— А кому Дратниково пойдет? И Бурцево? — Марье? Она у тебя бестолковая, сразу видно Голибесовская порода. Крестьянишки мне писали — обезхлебдили, обезлошадили под ней. Собрались Суханову пустошь разделить, а поп Данила не дал, и она не вступилась.

— Вешелюбива ты, — сказал сын. — Нам с тобой надо теперь всякое житейское попечение оставить. Что Бог даст.

Мать согласилась, попрощалась, но отъезжая, опять вспомнила:

— А образ, Марья Египетская, возьми себе. У тебя в келье пусто, одна Царица Небесная, вдвоем им будет веселее.

На Вербное Воскресенье он рано заснул, но в полночь был разбужен колокольным звоном, а потом и стуком в дверь. Отворил слюдяное оконце и удивился: на дворе было светло, как днем. Но воздух и мир внизу были пусты и странно неподвижны.

Он подошел к двери и окликнул, не отпирая:

— Кого Бог послал?

— Бог в помощь, старец Иоасаф от страны индийской, зашепелявил за дверью рязанец. — Это я, здешний богомолец!

— Что тебе? — спросонья не успев испугаться, спросил Хворостинин.

— Пойдем в Успенский собор, там увидишь.

Рязанец шел впереди. Он не видел его лица, только шуплую спину, линияющую скуфейку и седую косичку на затылке.

Монастырский двор был безлюден и светел. Подходя к запертому собору, он услышал внутри шум голосов.

— Нам с тобой туда нельзя, раненько, не пустят, — сказал, отворачиваясь, чтобы не показать лица, рязанец. — Ты в шелку подгляди.

Он нагнулся, но было темно, разглядеть ничего не мог. Голосов внутри было много, человек двадцать или тридцать. Он явственно слышал, как один голос через равные промежутки повторял, как канонарх: "Со святыми упокой!". Когда голос умолкал, из собора слышался смех, потом плач.

У него затекла спина. Он хотел уже плюнуть, уйти, но тут заметил, что в соборе появился свет; свет шел быстро, то поверху, то понизу. Дождавшись, когда свет пошел понизу, он плотно прильнул к щели. В соборе стояли цари и царицы — Борис, Федор, Василий, Димитрий, Марья, слепой царь Симеон Бекбулатович, Ливонская королева, Ксения. А рядом с ними патриарх Иов, его, Хворостинина, отец, князь Андрей Иванович Старко, князь Голибесовский, какие-то монахи, Богдан Бельский, Мартын Стадницкий, пан Песоцкий, француз, повар Мнишков.

Над головой неприятно, дико закричала одинокая птица. Свет в щели погас, голоса в соборе разом смолкли. Он отпрянул от щели, выпрямился, хотел размять затекшую поясницу. Слегка закружилась голова. Он огляделся: справа от него стоял обезьяний самец, виденный им во сне, а слева — щуплый рязанец. Он теперь только увидел, какие у рязанца пронзительные голубые глаза.

— Поедем, старец Иоасаф в поле, поищем царевича Муртазу, — прошепелявил рязанец. — Напугаем его твоей обезьяной...

Был май, были свадьбы и приготовления к свадьбам. Ему сговорили княжку Марью из Голибесовских, царь Димитрий женился на государыне Марине. В доме у них что ни день были гости, пиры. Мать выходила к гостям с золотой чаркой, к каждому в новой телогрее, одна другой наряднее. Двоюродный брат Иван получил воеводство в Астрахани, звал на Волгу, отговаривал от женитьбы.

— Я не своей волей, — оправдывался Хворостинин. — Это маменька.

— Ты Ваньку, озорника, не слушай, — сердилась княгиня. — На Волге жить, ворами слыть.

Мартын Стадницкий привез в подарок ковер: бледнорозо-

вая девица в кудрявом раю гладит, не глядя, рог белого зверя с длинной бородой, а вокруг в землянике и незнакомых цветах рвутся красные обезьяны.

— Это — Единорог из Бестиария, — объяснил Мартын. — Он, как угодно видеть дуксу, — с козла. Поймать его можно так: чистая дева должна пойти в лес и там ждать. Она может притвориться спящей, но это, впрочем, не обязательно. Он ее увидит, подойдет, поцелует в грудь и уснет рядом. Сон его — Крестные Муки. Это, конечно, вызывающе, но очень благородно.

Жак Маржерет приехал со встречи Марины Мнишек. Привез Ивану в подарок двух рябых попугаев. Маржерет был огорчен: при торжественном въезде Марины отряд его аркебузеров поставили позади польских гайдуков и уланов. Рассказывал, что царь Димитрий велел сделать для Марины корону:

— Насколько мне известно, прежде женщины у вас не короновались, — ворчал он. — *Mais enfin, ça fait dix mille roubles!* Маржерет быстро напился, помрачнел. Княгиня хлопотала вокруг него, советовала:

— Ты бы, Яков, русские обычаи перенимал не вдруг!

Беспокойный старик князь Голибесовский, дядя сироты-невесты княжны Марьи, сидя в красном углу шамкал, с неодобрением поглядывая на иноземцев и Ивана:

— Горе тому городу, где царь юн, а бояре его рано пьют и едят!

Красногубый, чернобровый Мишка Молчанов рассказывал ливонцу Розену о конце Годуновых, а сам не отводил своих зеленых, с легкой косоной глаз от полногрудой княгини Гликерьи:

— Царица Марья от страха обмерла, — мы ее легко придушили. А вот Федор никак не давался. Крутили ему руки вчетвером, и так и сяк. Шелефединов выбил ему нечаянно глаз, жаль, конечно, красивые у него были глаза, большие, черные, как у царевны Аксиньи. Пах ему стрельцы раздавили, а он все рвался. Тут князь Васька Масальский изловчился сзади, накинул мальчишке на шею шелковый шнурок. Вот тем шелковым шнурком мы его и dokonчили...

— Вот увидите, — говорил хмельной Маржерет князю Артемию Аштону и его жене, княгине Пенелафе Фоминичне, —

нас еще ждут новые метаморфозы и предательства. Старый волк, месть Бельский непременно нам отомстит за свою выщипанную мессиром доктором Симоном бороду!

Старик Голибесовский собрался домой. Долго прощался, кланялся в пояс. Сказал матери:

— Ты, княгиня, за князем Иваном строже смотри, кабы не завелись у него бесовские мечтания. Марья у нас последняя, после нее никого Голибесовских больше нет. Хорошо, чтобы муж ее покоил, а не пугал... Сама видишь, смутные теперь времена. Москва не Москва уже, а какой-то Вавилон, ото всех языков. Вчера на Торгу Петрушка-юрод прорицал. Скоро, говорит, опять будете есть человечье мясо за говьяжье, как в позапрошлых годах.

Голибесовский покосился на "Диану на охоте", подаренную князем Артемием Аштоном, плюнул:

— И чего только у вас в дому не висит! Срам, чародейка, блудница, ложная богиня еллинам!

В старом дворцовом саду на Воробьевых горах пировали в неоглядно долгий день, расстелили ковры под цветущими яблонями. Вдали в майском мареве темнела за рекой, за зеленым дымом рошиц Москва. Дмитрий лежал на персидском ковре, усыпанном яблоневым цветом, закрыв ладонью глаза.

— Старица Елена мне сулит скорую смерть, — говорил Дмитрий.

— И Маржерет с Розеном предостерегают. Что, если взять, да всех бояр истребить — для береженья, как отец? Нет, не сделаю я этого, мне пчелу, и ту раздавить жаль...

"А Федора Годунова?" — подумал князь Иван.

Над ними жужжали пчелы, у реки в ивняке выводил свои колена соловей.

— Борисов день — соловьиный, — сказал царь. — Тогда, в Угличе, тоже был май теплый, как нынешний. Пятнадцать лет прошло, день в день. Я на яблоневом цвете и поскользнулся, упал на ножик. Успел только попросить: "Варварушка, не дай мне смерти прежде покаяния!"

"Мечтатель он, или Вор, или, правда, Дмитрий Углицкий?"

— недоумевал Хворостинин.

— Не помню, как и почему уцелел. — продолжал царь. Очнулся уже в Галиче, в Рыбной слободе. Рыба у нас там была всякая — и плотва, и ершики, и окуни, и лещи. В огороде — печка: подбросишь березовое полено и коптишь рыбку... А с четырнадцати лет стал жить по монастырям, скрываться, мне царскую мою породу открыли... Это меня, думаю, женочка безобразная испортила, ее ко мне мать в Угличе для потехи звала...

“Как же крепко он верит”, — удивлялся Хворостинин. Ему тоже хотелось верить, что его государь и есть настоящий Димитрий, потому что был он царем милосердным и никого не хотел в своем царстве видеть печальным...

А через два дня обезображенное царское тело в овчине и с маской на лице лежало на подводе у Воскресенского монастыря. Василий Шуйский разъезжал в толпе на ногайском жеребце, звал:

— Подите, потешьтесь над Вором!

Из монастыря выходила к толпе мать, инокиня царица Марфа, громко кричала: “Прельстил он меня!”. Называла Расстригой, дьявольским сосудом. А потом, у себя в келье, лежала под образом, выла:

— Матерь Божия, за что ты меня так испытуешь!

Потому что тоже не знала, сын он ее или нет.

Прошло полгода. Князь Иван подъезжал с Розеном и Маржеретом к Ливонской границе серыми изборскими полями.

— Вот мы и сыграли комедию Теренция или Плавта, — сказал Маржерет. — Как я рад, что, наконец, покидаю отечество этих пренебрегаемых сарматов. Жаль, однако, императора Димитрия. У него были качества истинного государя! Впрочем, мертвым я его не видел. Но меня уверял месье Бертран из Казани, что у трупа были длинные волосы и борода. А как мы все хорошо помним, император стригся и ходил безбородым.

— А может, это была трагедия Софокла? — откликнулся Розен. — Придти в мир молодым, неизвестно откуда, все испытать, стать царем и умереть. Может быть, в этом — знак. Миром должен править тот, кто не свой для мира. Царь Салима Мелхиседек был без отца, без матери, без генеалогии. Так и Димитрий.

“Мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем, — вспомнил князь Иван. Когда же настанет совершенное, все, что отчасти — прекратится”.

Юрий Кашкаров

Ложится свет на листья винограда
И уплывает горечь и досада.

В саду, где перец, фиги и корица,
Клюет оливку розовая птица.

И пыльный мрамор (лысого Сократа?)
В аллее жив от желтого заката.

А молодая милая туристка
Бежит за белкой, нагибаясь низко.

Козел-сатир таится за колонной,
От времени приятно загрязненной.

И, воскрешая древнюю Элладу,
Туристка превращается в дриаду.

Неплохо бы под этим светлым небом
Стать юношей. Нет, отроком, эфебом.

Не каменным, живым. Родные Музы
Меня спасут от роковой Медузы?

Игорь Чиннов

Просите, просите защиты!
Глухой, неприветливый мир!
Вернулся ограбленный, битый
Из бара сердитый банкир.

И видит: любовник в постели
Предался беспечному сну.
И руки его захотели
Убить молодую жену.

Убил. Но ведь будет же сниться...
И — липкая краска ножа...
И бросился женоубийца
С тринадцатого этажа.

Летел, проклиная сердито,
Но ждало его торжество:
Он прямо упал на бандита,
Который ограбил его!

Заутра на шумном вокзале
(Ведь ясен преступный мотив!)
Любовника арестовали,
В убийстве его обвинив.

А день был сухой и весенний
И Ангел Расплаты затих,
Усталый от всех преступлений
И всех наказаний земных.

Игорь Чиннов

ТРИ ЧАСА МЕЖДУ ПОЛЕТАМИ*

Это был ужасный риск. Но Дональду захотелось рискнуть. Он был здоров, ему было скучно, и было сознание того, что недавно им был выполнен утомительный долг. Ему захотелось вознаградить себя? Как знать?

Самолёт сел. Дональд вышел в средне-западную летнюю ночь и направился к изолированно стоящему аэропорту, пуэбло, похожему на "ответшалоое краснокожее железнодорожное депо".

Он не знал — жива ли она, живёт ли в этом городе. Не знал её теперешней фамилии. Все больше и больше волнуясь, он стал просматривать телефонную книгу, ища фамилию ее отца, который ведь мог и умереть за эти двадцать лет.

Нет. Судья Хэрмон Холмз — Хиллсайд 3194.

На его вопрос о мисс Нэнси Холмз удивленный женский голос ответил:

— Нэнси теперь госпожа Уолтер Гиффорд. А кто говорит?

Но Дональд повесил трубку, не ответив. Он узнал все, что ему было нужно. И в его распоряжении было только три часа. Никакого Уолтера Гиффорда он не помнил. И снова был момент замешательства, пока он перелистывал телефонную книгу: ведь она могла выйти замуж за человека неместного.

Нет, все в порядке. Уолтер Гиффорд — Хиллсайд 1191.

*First published in "Esquire". Copyright 1941 by Esquire, Inc. Copyright renewed 1963 by Frances Scott Fitzgerald Smith. Reprinted by permission of Harold Ober Associates Incorporated.

Кровь прилила к кончикам его онемевших было пальцев.

Хэлло?

Хэлло. Госпожа Гиффорд дома? Говорит ее старый друг.

Я слушаю.

Он вспомнил, или ему показалось, что вспомнил, странное очарование ее голоса.

— Говорит Дональд Плэнт. Я вас не видел с тех пор, как мне было двенадцать лет.

— О! — В ее голосе были удивление и вежливость. Но он не почувствовал там ни радости, ни того, что она его узнала.

— Дональд! — повторила она. На этот раз в ее голосе было нечто большее, нежели только простая попытка его вспомнить. — Когда Вы вернулись в город? — И, еще теплее: — Где Вы теперь?

Здесь, в аэропорту, всего на несколько часов.

Отлично, приезжайте повидаться.

Могу ли я быть уверен, что Вы не собираетесь ложиться спать?

Господи, конечно нет! Я сидела одна со стаканом хайболла. Вашему шоферу такси Вы просто скажете...

По дороге Дональд анализировал разговор. Его слова "в аэропорту" свидетельствовали о том, что он сохранил свое социальное положение. То, что Нэнси проводила вечер в одиночестве, могло означать, что она превратилась в непривлекательную женщину, у которой нет друзей. Мужа либо нет дома, либо он уже в постели. И оттого, что в его памяти она оставалась десятилетней девочкой, хайболл шокировал его. Но он тут же улыбнулся — ведь ей было почти тридцать.

В конце поворота подъездной аллеи он увидел темно-волосую небольшого роста красивую женщину. Она стояла со стаканом в руке, прислонившись к освещенной двери. Удивленный тем, что он, наконец, увидел ее во плоти, Дональд вышел из машины.

— Госпожа Гиффорд?

Она повернула выключатель на веранде, и теперь, при свете, смотрела на него широко открытыми испытующими глазами. Улыбка пробивалась сквозь озадаченное выражение ее лица.

Дональд, это — вы? Мы все так изменились! О, это удивительно!

Они вошли в дом, то и дело повторяя: "Все эти годы...", и Дональд чувствовал какую-то слабость во всем теле. Происходило это отчасти потому, что он живо вспомнил их последнюю встречу, когда она проехала мимо него на велосипеде, делая вид, что его не замечает. И еще оттого, что был страх, что им нечего будет друг другу сказать. Как на встрече бывших университетских однокурсников. Но там сознание невозможности вернуться в прошлое обычно маскируется шумливостью праздника. Ошеломленный, он сознавал, что, возможно, ему предстоит провести долгий и пустой час. И с чувством безнадежности он решил на это.

— Вы всегда были прелестны, но, признаюсь, я поражен тем, в какую красавицу вы превратились!

Это подействовало. Мгновенное признание их изменившегося положения, его смелый комплимент превратили их, вместо каких-то мямлющих друзей детства, в только что познакомившихся, интересных друг другу людей.

— Хотите хайболл? — спросила она. — Бога ради, не думайте, что я превратилась в алкоголичку. Но это была унылая ночь. Я ждала мужа, а он протелеграфировал, что вернется двумя днями позже. Дональд, он очень милый человек, очень привлекательный внешне. Пожалуй, вашего типа, и расцветка волос — ваша. — И, после короткого колебания: — Мне кажется, его кто-то интересуется в Нью-Йорке. Впрочем, не знаю.

— Глядя на вас, это кажется невозможным, — заверил он ее. — Я был женат шесть лет, и было время, когда я мучил себя такими же подозрениями. Но в один прекрасный день я решил изгнать ревность из моей жизни. После смерти моей жены у меня остались только чудесные воспоминания. Ничто их не омрачает, ничто не причиняет боли.

Она смотрела на него внимательно и с сочувствием.

— Мне очень жаль, — сказала она. И, помолчав: — Вы очень изменились. Поверните голову. Помню, мой отец говорил: "У этого мальчика есть мозги".

Вы, вероятно, возражали.

— Это произвело на меня впечатление. До этого я думала,

что мозги есть у всех. Вот почему я и запомнила его слова.

— Что еще вы запомнили? — спросил он, улыбаясь.

Внезапно Нэнси поднялась со своего места и отошла в сторону.

— Знаете, — с упреком сказала она. — это несправедливо. По-видимому, я была озорной девчонкой.

— О, нет! — сказал он решительно. — Вот теперь я хотел бы хайболл.

Пока она, спиной к нему, наполняла стакан, он продолжал:

— Вы думаете, что вы были единственной девочкой, которую когда-либо целовали?

— Вам нравится эта тема? — спросила она.

Однако, ее внезапное раздражение тотчас прошло и она добавила:

Черт побери! Мы жили, веселясь. Как поется в той песне.

— Когда катались на санях...

— Да. И на пикнике у Труди Джеймс. И в Фронтенаке в то лето. В те лета.

Это катанье на санях он вспоминал чаще всего. И как он целовал в углу на соломе ее холодные щеки, а она смеялась, глядя на холодные белые звезды. Парочка рядом отвернулась, и он целовал ее шею, ее уши, и никогда — губы.

— А вечеринка у Макса, когда играли в почту, и я не мог прийти, потому что у меня была свинка, — вспомнил он.

— Этого я не помню.

— О, вы были там. И вас целовали, и я сходил с ума от ревности, как никогда с тех пор.

— Странно, но я не помню. Может, мне хотелось позабыть.

— Почему? — спросил он, удивившись. — Ведь мы были два совершенно невинных создания. Нэнси, когда я рассказывал моей жене о моем прошлом, я всегда говорил, что вы были девочкой, которую я любил почти так же сильно, как ее. Но, на самом деле, думаю, я любил вас так же сильно, как ее. Когда вы уехали из этого города, я почувствовал, будто что-то во мне оборвалось.

— Неужто вы были так сильно увлечены?

— Господи Боже, да! Я... — он вдруг осознал, что они стоят всего лишь в двух шагах друг от друга, что он говорит так,

словно он и теперь ее любит, что она смотрит на него затуманившимися глазами и что ее губы наполовину приоткрыты.

— Продолжайте, — сказала она, — мне стыдно признаться, но мне доставляет удовольствие вас слушать. Я не знала, что на вас тогда это так подействовало. Я думала, что это я была та, кто так переживала.

— Вы?! — воскликнул он. — Разве вы не помните, как вы оставили меня одного в закуской? — Он засмеялся. — И даже показали мне язык.

— Совершенно не помню. Мне казалось, что это вы меня покинули. — Ее рука, как бы утешая, легко опустилась на его руку. — У меня наверху альбом с фотографиями. Я не разглядывала его годы. Я найду его.

Следующие пять минут у Дональда были только две мысли. Первая о том, отчего это разные люди по-разному вспоминают об одних и тех же событиях. И вторая: непостижимо, но Нэнси волновала его сейчас как женщина точно так же, как она волновала его, когда они были детьми. Через полчаса в нем стало крепнуть чувство, которого он не испытывал со времени смерти жены, и которое, как он думал, к нему больше никогда не вернется.

Сидя рядом на диване, они открыли альбом. Нэнси смотрела на него, улыбаясь; она казалась очень счастливой.

— О, это так приятно, — сказала она. — Так приятно, что у вас остались такие чудесные воспоминания обо мне. Знаете, скажу вам честно, мне очень жаль, что тогда я об этом не знала. После того, как вы уехали, я вас возненавидела.

— Как жаль, — тихо сказал он.

— Но теперь я этого не чувствую, — поспешила она. И потом импульсивно: — Поцелуемся и помиримся...

— Хорошие жены так себя не ведут, — через минуту сказала она. — По правде говоря, с тех пор, как я замужем, я не помню, чтобы целовала кого-нибудь, кроме мужа.

Он был возбужден. Больше того, он был в замешательстве. Целовал ли он Нэнси, или воспоминания о ней, или эту прелестную, трепетную незнакомку, которая вдруг отвернулась от него, чтобы перевернуть страницу в альбоме?

— Пойдите! — сказал он. — Вряд ли я сейчас в состоянии

разглядывать фотографии.

— Отныне мы будем благоразумны. Я и сама не чувствую себя очень спокойной.

И тут Дональд произнес одну из тех избитых фраз, которые обычно говорятся в подобных случаях.

— А что если, не дай Бог, мы снова влюбимся друг в друга?

— Перестаньте! — Она смеялась, но ее дыхание было прерывистым. — Оставим это. Так, минутная слабость. Мгновение, о котором я должна буду забыть.

Не рассказывайте мужу.

— Отчего? Обычно я все ему рассказываю.

— Ему будет больно. Мужчинам никогда не надо рассказывать такие вещи.

— Хорошо, я ему не скажу.

— Поцелуйте меня, — сказал он, что было довольно-таки непоследовательно, но Нэнси уже перевернула страницу и, полная нетерпения, указывала ему на какую-то фотографию.

— Это вы! — воскликнула она. — Я сразу нашла!

Он посмотрел. Мальчик в коротких штанишках, стоящий на пристани на фоне парусной лодки.

— Я помню, — она торжествующе смеялась, — точный день, когда был сделан этот снимок. Вас сфотографировала Китти, а я стащила у нее эту карточку.

Вначале Дональд пытался узнать себя в этом снимке. Потом, склонившись ниже к альбому, он понял, что это — не он.

— Это не я, — сказал он.

— Ну да, это вы! Это было снято в Фронтенаке тем летом, когда мы часто забирались в пещеру.

— В какую пещеру? В Фронтенаке я вообще был всего дня три. — Он опять напряг зрение, разглядывая чуть пожелтевшую фотографию.

— Нет, это не я. Это Дональд Бауэрс. Между нами, действительно, было некоторое сходство.

Теперь она стала пристально смотреть на него. Отодвинувшись, словно от него удаляясь.

— Но ведь вы — Дональд Бауэрс?! — воскликнула она. И вдруг ее голос стал отчужденным. — Нет, вы — не он. Вы — Дональд Плэнт.

— Я же вам сказал по телефону.

Она встала. Ее лицо выражало некоторое смятение.

— Плэнт! Бауэрс! По-видимому, я сошла с ума! Или это так хайболл на меня подействовал? Я, кажется, что-то напутала с самого начала. Но, все-таки, посмотрите еще раз!

Перелистывая страницы альбома, он старался оставаться невозмутимым, спокойным.

— Меня тут нет, — сказал он. Фотографии, на которых он отсутствовал, снова и снова мелькали перед его глазами: Фронтенак, пещера, Дональд Бауэрс.

— Ну вот, видите, это вы меня бросили!

Нэнси теперь говорила из дальнего угла комнаты:

— Никогда не рассказывайте этой истории, — сказала она.

Истории такого рода легко распространяются.

— Но тут, в общем, и не о чем рассказывать, нерешительно сказал он. И подумал: "Так вот оно что, она просто была испорченной девчонкой".

Внезапно он почувствовал, что неистово ревнует к маленькому Дональду Бауэрсу, он, который, казалось, навсегда изгнал чувство ревности из своей жизни. Пять шагов — он пересек комнату и одним махом вычеркнул как двадцать лет своей жизни, так и существование Уолтера Гиффорда.

— Нэнси, поцелуйте меня еще раз, — сказал он, опускаясь на колено около ее кресла. Положил руку на ее плечо. Нэнси вся сжалась.

— Вы говорили, что вам надо успеть к самолету.

— Неважно. Я могу и пропустить. Это не имеет никакого значения.

— Пожалуйста, идите, — сказала она холодно. — И постарайтесь понять, что я сейчас чувствую.

— Но вы ведете себя так, будто меня не помните! воскликнул он. — Будто не помните Дональда Плэнта!

— Я помню. Я помню вас тоже... Но все это было так давно... — Ее голос звучал совсем отчужденно. — Чтоб вызвать такси, надо спросить "Крествуд 8484".

По дороге в аэропорт Дональд то и дело встряхивал головой. Он теперь совсем пришел в себя, хоть все еще не мог до конца осознать только что им пережитое. И лишь когда самолет

с грохотом поднялся в черное небо, а пассажиры превратились в иных существ, отличных от тех, что остались там, внизу, он смог подвести для себя итог случившемуся.

В сущности, в продолжении каких-то пяти безрассудных минут он, подобно безумцу, жил в двух мирах. Он был одновременно и двенадцатилетним мальчиком и тридцатилетним мужчиной, двумя существами, неразрывно и беспомощно связанными друг с другом.

В эти часы между полетами Дональд что-то потерял. Обычно, вторая половина нашей жизни — это длительный процесс избавления от иллюзий. Поэтому то, что с ним только что произошло — потеря еще одной иллюзии, — было, в общем-то, вполне естественно.

Ф. Скотт Фитцджеральд

Перевод с английского Д. Бидер

Отчего так тоскливо и боязно?
Исчезают огни в отдалении.
Наш вагон отцепили от поезда,
И мы едем в другом направлении.

Ночь! Шальным романтическим всадником
Проскакала ты с шашкою наголо —
Мимо станций, церквей, палисадников,
Ты морозными звездами звякала.

Дым летел и летел над вагонами,
И, уставши по ветру ворочаться,
Он клоками, вдали уменьшенными,
Уносился куда-то за рощицу.

Стужа с поездом спорит напористо,
Сколько за ночь насыпало снегу-то!
На ходу соскочить бы мне с поезда,
Да соскакивать с поезда некуда.

Иван Елагин

Я становлюсь под старость разговорчив,
Особенно по вечерам зимой.
Презрительное выраженье скорчив,
Сидит напротив собеседник мой.

Пойми, пора мне разобраться толком,
Кто я такой? Ответь мне напрямик,
Зачем я заблудившимся осколком
Летел с материка на материк?

Да, знаю я, что темные есть силы,
Но светлые ведь тоже силы есть:
Нам темные вытягивают жилы,
А светлые несут благую весть.

Но ты ответь мне, в чем свобода воли,
Моя заслуга и моя вина,
В тех радостях, в тех бедствиях, в той доле,
Которая мне на земле дана?

Но он в ответ не говорит ни слова.
Ему скучна вся эта болтовня.
Насмешливо из зеркала большого
Мой собеседник смотрит на меня.

Иван Елагин

В. Т. ШАЛАМОВ И А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

Советские лагеря — конечное зло, предел ненависти, подлости и человеческого ужаса. Лагерь — это вечный холод, ледяющий тело и душу, это голод, постепенно уничтожающий всякую грань между человеком и животным, это поток унижений, убивающий тех, кто стремится выжить. И цель советских лагерей именно в этом: — чтобы отнять у беззащитного, бесправного, измученного существа то последнее, что еще мешает человеку превратиться в животное — его душу. И какой поистине огромной нужно обладать душой, чтобы сохранить ее и в лагере, ибо все силы государства направлены на то, чтобы раздавить и растоптать личность.

Литература о лагерях, написанная теми, кто побывал там многие годы и чудом выжил — дань памяти миллионам невинно замученных. Побывавшие на самом "дне" и познавшие "ад", писатели-лагерники совершили истинное чудо. Они заставили нас представить непредставимое, поверить в невероятное и почувствовать то, что чувствовали миллионы людей в бездне ужаса и отчаяния.

Основная тема, затронутая во всех произведениях о советских лагерях, связана с самым трудным, с главной моральной проблемой заключенного: как, несмотря на все мучения, сохранить душу и человеческий облик? Как пройти через все испытания, не сделав подлости, и где найти силы, чтобы противопоставить себя тоталитарной государственной машине, старающейся сделать из человека духовного раба.

Разные писатели по-разному подходили к этой теме. Конечно, их неодинаковое отношение к лагерю и лагерной жизни было результатом разного лагерного опыта, веры и убеждений. Но нет такого человека, а тем более писателя, чье пребывание в лагере не наложило бы отпечаток на всю его последующую жизнь и не изменило бы в корне его мироощущение. В одних страдания оставили лишь злобу, ненависть и презрение к окружающему миру. В других — годы, проведенные в лагере, разбудили веру, а вместе с ней и уверенность, надежду, любовь. Так, с точки зрения своего нового мироощущения, писатели-лагерники приступали к повествованию о своей жизни "там". И именно с этой точки зрения интересно сравнить основные концепции Варлама Шаламова в его "Колымских рассказах"* и мысли Александра Солженицына в "Одном дне Ивана Денисовича" и в некоторых других его произведениях.

В отличие от А. И. Солженицына В. Т. Шаламов вышел из лагеря глубоким пессимистом. Он твердо убежден, что "лагерный опыт целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже... Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали". Не таков А. И. Солженицын. В разговоре с одним из видных советских чиновников он заявил: "Я — неискоренимый оптимист, разве вы не видите по 'Ивану Денисовичу'?" Это не бравада: там, где Шаламов проклинает тюрьму, исковеркавшую его жизнь, Солженицын верит, что тюрьма — это и великое нравственное испытание и борьба, из которой многие выходят духовными победителями. Иногда в тюрьме человек укрепляется нравственно, узнает себя, становясь лучше, чище; и, вспоминая годы тюрьмы, Солженицын заключает: "Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: *Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!*"

В соответствии с индивидуальным отношением к своему лагерному опыту несвободы, Шаламов и Солженицын по-разному описывают поведение людей в лагере. Веря, что большин-

*Впервые "Колымские рассказы" все были опубликованы в "Новом Журнале". См. кн. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125.

ство людей не в силах перенести это испытание, не делая зла, Шаламов описывает своих героев с самой мрачной стороны. Он не допускает никаких человеческих чувств в лагере и этим в корне отличается от Солженицына, который твердо знает, что подлеют и "растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием". И, с другой стороны, те хорошие качества, которыми человек обладал до ареста, многие сумели сохранить и углубить в страшных условиях лагерей.

Такими душевными качествами, характеризующими каждого, могут быть доброта, жалость и любовь к ближнему. В. Шаламов не верил, что эти, казалось бы естественные свойства, могут сохраниться на Колыме: "Мороз... добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости ... могла промерзнуть и душа. И душа промерзла, сжалась, может быть, навсегда останется холодной". И еще: "Мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас... В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях... размещалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство". Одним из примеров сказанного является рассказ "Посылка", где главного героя, счастливого обладателя долгожданного хлеба и масла, бьют по голове и, у оглушенного, отнимают его жалкие крохи. Кроме пострадавшего и грабителя в бараке в этот момент было много заключенных, но поразительно описание Шаламова: "Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было самого лучшего сорта. В таких случаях — радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне". Это ли не предел злобы и душевной окаменелости?! Таким, не способным ни на какое чувство сострадания, и представил Шаламов лагерьный мир. Но не так видел его Солженицын.

Конечно же, и Солженицын не идеализирует отношения между заключенными. Но описывая озлобленность, ложь и отчаяние, он верит, что, наряду с этими чувствами, в лагере нередко были порывы широкой души, сострадания и даже любви. Так, в "Одном дне Ивана Денисовича" Солженицын описывает отношение главного героя к чужому мальчику: "Этого

Гопчика, плута любит Иван Денисович (собственный его сын помер маленьким, дома дочки две взрослых)". Да и не только его любит и жалеет Шухов, больной и вечно голодный заключенный каторжного лагеря. Раздобыв по-случаю печенье, Иван Денисович прежде всего поделился со своим соседом, Алешкой-баптистом. Восемь лет лагерей, с твердым законом "умри ты сегодня, а я завтра", не отучили Шухова помогать тем, кто еще несчастнее и слабее его. Сам очень добрый, он еще лучше видит и ценит любое проявление доброты; он инстинктивно тянется ко всякому добру, хоть и знает на опыте, что христианская кротость Алеши-баптиста практически непригодна для лагеря: "Неумелец он, всем угождает, а заработать не может".

А иногда уж совсем не по-лагерному ведет себя Шухов: не только своих друзей-заключенных жалеет Иван Денисович, но и тех, кого он сам недолюбливает. Презирает он в душе подхалима и "шакала" Фетюкова, но тут же и думает: "Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить". И самое удивительное: жалеет Иван Денисович и тех, кого, казалось бы, должен ненавидеть лютой ненавистью — конвой, например. А он думает про своих мучителей: "Тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться". Каким поистине большим сердцем нужно обладать, чтобы и страшные годы лагеря, которые, по словам Шаламова, не оставляли ничего, кроме недоверия, злобы и лжи в человеческой душе, не смогли уничтожить те по-настоящему глубокие чувства тепла и доброты к ближним, которые более всего и делают человека человеком!

Но, кроме жалости и доброты, не убивает ли лагерь другие человеческие качества, которые на воле принято считать достоинствами? Остаются ли в лагере такие понятия, как честность, гордость, стыд? И не уничтожает ли несвобода такие естественные для человека потребности, как дружба, творчество? Шаламов, безусловно, считает, что в результате длительного заключения человек инстинктивно отмечает все высокие понятия и идеалы, которые может быть и хороши для вольного, но для лагерника — смертельны. Они мешают ему выживать в той атмосфере грязи и низости, которая его окружает. Шаламов пишет, например, что понятия честности в лагере не существо-

вало: "Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд" и что "умение красть — это главная северная добродетель во всех ее видах — начиная от хлеба товарища..." Но не хочет этому верить Солженицын, описывая, как доверяет Иван Денисович своим соседям по нарам и как сам он "понимает жизнь", на чужое добро не зарится и долги честно отдает, без обмана.

И гордость человеческая, и стыд, по мнению Шаламова, не могли сохраниться в заключении, полном издевательств и унижений. Все оставшиеся мысли и чувства лагерника были направлены на то, чтобы выжить *любой* ценой. Голодному ничего не стоило унизиться до уровня животного, чтобы получить из рук хозяина лишний кусок хлеба. После долгих лет лагеря немногие из заключенных продолжали чувствовать стыд за свое чисто животное стремление выжить за счет больших или мелких подлостей, а часто даже жертвуя жизнью другого. Но и здесь не согласен Солженицын. Не все в лагере потеряли собственное достоинство и стыд, для многих лучше умереть было, чем своего брата-заключенного в гроб загнать. Вот, например, описывает Солженицын одного солагерника Ивана Денисовича, старика, просидевшего по тюрьмам и лагерям несчетное количество лет, но не утратившего своего достоинства, гордости и духовной силы, не превратившегося в забитое животное. Да и сам Шухов "не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался". Он не будет, как Фетюков, унижаться и выпрашивать пощадки; он даже "не уронит себя" настолько, что в самый свирепый мороз в шапке за стол не сядет. И уж конечно ради собственного спасения не будет Иван Денисович губить своих товарищей; живы в нем еще совесть и стыд, потому он и думает, что хоть доносчики "себя берегут, только береженье их — на чужой крови".

Естественно, что отрицая любовь и прочие высокие чувства в заключении, Шаламов не верит, что в лагере, среди измученных до последней степени людей, могут существовать такие обычные для воли отношения, как дружба. Он считает, что в неволе не может существовать какая-то интеллектуальная и творческая деятельность. Он пишет, что "при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря

на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверенной несчастьем и бедой. Для того, чтобы дружба была дружбой, нужно, чтоб крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия быта еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке..." И далее: "Если беда и нужда сплестили, родили дружбу людей — значит, эта нужда — не крайняя и беда — не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями".

В лагере, говорит Шаламов, человек очень скоро перестает чувствовать всякую духовную потребность: у него нет никаких желаний, кроме того, чтобы поесть, согреться, не пойти на работу, уснуть; его не интересуют люди, если он не может получить от них какую-то выгоду; абстрактные мысли, не способствующие физическому выживанию, не тревожат его окостеневшее сознание. Не удивительно, что Шаламов не допускает возможности какого-то творчества в лагере, замечая, что "заключение... как бы консервирует людей — их духовный рост, их способности замирают на уровне времени ареста" и — "человеческий мозг не может работать на морозе".

— Может! — говорит Солженицын. И дружба и творчество могут существовать в лагере, ибо не смогла дьявольская машина советского государства заглушить множество поистине больших человеческих сердец. Вот он описывает двух эстонцев, соседей Ивана Денисовича: "Эти эстонцы, как два брата родных. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало... И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной... А были они вовсе не братья и познакомились уж тут", в лагере. Что же это, если не дружба, родившаяся между двумя измученными людьми в каторжном мире? И неужели беда, свалившаяся на них обоих и сроднившая их, была "небольшой", нужда — "не крайняя"?

И еще один (уже не вымышленный) пример нерушимой дружбы в нечеловеческих условиях ГУЛага: "Ольга Львовна Слизберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное погибнуть с нею сама — и спасла. И конечно же, говорит Солженицын, в лагере можно наблюдать множество таких примеров полноценной интеллектуальной жизни и истинного творчества, как ведение научных и культур-

ных семинаров (посетители — полумертвецы, шатающиеся от голода); зыбкие споры об искусстве; и даже писание стихов в уме во время многочасовой непосильной работы.

Итак, из всего сказанного можно заключить, что в то время, как В. Шаламов не верит, что в нечеловеческих условиях лагеря заключенный может остаться человеком, сохранить чистоту души, способность любить, думать и творить, Солженицын убежден, что тех, кто до тюрьмы по-настоящему обладал качествами, которые и делают человека человеком, заключение только возвышает, нравственно укрепляет и еще более облагораживает. Но здесь, вероятно, следует добавить еще одну деталь к нравственным и философским убеждениям Шаламова. В противоположность Солженицыну, Шаламов в лагере пришел к выводу, что "человек стал человеком не потому, что он Божье создание... а потому, что он был *физически* крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому". И далее: "Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака". Вот в этой несогласии по поводу источника и смысла человеческой жизни, вероятно, и кроется разгадка различных взглядов писателей на их лагерный опыт.

За долгие годы лагеря В. Шаламов не стал религиозным человеком, не приобрел веры, несмотря на бесконечные страдания. Он и сам говорит устами своего главного героя, что у него "нет религиозного чувства", хоть он безусловно уважает его в других. Шаламов пишет: "Та безрелигиозность, в которой я прожил свою сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Раствление охватывало души всех, и только религиозники держались". Истинная вера в Бога помогала людям сохранить человеческий облик и не потерять всякое представление о добре и зле. Но преклоняясь перед этим, Шаламов недоумевает перед таким непостижимым для него явлением.

Не имея веры, хранящей душу от раствления, отчаяния и ненависти, Шаламов расценивает свой лагерный опыт как огромное несчастье жизни, а не как испытание, ниспосланное свыше, исцелившее и укрепившее его душу. Шаламов смотрит на свой лагерный опыт, как на нескончаемый кошмар; он не

находит в заключении ничего радостного и положительного. Это и отличает его от Солженицына, который пишет, что свои одиннадцать лет, проведенных в неволе, он усвоил "не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир..."

Наиболее значительным событием, пережитым Солженицыным в лагере, было возвращение к нему с детства утраченной веры, осветившей всю последующую его жизнь. Обретя веру, великий русский писатель сумел по-иному взглянуть на долгие годы своего заключения и увидел, что оно было от Бога, а значит — "во благо". Поняв это, Солженицын, как и тысячи религиозных людей, воспринял свое несчастье, как кару Божию и возмездие за грехи прошлого. Поэтому нет в нем и в других верующих ненависти и обозления на людей за то, что те подвергли их бесконечным страданиям. Свое безысходное несчастье религиозные люди принимают с радостью, и именно этой радостью, верой и любовью освещены "оптимистические" произведения Солженицына.

Так, в "Иване Денисовиче" Алешка-баптист, арестант с 25-летним сроком, говорит главному герою: "Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!" И верит Иван Денисович: "Не врет Алешка, и по голосу его, и по глазам его видать, что радый он в тюрьме сидеть". Солженицын знает, что и в лагере можно сохранить внутреннюю свободу и высокую душу, а потому и пишет про того же баптиста: "Безотказный этот Алешка, о чем его не попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой". Так взгляд Солженицына на лагерь в корне отличается от взгляда Шаламова именно из-за религиозности первого: вера в Бога помогла Солженицыну сохранить твердую уверенность в непобедимую человеческую душу, перед которой отступает самое страшное зло. Этим и объясняется та оптимистическая позиция Солженицына, которой нет у Шаламова.

Нужно заметить, однако, что страдания, выпавшие на долю Шаламова, полжизни убившего в страшных колымских лагерях, были несомненно более тяжелыми, чем испытания Солженицына. Шаламов намного дольше задержался на таких общих работах, как лесоповал и рудники, медленно убивающие или (в случае особого "везения") калечащие заключенного. Счастливая

случайность и его собственная находчивость спасли Солженицына от невыносимой жизни на Колыме, самом страшном острове Архипелага ГУЛаг, где Шаламов провел большую часть своего заключения. Этим, вероятно, можно частично объяснить и то, что Шаламов более пессимистичен в своем мировоззрении и то, что в его "Колымских рассказах" лагерь много "страшнее", чем у Солженицына в "Одном дне Ивана Денисовича".

Это видно даже из незначительных деталей. Шаламов, например, упрекает Солженицына в письме за то, что последний упомянул в своей повести о существовании в лагере обыкновенного кота: "Почему его до сих пор не зарезали и не съели?" — спрашивает бывший узник колымских лагерей, где живой кот — немислим. И Солженицын видит правоту автора "Колымских рассказов", замечая: "Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт". Он признал это, но все же не принял на веру шаламовское утверждение о том, что лагерь должен растлить человека. Наоборот, Солженицын заявил, что своею личностью и своими произведениями Шаламов опроверг собственную концепцию.

И действительно: несмотря на страшную убежденность Шаламова, что в лагере невозможно остаться человеком, его книга произвольно и вопреки самому автору заставляет читателя верить в честь, добро, огромную человеческую душу и достоинство. Противореча собственной концепции, Шаламов не может не описать своего лагерного товарища Полянского, который "был честен... Какие-то тайные муки терзали его — настолько сильные, острые, навечные, что сумели пробиться сквозь лед, сквозь смерть, сквозь равнодушие и побои, сквозь голод, бессонницу и страх". Шаламов не смог забыть и арестанта Чудакова, который предпочел просидеть целый месяц в карцере (на кружке воды и трехстах граммах хлеба в день), но не подписал лжесвидетельства, доноса на человека, которого он едва знал. Такими рассказами об истинной духовной силе некоторых своих сокамерников Шаламов, безусловно, опровергает собственную концепцию о том, что добро и лагерь несовместимы. А главное — что автор "Колымских рассказов" собственную жизнь свою во

время и после заключения противопоставил своим жестоким и пессимистичным убеждениям. Ведь это он не смог смолчать и, обожженный стыдом, прошептал дрожащим от слабости голосом в лицо начальнику конвоя: "Не смейте бить человека". Это он твердо заявлял: "Я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам... Я не буду и добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых... Я не буду искать "полезных" знакомств, давать взятки".

И справедливо спрашивает Солженицын: "А отчего это, Варлам Тихонович, почему это Вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растреления?... Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство?". По-видимому — не самое.

Анна Шур

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	70	130	250
Заграница	97	184	357
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	126	242	474

В РАЮ И В АДУ

I

В прохладный час наведалься Творец
В безлюдный сад, и у фонтанов рая,
Где лебеди поют, не умирая,
Счастливчика заметил, наконец.

— "Как, ты один? Ведь создан не скопец?"
Еще верста: одна душа, вторая.
Копытцами слегка перебирая,
Лишь козочки пасутся у крылец.

А сколько тут нетронутых смоковниц!
Пришли сюда — без жен и без любовниц —
Подвижники — поддельные отцы.

Прогневался Господь: — "Ответьте ныне,
Отшельники, монахи, чернецы,
За то, что рай безжизненной пустыни!"

II

Потом Господь сошел и в свой ГУЛаг:
Там очередь длиннее Междуречья;
В ней смешаны обличья и наречья,
А на двери начертано: "Аншлаг".

Толпа гудит: ей надо больше благ.
Годится всё: дровишки, шерсть овечья,
Патентика, чтоб залечить увечья,
Худой зипун, залатанный обшлаг.

Там новые издания Казановы
И девушки, которые готовы
Стране помочь: "народ, не вымирай!"

Вторичный гнев Господень был неистов:
— "За то, что ад наполнен через край,
Сошлю сюда плодливых гуманистов!"

Валерий Перелешин

СТРАТАНОВСКИЙ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Ленинградская школа поэзии, разумеется официально непризнанная, существует уже четверть века. Сами поэты раньше, чем кто-либо, сумели осознать, что появилась именно школа, а не просто несколько десятков талантливых авторов, которым случилось жить в одном месте в одно время. К этому осознанию многие в Ленинграде пришли еще лет десять назад, но этот факт до сих пор не привлек достаточного внимания. Расцвет поэзии был столь заметным, а художественные искания среди поэтов часто столь аналогичными, что один из них, Олег Охупкин, назвал этот период "бронзовым веком" русской поэзии по аналогии с веком "серебряным". С двадцатых годов и до середины пятидесятых в России не было подобной вспышки художественной энергии. Безусловно, эта энергия не могла появиться в установленных государством рамках, движение целиком оказалось неофициальным. Со временем к движению стали примазываться даже официально признанные авторы, ибо они понимали, что может дать реальную, а не искусственную популярность. Три фактора были благоприятными для возникновения школы: внезапное обилие талантов, огромный спрос на поэзию и определенная общность между поэтами — личная, географическая и мировоззренческая. Охупкин в поэме "Бронзовый век" называет следующие имена, представляющие школу: Еремин, Уфлянд, Горбовский, Соснора, Кушнер, Рейн, Найман, Бродский, Бобышев, Охупкин, Ожиганов, Кривулин, Куприянов, Ширали, Чейгин, Эрль, еще ряд имен, а также — Страта-

новского. На самом деле, список гораздо обширнее, и Охапкин знает об этом: "Дальше столько пришло народу, что едва ли строфу упрочим, если всех перечислим кряду".

Выросший в семье профессора-классика, Сергей Стратановский пользуется античными образами столь же уверенно, как предметами быта. Часть классического наследия усвоена им своевременно и органически, так что в его стихах от античных имен не отдает ни книжной пылью, ни искусственной эрудицией. В его стихах Стикс так же обычен, как Обводный канал, а кентавры — как львы на набережной. От его мифологического словаря не остается впечатления книжности, вычурности — это, пожалуй, — единственный такой случай в современной русской поэзии. Классические образы у Стратановского не выглядят анахронизмом или узурпацией, они уместны на фоне города, а его стихи городом густо насыщены.

Однако, множество литературных аллюзий у Стратановского, конечно, не ограничивается античностью. Стратановский — филолог по образованию и, видимо, по призванию. Литература, знакомство с ней — важнейшее событие в его жизни, и он обнаруживает ее знание в своих стихах спонтанно. Чаще всего, литературные аллюзии, используемые Стратановским, ведут к поэтам и прозаикам XX века. Без сомнения распознается "Миф о Сизифе" Камю; этот перевод в течение многих лет ходил в самиздате. Увлечение в шестидесятые годы экзистенциализмом было стандартным признаком принадлежности к неофициальной культуре.

О ты, феномен отчужденья
Сизифо-жизнь, никчемный труд.
Живут дома, как наважденья
Каналы мутные текут.

Стратановский — поэт отчуждения, но не экзистенциалист. Он пишет об эссенции бытия, а не об экзистенции: два взаимоисключающих взгляда. Он не поэтизирует своей "заброшенности", как Камю, но, сознавая свою отделенность от Гераклитова огня ("Но тот огонь отец отцов...". Или: "Мы — растратчики мирового огня"), он пишет об этой раздельности.

В шестидесятые годы, когда Стратановский начал писать стихи, был заново открыт Андрей Платонов. В самиздате циркулировали "Чевенгур" и "Котлован". Влияние Платонова сказалоь не только на таких прозаиках, как Марамзин, но и на поэтах. Следы этого увлечения видны и у Стратановского:

Прораб сказал — Движенье звезд
 Прообраз нашего сознания.
 Мы строим человекомост
 Над ночью мироздания.

Такие метафизические прорабы, безусловно, в традиции Андрея Платонова. Нередок и платоновский синтаксис: "Вы, служители Господа в волчьих углах темноты / мужики его пахоты". В одном случае узнается даже конкретный рассказ Платонова:

И причастились вдруг сомнению
 Деревья, рельсы и поля.

Одновременно ленинградские поэты открыли для себя обереутов с их стилистическим Вавилоном и псевдонаивной манипуляцией психологическими установками. Следуя этой пантеистической поэтике, Стратановский сводит в одну строфу стилистически враждебные слова, рифмует их по признаку иронического контраста, сопоставляет абсурд разговорных клише с риторикой высокого стиля.

Мы здесь избавлены от уз
 Работы скудной и немилой
 Нам дал путевки профсоюз
 Чтоб запаслись телесной силой.

Этот стилистический коктейль — не редкость, но одна из особенностей ленинградской школы. Аналогии легко найти в "текстах" (авторское название) В. Уфлянда и "опусах" В. Гаврильчика. Для манеры Гаврильчика характерна концепция роли. Ни одно стихотворение не написано непосредственно, но всегда — воображаемым автором, например, экзальтированным графоманом:

Погасли звезды, утреннее небо
Сиреневый приобрело цвет.
Торжественно всходило Ленгорсолнце,
Приятный разливая Ленгорсвет.

В стихах Стратановского нет фиксированной роли, но маячит ее возможность: "Здесь Ленэнергии — Ленсвет, Ленгаз, *Ленмозг*". Его "спецабор", "спецдом" возникли в русле той же поэтики, что и "спецстихи" Гаврильчика, написанные раньше — около 1967 г. С другой стороны, "Скоморошьи стихи" Стратановского закончены на восемь лет раньше скоморошьей "Рифмованной околесицы" Уфлянда, но эта хронология только показывает устойчивость одного из эстетических признаков ленинградской школы. Скоморошья тема хотя и является общей для двух поэтов, но интерпретация ее обоими, скорее, противоположная. Уфлянд, будучи старше Стратановского только на семь лет, принадлежит к поколению поэтов, чей талант окреп в пятидесятые годы.

Стратановский — шестидесятник, он сформировался в десятилетие более многоплановое и многогранное. Поэты поколения Уфлянда были во всем первооткрывателями. Им никто *не мог* сказать, что существовал "серебряный век" и двадцатые годы, русская поэзия в эмиграции и европейцы Пруст, Джойс, Кафка, не говоря о многом другом; что были в России начала века достойные философия, живопись, театр. Они перелезли через множество "спецаборов" по собственному наитию и по своей инициативе. Их взгляд на вещи сравнительно прямолинейнее и светлее, ибо без этого спонтанного доверия к себе они не смогли бы и реализоваться. Их ирония легче, она иногда даже добродушна, хотя это — качество парадоксальное. Уфлянд светел и добродушен в своей иронии, как и его друг, поэт Мих. Еремин, и как их учитель Красильников. Ирония у них — способ встречи с псевдопафосом. Государство монополизировало пафос так же сполна, как оно монополизировало рудники. Термин и его содержание были моментально скомпроментированы. Пафос должен был вернуться к своему этимологическому корню, т. е. пафос как вид пато-логии.

Реакция Стратановского на эту форму пато-логии предсказуема:

Мне смешон твой возвышенный слог,
Побеседуем лучше шутя.

Но эта беседа "шутя" у Стратановского или сюрреалистична или пропитана иронической горечью, как в его "Скоморошских стихах".

Скоморошить? Давай скоморошить
В речке воду рубить топором
И седлать бестелесную лошадь
С человеческим горьким лицом.

У Владимира Уфлянда скоморошьи песни полны не горькой, а шутовой иронии и нешуточного юмора: "Во полях колосья гнутся / с кем бы хоть переругнуться / но куда не поглядишь / всюду только гладь и тишь. Как бы эту тишь нарушить / зелена вина покушать / не поддаться ли на пляс / гармонисту выбить глаз".

Более позднее творчество Стратановского отмечено еще одним аспектом ленинградской поэзии — неожиданной связью с восемнадцатым веком, о чем Кривулин писал в знаменитом стихотворении: "Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то, говорит, заплетаясь, и бредит язык". Строки эти, по мнению К. Кузьминского, написаны в 1973 г.; и тогда же Стратановский пишет своего "Суворова". У Кривулина также есть "Суворов", но не поэма, а стихотворение. Обе вещи остро ироничны. В поэме Стратановского обдуманная стилистическая ересь. С одной стороны, он точно имитирует державинскую лексику — "И россы, воины Христовы, за веру жизнь отдать готовы". С другой — пародия на интонацию лозунгов Маяковского — "В единоверии сила нации. Это принцип империи и принцип администрации". Как видим, и здесь Стратановский использует обереутский прием непоследовательности стихотворного размера. Близость к державинской лексике переходит в пародию:

Я червь, я раб, я бог штыков.
Я знаю, плоть грешна и тленна.

В "Суворове" Кривулина такое же разрушение хрестоматийного

Чейгина, например, которого Стратановский называет в числе наиболее интересных для него поэтов, стихи основаны на зрении, интонации, предпочтениях и отношениях. Но этим, часто прекрасным стихам недостает глубины. По контрасту с Чейгиным, принадлежащим к той же школе, Стратановский — поэт метафизической направленности. Трудami К. Кузьминского опубликовано около сорока стихотворений Стратановского и поэмы; все они принадлежат к раннему периоду (1968-74).

Произведения Стратановского — это редкий пример онтологической направленности в современной поэзии. Даже названия стихотворений свидетельствуют об интересе к метафизике: "Дом мыслителей", "Фантазия на тему первого псалма", "Бог", "Метафизик". На ту же тему — перевод из Рильке, как и собственная поэма Стратановского "Диалог о грехе между старичком Григорием Сковородой и обезьяной Пишек".

Слова "небытие", "бытие" обычны в его стихах. Интуиция бытия там родственна античной традиции и ближе всего к Гераклиту. В свое время М. Гершензон в книге "Мудрость Пушкина" выдвинул ряд интереснейших аргументов в пользу того, что Гераклитов огонь есть центр пушкинской онтологии. Точно такое же переживание бытия, хотя и иной степени интенсивности, свойственно Стратановскому:

Но тяжелое пламя
 Есть в основе вещей
 Есть Играющий нами
 Сорной горсткой людей.

А в стихотворении "Метафизик":

Он раньше думал, что в огне
 Начало всех начал
 И пламя бьется в глубине
 Как жаркий интеграл.

Как видим, с пушкинской традицией поэтов ленинградской школы связывает не только тема Петербурга и это не просто дань классикам и образованности: "Огонь всемирный и живой, все стало ночью и зимой".

Гераклитов огонь в стихах Стратановского — холодный.

Образы холодного огня и пепла связывают эти стихи с поэзией Георгия Иванова. Помимо очевидных лексических параллелей, мы встречаемся с двумя смежными мироощущениями. В словаре позднего Г. Иванова "холод", "лед", "пепел" — не только ключевые слова, но и выражение его эстетики, художественное кредо:

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность поражения,
Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.

Сравним с характерной для Стратановского строфой:

Стану я человеко-пеплом
Мозгом пепла и сердцем пепла,
Потому что тело мое ослепло
В ленинградской ночи...

Можно указать и на другие многочисленные параллели с Г. Ивановым. Например, его излюбленный прием живописи полутонами находит отражение в стихах Стратановского. У Г. Иванова приставка "полу" встречается постоянно. Тот же прием и у ленинградского поэта: "полухмель", "полудух", "полу-девка". Поэзия Г. Иванова, особенно позднего периода, заряжена сильным отрицательным электричеством, но этот прием — неполноты качества — обычно есть положительная попытка изобразить ускользающий, меняющийся мир. У Стратановского "полукачества" всегда негативны.

Как будто ты существовал
В пол-сердца, в пол-лица
Ни бед, ни радостей не знал
Всем телом до конца.

Интерес к Г. Иванову в Ленинграде в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов совпал с возрождением внимания к акмеизму, что привело к возникновению поэтического феномена, который иногда называют неоакмеизмом. В формировании этого направления, точнее, тенденции, сыграли определенную роль и стихи позднего Г. Иванова. Развился интенсивный интерес к поэту, сопровождающий всякое открытие. Читая стихи Стратановского, нетрудно заметить, что знакомство с Г. Ива-

новым не прошло для него бесследно. Не так уж мало даже лежащих на поверхности аналогий, начиная с фразеологических совпадений.

Пустая осень. Страшно жить.
(Стратановский)

Я не любим никем. Пустая осень.
(Г. Иванов)

В обоих случаях "пустая осень" — законченное предложение. Такие совпадения — не обязательно заимствования. Они могут объясняться и другими общностями. Поэтому важнее говорить о совпадениях мировоззренческих, нежели просто лексических. Среди других аналогий отметим у обоих поэтов склонность к сюрреализму. При этом, в соответствии с петербургской поэтикой, характерна предметность слова и конкретность стихотворного строя; на фоне этой петербургской акмеистической ясности сюрреалистические образы удваивают свою силу:

За окном избы земля ночная.
Там пашет Бог колхозные поля.

Сюрреализм Стратановского менее неожиданный, чем у Г. Иванова, но в обоих случаях питается иронией. Стилистический Вавилон, о котором мы упоминали, не является причудой современных поэтов и не есть просто тенденция разговорного русского языка наших дней. И то и другое — отражение изменений в привычной иерархии ценностей. Сменой ценностей можно объяснить и само происхождение сюрреализма в двадцатом веке и живучесть этой тенденции в неконформистской русской литературе.

Вера в античный космос в стихах Стратановского сталкивается с эмпирическим *сором бытия*. "Сор" — едва ли не самое характерное слово в его стихах: "сорная горстка людей", "мусор небытия", "я стал молчанием и сором бытия" и т. д. Отсюда и качества явлений, как они определяются в эпитетах Стратановского: "бездомный закат", "земля паскудная", "мир несчастливый". Все опубликованные недавно в "Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны" стихи Стратанов-

ского написаны о попытке ухода и спасения от экспансии небытия в человеческую жизнь. Небытие — образ широкого диапазона — от абсурдности быта до онтологической загадки. Тема спасения, хотя бы как временной меры, неизменно присутствует в его поэзии.

Заслонить небытие заводом,
Уничтожить сварочной дугой,
И в толкучке с рабочим народом
Пиво пить, говорить о футболе...

Сильнейшая концентрация того же мироощущения выражена в стихотворении "Дом в московском переулке". Это несомненная удача поэта, вещь настолько цельная и выражающая свою эпоху, что она достойна войти в хрестоматию; цитируем стихотворение полностью.

Дом в московском переулке
Старый розовый забор
Кофе, жареные булки
И застольный разговор.
Вот хозяин — сноб, всезнайка
Лысый череп, важный вид.
Вот прелестная хозяйка
Мне с улыбкой говорит,
Что какой-то их приятель
Заграницей побывал
Что знакомый их — писатель
Снова повесть написал.
Что какой-то маг восточный
Моден стал с недавних пор
И что был (известно точно)
Импотентом Киркегор.
Странно в домике уютном,
Для чего мне здесь бывать?
Пить с хозяином надутым,
Апельсином заедать?
Но любезны почему-то
Души комнатные свеч

Воздух милого уюта —
 Серо-розовая вещь.
 И я славлю тмин и булки,
 Ведь за дверью глушь и тьма;
 Кто-то бродит в переулке,
 Метит крестиком дома.

Неоакмеистическая поэтика, столь обычная для ленинградской школы, в этом стихотворении интерпретируется метафизически. Конкретность образов, точность слова, ясность композиции — все признаки акмеистической поэтики используются как заслон от энтропии, от агрессивного небытия.

Наследие обереутов также привлекает Стратановского со специфической точки зрения. Со своими стилистическими причудами, обереуты принадлежат к "скоморошьему цеху". Ведь разнообразие стихотворных размеров в одном и том же стихотворении или, по выражению поэта-ленинградца Ширали, "разболтанный стих" пришло в современную неофициальную поэзию по большей части от обереутов. В ленинградской школе, в частности у Стратановского, предпринята попытка синтеза несовместимых поэтик — символизма, акмеизма и футуризма. У Стратановского можно обнаружить и символистские мотивы сологубовского толка, определяемые словом самого Стратановского — "жизнебоязнь". Однажды Ф. Сологуб признался Блоку, что хотел бы вести дневник, но мысль, что кто-нибудь вдруг прочитает, останавливает его. "О чем же дневник?" — спросил Блок. Ответ Сологуба был: "О самом главном — о страхе перед жизнью". Стихи Стратановского, хотя и полные других литературных аллюзий, при первом знакомстве с ними более всего напомнили мне Сологуба. Такое же соединение книжности, иронии и прекрасной непосредственности.

Так возникает та причудливая эстетическая смесь, какую мы находим у Стратановского. Мироощущение, не чуждое петербургскому символизму, высказывается с акмеистической ясностью и конкретностью. Но рациональных средств не хватает, и для выражения иррационального поэт использует художественные средства, изобретенные обереутами или их предшественниками, футуристами. Ленинградская школа в

целом и стихи Стратановского, в частности, попытка большого синтеза. Главные литературные течения начала века восприняты современными поэтами не на плоском горизонтальном уровне, но как иерархия ценностей: символизм как метафизика стиха, акмеизм как его образный строй и футуризм как возможности словаря. Свобода переходов от реального к сюрреальному, ирония и лексика, основанная на широкой культурной традиции и вместе с тем на просторечии — три инструмента этого синтеза.

В. Крейд

ОПЕЧАТКА

В № 154 "Н. Ж." в воспоминания А. Штейгера "Детство" вкралась крайне неприятная опечатка. На стр. 113 вместо названия города Петербург, как его везде упоминает А. Штейгер в своих воспоминаниях, этот город вдруг превратился в Ленинград.

Мы приносим извинения брату поэта, С. С. Штейгеру, за крайне досадную нам корректорскую ошибку.

Редакция "Н. Ж."

ВОСПОМИНАНИЯ М. В. ДОБУЖИНСКОГО

ТОМ II

1905 ГОД

Революция назревала и совершилось ужасное 9 января. В этот морозный день я видел с Николаевского моста удивительное явление: на западе стояли три равноослепительных солнца.

Этот год был переломом не только в общественной жизни. Определённый перелом и в нашей психологии выразился в *потребности общения*, вдруг появился какой-то "инстинкт общности". Я думаю, каждый, переживший это время, может вспомнить, что ждали политических обновлений, несмотря на цепь разочарований, и действительно, в воздухе веяло "весной".

1905 год был значительным и для меня в моей личной жизни. Я поддался общему волнению — что не могло не сказаться на моем творчестве. Я чувствовал наступление настоящей художественной зрелости и мой "инкубационный период", как художника, уже кончался; для многих вообще этот год был началом того или иного "сдвига". В нашей среде стали появляться новые люди, новые друзья... Революция 1905 г. принесла долгожданную, хоть и относительную свободу печати и личной инициативы. И в связи с цензурными облегчениями, начали образовываться новые передовые издательства, основываться новые журналы (осенью появился дерзкий "Жупел", где сотруд-

Этот отрывок из II-го тома воспоминаний худ. М. В. Добужинского любезно предоставлен нам его сыном, худ. Р. М. Добужинским, за что мы сердечно его благодарим. *Ред.*

ничало много художников "Мира Искусства") и стали возникать новые художественные и литературные группировки. С этого года началась новая эра в русском балете, одним из толчков и инспираций был приезд в Петербург Айседоры Дункан (как раз в день 9 января). Наступило необычное оживление вообще в театре. Возник театр Комиссаржевской и множество других театральных начинаний.

В нашем искусстве на этом тревожном фоне произошло несколько значительных событий. В начале года вышел последний запоздавший номер журнала "Мир Искусства" и этим кончился первый период в нашем сотрудничестве с Дягилевым. Но в этом же году им, как бы в заключение всей его деятельности перед переселением в Париж, была организована (открыта 6-го марта) незабвенная Выставка Исторических портретов. Выставка была в нашей жизни настоящим праздником искусства, и в то же время это был "пир во время чумы": летом 1905 г. вспыхнула революция, и в погромах и пожарах имений погибло множество предметов искусства и семейных реликвий. По счастью некоторые портреты были спасены именно тем, что были отосланы на нашу Историческую выставку в Петербурге.

Закрылась выставка раньше предполагаемого срока, так как Таврический дворец был отдан под Государственную Думу и должен был в спешном порядке перестраиваться.

ЛЕТО — ИЖОРА

То лето мы с семьей провели на даче в чухонской деревне Малая Ижора, недалеко от Ораниенбаума, куда нам посоветовал приехать мой новгородский дядя Миня Софийский (тогда он был капитаном Кронштадтской крепости), который там жил с семьей. Лето было сырое и дождливое, но нам было очень уютно.

Я очень любил своего новгородского друга детства Миню Софийского, добрейшего милого человека, но меня раздражала его неизвестно по какой причине чванливая жена и обилие тёток.

У них гостил и другой мой дядя Николай, оставшийся таким же добродушнейшим чудачком, каким я его помнил в детстве, по-прежнему писавший неумоимо стихи и оды. Над ним постоян-

но издевались и третировали его провинциальные тетки, он же лишь посмеивался себе в бороду и держался невозмутимо, как святой юродивый. Каким, в сущности, и был этот бедный смешной "недотёпа".

По всей России шли тем временем погромы помещичьих усадеб, и я беспокоился за мою маму, но от неё приходили успокоительные вести — в той части Тамбовской губернии, где она жила, было сравнительно тихо. В окрестностях Петербурга тоже было спокойно. Но у всех было тревожное настроение. Ежедневное моё путешествие в Петербург на службу и обратно (из Ораниенбаума я ездил часто на велосипеде) было довольно утомительным, но и развлекали эти поездки с оживленной и нарядной дачной публикой, и прелестная дорога мимо Ораниенбаума и Ижоры. Ижора лежала у самого моря, вдали дымился Кронштадт. Окружающая природа была довольно чахлая, но ее скромность мне была по душе и, думаю, не без пользы.

Мне нравились эти почерневшие от времени деревянные дачки, теснившиеся одна возле другой, с мезонинами и верандами, заросшими диким виноградом, просёлочная дорога с кучами щебня и чахлыми деревьями, грустные сжатые поля с редкими стогами на фоне серого моря.

Для себя я рисовал эти бедные мотивы, стараясь найти в них свою остроту. Я часто посещал Ораниенбаум и с наслаждением рисовал поэтичнейший, всегда пустынный парк с белым спящим дворцом и павильонами. Я часто ездил к Сомову, который жил каждый год в своем неизменном Мартышкине недалеко от Ораниенбаума, и именно тогда с ним очень сдружился. То, что он тогда делал, было, может быть, самое "душистое" из всего его творчества — он мне многое показывал еще в начальной стадии.

В иные дни тем летом я не ездил на дачу и оставался в Петербурге, проводя большинство вечеров с Сюннербергом, с которым всё более дружил. Эти летние вечера в его квартире на Клинском проспекте с настезь открытыми окнами, когда еще стояли белые ночи, с видом на зелёный пустырь с дровяными складами и дальними жёлтыми и красными домами и фабричными трубами — так памятны мне. Я любил эту скучную поэзию пустовавших летом петербургских квартир, без ковров и портьер, спрятанных от моли, с мебелью, покрытой чехлами и с

замазанными мелом окнами, чтобы не выцветали обои, как-то странно гулко делалось в комнатах, которые казались еще больше.

Я давно засматривался на этот пустырь на Клинском проспекте и в то лето задумал портрет Сюннерберга на фоне этого Петербурга, на фоне странного и грустного пейзажа. Портрет я делал урывками, долго, и только через несколько месяцев закончил его. Я работал с особенным волнением и чувством, что получается что-то значительное. Это был большой, раскрашенный акварелью рисунок. Портрет я выставил в 1906 г. на выставке "Мира Искусства". Грабарь посоветовал его назвать "Человек в очках" — название было удачное, заинтриговывающее. Я долго удерживался (следуя первому совету Грабаря) послать его на выставку в Москву, и выставил его лишь в 1908 г., и тогда он был приобретен в Третьяковскую Галерею.

ГРЖЕБИН

Это лето 1905 г. ознаменовалось для меня новыми "чреватými" случаями. В годы между двумя революциями 1905-1917, в необычайном расцвете нашей художественной книги и издательского дела вообще сыграл очень большую роль Зиновий Исаевич Гржебин, ставший впоследствии человеком весьма популярным в литературном мире и сделавшийся очень близким для многих из нас, художников. До этого к литературе он никакого касательства не имел, но был — чего почти никто не знал — художником. Я знаком был с ним еще по Мюнхену, где мы оба учились живописи. Теперь он приехал из Парижа и привёз свои работы, очень чёрные и явно подражающие голландцу Израэльсу.

Гржебин появился у нас в Петербурге за год до революции. Кроме меня он совершенно никого не знал и я очень скоро свёл его со всем нашим кругом художников. Как живописец он, однако, у нас "не прошел" (да и он сам по-видимому уже разочаровался в этом призвании), но всем был очень симпатичен, и все, даже самые необщественные и скептические из нашей среды, стали поддаваться его горячим речам. Он очень забавлял нас своим энтузиазмом и необычайной своей фигурой: он зачёсывал

на лоб курчавую чёлку, которая при его огромном носе, круглых очках (таких тогда еще никто кроме него не носил) и длинных зубах делала его особенно картинным. При этом большая голова сидела на совершенно квадратных плечах, отчего он казался еще короче ростом.

Потом он куда-то исчез и появился в начале 1905 года, уже женатым на самой русской из русских, Марье Константиновне Дориомедовой. Теперь он уже больше не говорил о своих картинах и вообще с тех пор совершенно бросил живопись. Бенуа, падкий на оригинальных и забавных людей, его областал, плененный его необычайной фигурой. Он стал, часто у всех нас бывая, толковать о необходимости начать издавать наш русский "Симплиссимус", и тогда уже мы стали убеждаться в его паразитической энергии. Он же считал, что мы кабинетные люди, что мы искусственная оранжерея, что мы преступно отворачиваемся от жизни и т. д. и в этих предреволюционных настроениях, которые многих уже захватили, он попадал в точку. Настолько попадал, что даже Сомов, человек в высшей степени необщественный, начинал не только его внимательно слушать, но и сочувствовать.

Т. к. Гржебин был всем очень симпатичен, и хотя он ничем еще себя не проявил, ему поверили, скоро убедившись в его организационных способностях. Он очень скоро вошел и в среду самых передовых в то время писателей. Последние, как и художники, относились к нему лично и к его энтузиазму с большой симпатией. Горький же как-то сразу сблизился с ним, полюбил его и в шутку называл: "мое дорогое чудовище".

Летом 1905 года Гржебин приступил к делу.

"ЖУПЕЛ" И М. ГОРЬКИЙ

Однажды, сидя на даче, я был очень удивлён вдруг приехавшим на извозчике в эту глушь Гржебиным. Он уже успел побывать у многих моих друзей и из тех, кто жил на дачах под Петербургом, и кто оставался в городе. Он ошеломил меня предложением, на которое, по его словам, согласились и другие. Он звал поехать в такой-то день к Горькому в Куоккалу, ибо-де Горький чрезвычайно сочувствует его идее нового журнала,

готов в нем принять самое близкое участие, зовёт к себе, хочет познакомиться с художниками и пригласил уже на общее свидание некоторых писателей, и что, кроме того, обещали к нему приехать и финляндские художники!

Поехать мне было, конечно, интересно, чтобы встретиться с новыми для всех нас людьми, и на приглашение Гржебина действительно откликнулись все, кого он приглашал. Он сумел убедить даже такого кропотливого во всех смыслах и скептического человека, как Сомов. Из "министерств" поехали и наши Нурок и Нувель. Присоединились Лансере, Билибин, мой приятель Сюннерберг и специально приехавший из Москвы Грабарь. (Бенуа был тогда в Париже). Горький жил в большой "барской" даче. Я присматривался к этому человеку и тогда сделал набросок его профиля, чтобы найти хоть какую-нибудь "примиряющую" черту в его скуластом и усатом солдатском лице. В профиль его вздёрнутый нос казался тонким и даже точно с горбинкой. Видно, он был очень чистоплотен и руки, к удивлению, были не грубые и красивые.

Там был Леонид Андреев с худенькой и маленькой своей женой (это была его первая жена, скоро умершая). Он был очень красив и молчалив. Был Скиталец, ходивший явно "под Горького" в блузе, с длинными волосами, но в пенснэ, нарушавшем весь "горьковский" стиль. Таких горьковских сателлитов называли тогда "подмаксимками", среди которых были В. Азов, Галич и Осип Дымов. Тут "царила" хозяйкой М. Ф. Андреева, бывшая в расцвете молодости, черноглазая, чрезвычайно со всеми любезная, нарядная, и её сочетание с Горьким меня поразило, казалось малопонятным и даже каким-то парадоксом.

Было приятно воочию увидеть художников финнов, искусство которых мне всегда очень нравилось. Отозвались и приехали: "сам" Галлен, Иернфельд, Риссанен и архитектор Сааринен.

У Галлена было мужественное лицо, толстый нос, борода и подстриженные усы — он всё время чокался с Горьким, который ни слова не знал ни на одном иностранном языке и только похлопывал его по спине и просил окружающих помочь ему объясниться в любви. Больше всего тогда сошелся с нами добродушнейший, похожий на бульдога, Риссанен, особенно с Били-

биним, с которым на почве вина они сразу же выпили на брудершафт. Эти же финны через 12 лет, в самом начале революции 1917 г., снова приехали к нам в Петербург и были нашими гостями.

Горький всем нам понравился и все, кто встречал его в те времена, знали его застенчивую улыбку и настоящий шарм. Таким приветливым, весёлым и внимательным я его совсем себе не представлял и был даже озадачен, когда мы все перезнакомились. Помню, Горький взял слово (он говорил на "о"), его речь сводилась к тому, что пора художникам выйти из заперти на вольный воздух и черпать из жизни. Художник видит зорче, чем обыкновенные люди, что наша общая задача подмечать не одни красоты, но и уродства жизни, и что смешное и пошрое есть повсюду в жизни, а в политике — в каждой партии, даже самой передовой... Художник свободен это изображать, это большое дело и т. д.

Гржебин в заключение свёл разговоры на объединение художников и писателей в журнале, который, как "Симплициссимус", был бы передовым художественно, и бичевал бы направо и налево. Горький тут же обещал и свое ближайшее сотрудничество в будущем журнале. У Горького мы провели весь день. Гржебин мог торжествовать: это был первый, и такой удачный, его дебют организатора.

Обратное возвращение было, увы, испорчено. Ездивший с нами приятель Гржебина, шт. кап. Троянский (художник и будущий сотрудник журнала) и Билибин у Горького незаметно напились и дружбе изменили — всю дорогу до Петербурга донимали бедного Гржебина шутками, от которых тот не знал куда деваться, нам тоже было неловко — оба вдруг стали страшными юдофобами. Наутро было большое объяснение, мне и Лансере пришлось быть миротворцами и успокаивать страшно обидевшегося Гржебина, который не удовлетворялся извинениями искренно раскаивавшихся приятелей, но почему-то требовал непременно третейского суда. Впрочем, до этого дело не дошло — помирились.

Всю осень 1905 г. Гржебин занимался хлопотами по изданию будущего журнала, доставал с помощью, вероятно, Горького людей, которые могли бы дать на это деньги, и во всех

нас поддерживал интерес. Всегда его речи — он разгуливал по комнате, прижимая руки к груди, — начинались: "Наше молодое дело..." Деньги предоставил и типографию обещал дать издатель "Сына Отечества" Юрицын (он был курчавый господин с высоким белым лбом и большим, точно приставленным, носом). У него на Стремянной улице мы, будущие сотрудники, собирались за чаем. Здесь бывали Билибин, Лансере, даже, кажется, Сомов и Нувель, Сюннерберг и будущий член Первой Думы Иван Жилкин (широколицый, рябой, с четырехугольным мясистым носом). В то время, сейчас же после манифеста, опередив нас, появился "Пулемёт" Шебуева, журнал грубый и пошлый, мы же хотели наш русский "Симплиссимус" сделать понастоящему художественным. Название для будущего журнала долго не могли придумать. Одно время почему-то Гржебин предлагал назвать его "Понедельник" ("Символ: после праздника революции теперь начинаются будни"). Билибин, который среди нас был известен как стихотворец, написал оду, начинавшуюся так:

Зиновий Гржебин не бездельник,
Он созидает "Понедельник"!

Чтобы придумать название журнала, мы специально несколько раз собирались, чаще всего у меня, и иногда умирали со смеха, придумывая разные глупости.

Название "Жупел", слово, пугавшее до смерти старуху Островского, предложил Сомов, и это сразу же с восторгом было принято, как действительно самое смешное и неожиданное.

Я был увлечен журналом и сделал для него рисунки — "Октябрьская Идиллия", "Как наш Храбрый Генерал нашу крепость покорял", "Умиротворение Москвы". Они были напечатаны в первых двух номерах, но "Новый Год" оказался для нас и последним — журнал был закрыт. Относительно этих революционных карикатур в "Жупеле", мне пришлось впоследствии узнать по "Советской Энциклопедии", что "в этих работах дальше мелкобуржуазной критики царизма художник Добужинский не идет..."

Во время короткой жизни "Жупела" были частые встречи с Горьким. Но его сотрудничество свелось лишь к одной политической сказочке. Ко мне он всегда относился с большим вниманием и какой-то теплотой, что я почему-то мало ценил и навстречу ему не шел и впоследствии. Я почему-то не мог побороть в себе какой-то внутренней захлопнутости и необъяснимого чувства отчужденности, что-то мешало сближению. Ему очень нравилось из моих рисунков в "Жупеле" "Умиротворение" и он тогда намекал, чтобы я ему этот рисунок подарил, но я этого не сделал, потому что мне самому это "Умиротворение" не нравилось. Тема была не моя, придумал Гржебин: — Кремль в виде острова среди моря крови и в небе кровавая радуга. Это была в сущности "кариатура на идею", и мне было конфузно, что я перешел чувство меры и вкуса. Другие же "нонсенса" не замечали. "Октябрьская Идиллия" была моей собственной идеей. Был изображен угол дома с кровавой кляксой на стене под наклеенным манифестом (что это манифест, надо было догадываться) и на тротуаре пустой улицы лежат одинокая мирная калоша и потерянная кукла¹.

ГОЛОС ХУДОЖНИКА

После октябрьского манифеста все поддались общему повышенному настроению, мне казалось, что нельзя и художникам оставаться безучастными, и я написал большое "воззвание", чтобы поместить его в газетах. Над ним я долго сидел (писал на своей службе!) и послал в Париж Бенуа. Он заинтересовался, кое-что изменил и дополнил; Лансере и Сомов также подписались. Потом, кажется, присоединился и Рерих. Вот это воззвание, напечатанное в "Речи" 11 ноября 1905 г.:

1. В марте 1910 г. этот рисунок с небольшими изменениями появился в Мюнхенском "Симплициссимусе" за подписью Т. Т. Гейне. Сообщившие об этом друзья советовали художнику возбудить процесс о плагиате, но он отказался из уважения к художественному прошлому: это о кумира его студенческих лет. К сожалению, в России скоро появилась бытующая и поныне противоположная версия, приписывающая М. Добужинскому заимствование рисунка у Т. Т. Гейне. - *Прим. ред.*

”В начале великого обновления страны необходимо высказаться и художникам. При строительстве новой жизни они должны участвовать в общем деле не только как граждане: они должны и как художники внести в жизнь свою лепту.

Перед художниками задача: украсить эту новую, неведомую жизнь. Искусство не умрёт никогда, но естественен страх за ближайшее время, боязнь, что красота будет устранена и забыта в великой волне неотложных утилитарных задач. Мы призываем к объединению всех, кому дорого искусство; надо открыто высказаться и выяснить путь, куда направить усилия, чтобы красота и искусство слились с жизнью. Задача огромная, сложная и дело не одного поколения.

В длинном ряду необходимых первых мер, конечно, раньше всего должна быть совершенно реформирована Академия Художеств. Она должна стать объединяющим центром, собранием действительно любящих искусство лиц, свежих и образованных людей. Заботы Академии (до сих пор лишь на бумаге!) должны направиться на повсеместное насаждение художественного образования, совершенно отсутствующего в России, на улучшение и расширение художественно-технического обучения и на охрану памятников старины, так варварски уничтожаемых и искажаемых повсюду. Академия, как школа, в настоящее время только калечит людей, её необходимо реформировать”.

Забавно, что впоследствии, в наступивший период крайнего формализма, ”беспредметности” и футуризма, нас стали ”упрекать” в литературности и даже по иронии судьбы сблизить с передвижниками, с которыми наше поколение именно и было в самой непримиримой вражде!

А еще позже в глазах советской критики мы, тогдашний ”Мир Искусства”, как и поэты, представлялись даже в историческом аспекте, как самое одиозное явление: мы были эстеты, символисты, мистики и крайние индивидуалисты — вдобавок, многие были, как принято выражаться, какие-то ”деклассированные дворяне”.

Но зачеркнуть то, что было целой эпохой нашего искусства, по-видимому, всё-таки не удастся, — как не удалось отменить и замолчать многие факты и явления в истории государства Российского.

Среди нас, художников, иные примыкали к литературе тем, что сами писали об искусстве. Одни ограничивались критическими статьями на художественные темы и были постоянными сотрудниками еще Дягилевского журнала, другие же, как Александр Бенуа и Грабарь, не только стали замечательными историками искусства, но и блестящими публицистами. Некоторые же были и настоящими литераторами и поэтами (Рерих, Максимилиан Волошин, К. Коровин, Борис Григорьев, Библин, Анненков и др.).

Также иногда поэтов и писателей тянула к себе живопись и рисование — явление, известное в русской литературе: Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Шевченко. Занимался живописью и Леонид Андреев. А Ремизов был замечательным шрифтистом и полиграфом. Но это были исключения. Обратное — поэты и писатели в художнике явление более частое.

Если наше искусство и не играло той вдохновляющей роли для наших поэтов, как поэзия и литература — для нас, интерес к нашему творчеству в литературе существовал очень большой.*

Поэты наши писали о живописи неоднократно: Блок, М. Волошин, Кузмин, Вячесл. Иванов и иногда, как у последнего, в статье "О Чурленисе и проблеме синтеза искусства", высказывались подлинные глубокие прозрения.

Всё-таки (это не умаляет значения наших общений) надо сказать, что при всем стремлении поэта проникнуть в сущность нашего искусства, если сам он не в одинаковой степени художник — остается всегда нечто, почти фатально ускользающее от него. Порой чрезвычайно тонкие поэтические и философские объяснения творчества художника самому художнику бывают мало убедительны и довольно безразличны. Литератор ищет в живописи прежде всего мысли и идеи (что часто у художника возникает между прочим и чем менее сознательно, тем ценнее) и почти всегда профессиональная суть произведения — нам самим наиболее важная, форма и техника, остаются без должного отражения.

*Насколько живопись вдохновляла поэзию — вопрос, кажется, очень мало вообще выяснявшийся.

"МИР ИСКУССТВА"

Когда я сблизился с кругом "Мира Искусства", журналу шёл 4-ый год и он продолжал быть притягательным центром, где объединялось всё новое в нашем искусстве. За это время, конечно, произошли те или иные изменения во взглядах, были разочарования и расхождения внутри "Мира Искусства". А громкая программа уже не вмещалась в одном журнале и в 1904 году возник журнал "Новый Путь", ставший органом чисто литературным и философским, куда перешла часть сотрудников. Это было первое ответвление "Мира Искусства". Но личные связи оставались, и в редакции происходили постоянные встречи художников и писателей и их общих друзей, приезжали гости и из Москвы.

Я часто бывал у Дягилева в 1903-04 гг. за последние два года существования журнала. Редакционные "вторники" бывали очень многолюдны и происходили в уютной столовой в квартире Дягилева на Фонтанке 11. (Об общей атмосфере собраний, где большинство было связано давней дружбой, я уже рассказывал в главе о "Круге "Мира Искусства")*. Атмосфера этих собраний всегда была самой, как говорится, "непринужденной", даже домашней и часто очень весёлой, но беседы нередко касались и весьма серьёзных тем и происходили горячие диспуты. Я застал как раз время большого увлечения религиозными и философскими вопросами, которыми особенно горел Дм. В. Философов (если мог "гореть" этот холодный человек). Он с самого начала журнала был ближайшим помощником Дягилева, а теперь основал Религиозно-Философские собрания, которые стали очень популярны в Петербурге, и вместе с Мережковским начал издавать "Новый Путь". (Его кто-то из наших шутников, Нурок или Яремич, окрестил тогда Религиозно-Философовым.)

Разумеется тогда мне, новому в этом обществе человеку, было чрезвычайно интересно следить за возникавшими спорами и из этих собраний я выносил всегда очень много для меня нового и "питательного" для моего духовного развития, хотя, по

*См. I том Воспоминаний.

молодости лет и тогда большой застенчивости, я был лишь молчаливым слушателем, впрочем, и внимательным наблюдателем.

Раза два у Дягилева я видел В. В. Розанова, которым я в то время зачитывался. Его необыкновенно тонкие и проникновенные мысли часто обращались к самым интимным и тёмным сексуальным темам, которые он чрезвычайно умно и соблазнительно связывал с вопросами религии. Он казался вообще каким-то сфинксом, то почти кошунствовал, то говорил, как глубоко верующий человек, иногда выражал в своих книгах мысли самые свободолобивые, больше же печатался в ретроградном "Новом Времени".

У него, конечно, было какое-то наследие от Достоевского и не было странно узнать, что в своей молодости он был женат на самой "Грушеньке" Достоевского — Апполинаруи Сусловой...

Я помню его лукавые глаза, глядящие поверх очков, рыжеватые вихры на макушке и тихий голос. Было что-то семинарское в его скуластом лице и жиденькой бородке.

Я замечал, что при появлении на собраниях у Дягилева Мережковского — всегда наступал холодок. Чувствовалось, что в этом кругу он не был "своим", как-то выпадал из общего тона, и действительно, и тогда, и позже он всегда держался обособленно и даже высокомерно.

В "Мире Искусства" печаталось увлекательное исследование Мережковского о "Льве Толстом и Достоевском" и "Христос и Антихрист". Мне лично, при моем поклонении Достоевскому, статьи эти были очень интересны. Но блестящие антитезы Мережковского Человеко-Бог, Богочеловек, Тайновидец плоти, Ясновидение Духа и проч. и тогда крайне утомляли, а теперь, я думаю, было бы невозможно увлечься, как раньше!

Из современных поэтов, кроме Мережковского, я встречал в "Мире Искусства" только одну Зинаиду Гиппиус (стихи которой меня чрезвычайно пленили) и то мельком; помню тогдашнюю ее тонкую молодую фигуру и ее таинственную змеиную улыбку, и мне чудилось: "вновь я такая добрая, как ласковая кобра я".

В журнале "Мир Искусства" редко печатались стихи: лишь дважды (в 1901 и в 1904 гг.) два номера были посвящены современной русской поэзии. Стихи Бальмонта, Брюсова, Сологуба,

Мережковского и Гиппиус были украшены рисунками, сделанными на темы этих стихов Бакстом, Бенуа и Лансере — это был почти первый случай отзвука художников на современную поэзию символистов. Вообще же стихи новых поэтов появлялись и вначале "просачивались" в толстые журналы, еженедельники или в книжки "Знание", но параллельно уже с начала 900 гг. в Москве стали появляться одно за другим новые книжные издательства Саблина, "Гриф" и "Скорпион", где уже печаталась исключительно новая поэзия. Книги эти издавались вначале хоть и изящно, но еще без всякого участия художников.

Если говорить о всех, кто писал в "Мире Искусства" и с кем у меня было личное общение, пришлось бы перечислить всех сотрудников журнала. Среди них большинство не было профессиональными писателями. По общим вопросам искусства и по специальным писали и художники — Рерих, Грабарь, Билибин, кн. Шервацидзе и больше всех — Александр Бенуа.

Его личность настолько крупна и замечательна не только в истории русского искусства наших лет, но и вообще на фоне всей нашей культуры, что он стоит в стороне от всяких категорий: Бенуа, будучи чрезвычайно тонким и разнообразным художником, — одновременно не менее значительный писатель по вопросам искусства, истории его и блестящий художественный критик. И более того: Бенуа был не только центром нашего круга художников, но и духовным вождем целого поколения, и о нем можно сказать то же, что когда-то сказано было про Ломоносова: — он был нашим "Университетом".

При его глубокой европейской образованности и универсальности дарований и при широкой терпимости — мне лично выпало большое счастье пользоваться его душевной дружбой и я ему чрезвычайно многим обязан на моем художественном пути.

Грабарь, который был одним из первых и верных сотрудников Дягилева, и которого я знал еще в пору моего учения в Мюнхене, в Петербурге жил недолго, и у Дягилева (с ним Грабарь именно меня и познакомил) — он появлялся мало. Он, как и Бенуа, соединял в себе и художника, и художественного критика, и историка искусства. Вначале он был настоящим моим ментором в искусстве и в дальнейшем его советы и суждения, так же как и влияние и дружба Бенуа, были мне всегда неизменно

дороги. Но говорить о бесконечных встречах с ним и с Бенуа, хотя бы как с историками и писателями по вопросам искусства, могло бы быть темой совершенно самостоятельной.

Местами наших личных встреч с писателями и поэтами были сменявшиеся один за другим в течение двух десятилетий разные центры и "очаги" нашей художественной жизни — вначале редакция "Мира Искусства", второе — "вторники" Дягилева на Фонтанке 11 и наши домашние собрания, особенно дом А. Н. Бенуа, у которого собирался, можно сказать, весь передовой художественный Петербург.

С 1905 же года, когда проснулись "общественные инстинкты", таких мест общения стало образовываться всё больше и больше. Большую роль сыграло издательство "Шиповник" и среды на "Башне" у Вяч. Иванова, а позже — редакция "Аполлона" и другие места (как "Бродячая собака", ресторан "Вена", облюбованный многими литераторами кабачок Тапи и Lagava), либо еще более участвовавшие и поочередные личные, домашние встречи.

Мои встречи с писателями и поэтами не были случайными. Круг художников "Мира Искусства", к которому я был привлечен, не замыкался в своих "профессиональных" интересах, наоборот, — особенностью его была широкая универсальность и разносторонность, и своих единомышленников мы находили и в поэзии, и в литературе, и в музыке. Журнал Дягилева и Бенуа "Мир Искусства" с самого начала поставил целью объединение всего передового, что рождалось во всех областях искусства. Таким образом, вместе с утверждением индивидуального (единственный "лозунг" журнала, предложившего полную свободу творчества) и в попытке сближения между различными видами творчества, уже в ту пору сказывалось стремление к некоему синтезу. В те годы — первые годы века, — мы — небольшая группа художников круга "Мира Искусства" — были как маленький остров среди общей отсталости и равнодушия, как и современные нам поэты.

В воздухе носились идеи, общие нам и поэтам-символистам, но многое еще было лишь предчувствиями. Общим был и многочисленный Пантеон наших богов в искусстве. Более близкими в ту раннюю эпоху творчеству художников нашего круга

были: Ибсен, Метерлинк, Оскар Уайльд и до известной степени Ницше. В нашем необыкновенно обширном Пантеоне уживались и Диккенс, и Андерсен, Гофман и Эдгар По, Верлен и Бодлэр и Достоевский... Иные из этих имен были настоящими "властителями дум" у наших первых символистов. Таким образом, у поэтов и художников было много общих богов — это нас и сближало.

М. В. Добужинский

ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С М. А. АЛДАНОВЫМ*

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА

Воскресенье 10 июня 51 г.

Рано утром, в постели, после бессонной ночи от удушья.

Отвечаю на Ваше письмо от 6 июня, дорогой друг. Письмо Ваше, вчерашнее, с вырезкой получено (равно как и письмо от 23-го).

Возвращаться в "Нов. Ж.", разумеется, и не думаю, раз Вы не возвращаетесь. Дивлюсь, что "Нов. Журналу" дается субсидия — ведь М[ария С[амойловна] чрезвычайно богатая женщина. Приложение к Н[овому] Р[усскому] С[лову]? Плохо представляю его себе. Какое же оно будет? Ежемесячное? Какого размера? И главным образом для Ди-Пи? Равно как и издательство? Чехов, хохоча, рассказывал мне, что в первые свои годы в Москве он хотел написать и издать "Руководство к искусственному разведению ежей" — мне кажется, что это поощрение графоманов Ди-Пи к писанию нечто подобного. Но все равно — от участия в приложении к Н[овому] Р[усскому] С[лову] не

*См. "Н. Ж.", № 150, 152-154.

отказываюсь, — кое-что, кое-какие мелочи надеюсь писать, если будут силы. Рад буду, если издадут что-нибудь мое, подожду связываться с Гукасовым (так по крайней мере сейчас думаю). А про Вас и говорить нечего — ведь у Вас есть совсем новая книга, если не ошибаюсь. Пенсия мне чрезвычайно успокоила бы меня — дай-то Бог! А в Нище неужели Вы будете только к осени? То, что я прислал в каком-то письме к Вам о войне, нужно было поставить в кавычки, конечно, — ведь это то, что все говорят у нас, а не от своего лица написал я это пошлое.

У меня *артерит*, но чулка я не буду носить, буду греть ногу электрическим одеялом, которое прислал мне доктор Григорий Исаакович Альтшулер из Нью-Йорка, сын моего покойного друга, — у нас с ним произошла небольшая переписка, он прислал мне свою книгу "Царь и доктор", я прочел ее с большим интересом и написал ему об этом и о своей болезни, спрашивая, нет ли в Америке чего-нибудь нового против артерита. А вчера пришел к нам Михайлов, принес развратную книжку Набокова с царской короной на обложке над его фамилией, в которой есть дикая брехня про меня — будто я заташил его в какой-то ресторан, чтобы поговорить с ним "по душам" — очень на меня это похоже! Шут гороховый, которым Вы меня когда-то пугали, что он забил меня и что я ему ужасно завидую. Вы эту книжку, конечно, видели? Там есть и про Вас, — что Вы "мудрый и очаровательный" и ни слова о Вас как о писателе. Есть и дурацкое про Поплавского — он, видите ли, был среди прочих парижских поэтов как "скрипка среди балалаек"¹.

Будьте здоровы, дорогой, целуем Вас и Татьяну Марковну.
Ваш Ив. Б.

P. S. Вера описалась, сказав, что у меня "антерит" — вместо "р" поставила "н".

1. "Another independent writer was Bunin. I had always preferred his little-known verse to his celebrated prose (their inter-relation, within the frame of his work, recalls Hardy's case). At the time I found him tremendously perturbed by the personal problem of aging. The first thing he said to me was to remark with satisfaction that his posture was better than mine, despite his being some thirty years older than I. He was basking in the Nobel prize he had just received and invited me to some kind of expensive and fashionable eating place in Paris for a heart-to-heart talk... I met many

other émigré Russian authors. I did not meet Poplavski who died young, a far violin among near balalaikas.. I met wise, prim, charming Aldanov...". V. Nabokov, Speak, Memory. London. 1951, pp. 213, 214: ("Другим независимым писателем был Бунин. Я всегда предпочитал его малоизвестную поэзию его знаменитой прозе (их взаимоотношения в рамках его творчества заставляют вспомнить Харди). Я нашел, что он слишком переживает проблему своего собственного старения. Первое, что он мне сообщил, с очевидным удовлетворением, что его фигура куда лучше моей, хотя он и старше лет на тридцать. Он нежился в лучах славы Нобелевской премии, которую как раз только что получил и пригласил меня в дорогой и модный парижский ресторан для душевного разговора. Я встречался со многими русскими писателями-эмигрантами. Я не был знаком с Поплавским, который умер молодым — далекая скрипка среди брэнчащих над ухом балалаек. Я знал умного, учтвого, очаровательного Алданова...").

[Алданов Бунину]

14 июня 1951 г.

[...] Я ему [Карповичу] сказал, что это издательство должно издать сразу не менее двух Ваших книг: 1) "Жизнь Арсеньева", 2) том новых рассказов, а желательно еще том избранных Ваших сочинений. Он, разумеется, обещал всячески это поддерживать [...]

Ночь с 29 на 30 июня 1951 г.

Дорогие Алдановы, давно нет вестей от Вас — и вот с великим трудом (ибо не имею ни белой дубины, ни мохнатого козла, ни черного барана) добрался я при помощи простого костыля до письменного стола, чтобы спросить Вас, назначили ли Вы точный день Вашего отплытия из Америки (где Вы, верно, уже погибаете от мокрой жары) к нам, в Европу, и заедете ли Вы по пути в Нищу, в Париж? Так хотелось бы видеть Вас!

Надеюсь получить Вашу ответную записочку, шлю вместе с Верой наш сердечный поклон Вам и на этом и кончаю, ибо отравлен частым употреблением "белого маку" и начинаю бояться за свои умственные способности, думаю, что глупею, и могу написать что-нибудь лишнее.

Ваш Ив. Б.

P. S. Где Б. И. Николаевский? М. б., уехал куда-нибудь отдыхать? Передайте ему, пожалуйста, что только на-днях я вспом-

нил свое великое горе: года за 2 до войны с Гитлером я отправил в Прагу, в Государств[енный] Архив, большое количество всяких документов (из наиболее интересных) моего "архива" — и все это слопала Москва. Так что теперь мой "архив" весьма беден.

Надеюсь в начале осени послать Б[орису] И[ванови]чу [Николаевскому] эту бедность.

Пятница 6 июля 1951 г.

Дорогой, милый Марк Александрович, я, конечно, тогда же ответил Вам краткой записочкой, — которая, значит, пропала, — что я и не думаю без Вас возвращаться в "Нов. Ж.", да и вообще не радость возвратиться туда, на этот "Мыс бурь". Сейчас спешу ответить на Ваше письмо еще и потому, чтобы сказать Вам мою бесконечную благодарность за все Ваши заботы обо мне (и радость, что Вы едете через Париж). То, что Вы сообщаете об издании моих 3 книг и о плате за них, большое, конечно, счастье для меня (которым, повторяю, я обязан *Вам*). *Горячо прошу Вас соглашаться для меня во всем "торговаться",* думаю, мне нечего? — и так все слава Богу?). Я подпишу всякое условие, которое Вы за меня примете.

Никому не скажу ни слова о том, что Вы просите хранить втайне.

25 долларов (для Зурова и для меня), конечно, можно перевести вместе.

Гутнеру книгу пошлю на-днях. Очень рад, что будут изданы и Ваши книги!

Простите, что все так гадко пишу — пишу в постели и спешу нынче же послать Вам этот авион. Пожалуйста, сообщите *в двух словах*, что Вы его получили, *немедля*, если можно¹.

От всей души обнимаю Вас и целую руку дорогой Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Бунин

1. [К подчеркнутым словам приписано Буниным:] NB.

[Алданов Бунину]

16 июля 1951 г.

[...] Сегодня я имел второе и последнее свидание с новым директором Фордовского издательства. Теперь он разрешил мне сообщить *Вам* его имя. Это Николай Романович Вреден... Он подтвердил, что принимает все три Ваши книги и будет выпускать по одной в год. Условия — лучше желать нельзя. Платить будет 1500 долларов за книгу¹ в три приема: 500 при заключении условия, 500 в момент выхода книги, 500 через три месяца после ее выхода...

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), стр. 132. В этой публикации вместо "Фордовского" — "Чеховское" издательство.

1 авг[уста] 1951 г.

Дорогой Марк Александрович, шлю Вам подлинник письма Веры Александровны (копию оставил себе) — письма совершенно идиотского, предлагающего мне издание какого-то жалкого сборничка, начинающегося "Поздним Часом", который я очень ценю, но затем состоящего из душеспасительных *кусочков*, взятых только из моей книги "Божье древо"¹. Это все равно, что взять из Пушкина "Румяной зарею покрылся восток" и прочее в том же роде с прибавкой "Послания к Декабристам". Я на это, конечно, никак не согласен. Сообщить ли ей то, что предположительно наметили Вы с Вреденом издать из моих произведений? Или не следует? Очевидно, все мои надежды на издание моих книг и на средства существования пошли прахом. Ну что ж делать? Фордовское издательство попало, значит, в лапы меньшевиков, будет партийное — ну и чорт с ним! Жаль дела ужасно, — ведь *что* бы это могло быть! Да еще при таких деньгах! Но, повторяю, теперь уж ничего не поделаешь. Вреден, очевидно, ровно ничего не смыслит в таких делах. А я какнибуду буду продолжать околевать, спасаясь подачками из Нью-Йорка.

Целую Вас и Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Бунин

1. 29 июля 1951 г. Вера Александрова написала Бунину: "[...] Здесь, в Америке, задумана организация обширного издательства книг на русском языке. В ближайшие дни вопрос будет решен. Более подробно об этом начинании Вам расскажет М. А. Алданов. Одним из руководителей этого дела является Н. Р. Вреден. В числе первых авторов, книги которых предполагается издать, намечены Вы. Н. Р. Вреден и просил меня запросить Вас о Вашем согласии. Пока предполагается издать сборник Ваших новейших рассказов, объемом напоминающий Парижское издание "Темных аллей". К Вам просьба: сообщить, какие из Ваших вещей, опубликованных или неопубликованных, Вы хотели бы включить в этот сборник и под каким заглавием?"

Лично, — если Вы позволите мне высказать мое мнение, — мне кажется, что очень многие рассказы из Парижского издания "Темных аллей" должны попасть в сборник и первым рассказом, может быть, поместить "Поздний Час", используя его заглавие и для сборника. В сборник хорошо было бы включить и некоторые вещи из "Божьего Древа", как например, "Петухи", "Бродяга", "Подснежник", "Марья", "Первый класс". Хотелось бы взять и два рассказа из "Возрождения": "Полуденный жар" и "Ночлег". Было бы совсем хорошо, если бы нашлись у Вас и неопубликованные рассказы [...]"

[Алданов Бунину]

2 августа 1951 г.

Дорогой Иван Алексеевич,

Только что получил Ваше письмо. Меня тоже кое-что удивляет в письме Веры Александровой. Но я не понимаю, почему Вас оно так *взволновало* и почему Вы из него делаете вывод, будто все "пошло прахом"! Меня удивило то, что она пишет, что издательство только "задумано" и что вопрос будет решен "в ближайшие дни". Кроме того, не понимаю ее слов, будто Вреден будет "одним из руководителей"! Он мне говорил, что он будет полным и единственным руководителем, и едва ли за 10 дней это могло измениться (что было бы мне чрезвычайно неприятно). Скажу Вам правду, меня ее письмо прежде всего обрадовало тем, что, очевидно, Вреден взял *ее* себе в помощницы. Он мог взять ведь и людей, *гораздо* менее нам приятных. Она очень милая и хорошая женщина. Поверьте мне, издательство никак не "попало в лапы меньшевиков", — помилуйте, Вреден человек умеренных взглядов и Александрову, наверное, взял *несмотря на то, что* она меньшевичка, а не *потому, что* она меньше-

вичка. Добавлю, что почти все меньшевики Вас чрезвычайно почитают и любят, от Николаевского до Абрамовича (который Вас предлагал даже недавно в эмигрантское правительство) [...]

9 авг[уста] 1951 г.

Милые друзья,

Как Вас Бог милует? У нас собачий холод и потопный ливень. По этой причине света Божьего не вижу от удущья.

Был у нас, доллогу сидел два раза Б. И. Николаевский (второй раз обедал и кушал так, как не следует толстякам). Сообщил, что "Новому Р[усскому] Слову" в деньгах на издание литер[атурного] приложения отказали. О Вредене — что он никогда никому не отвечает ни на письма ни на телефоны. Я все-таки послал с ним "Жизнь Арс[еньева]", много, много потрудившись над ней и соединив ее с "Ликой". Нынче Б[орис] И[ванович] улетел в Нью-Йорк.

Александровой я написал (уже дней 5 т. н.) в заказном авионе все, что Вы, Марк Александрович, советовали (и, конечно, очень ласково).

Все это (говоря между нами) — "на всякий случай": уже очень мало верю, что попаду в это фордовское издательство и довольно невесел, мягко выражаясь.

За всем тем целую Вас,

Ваш Ив. Б.

P. S. Вышли мои "Воспоминания" в американском издании (наиболее полное издание, не то, что французское и лондонское). "Аргус" из Н[ового] Р[усского] С[лова] прислал мне несколько рецензий на него из главных нью-йоркских газет: хвалят, но радости мало — деньги за него давно прожиты.

Я только что прочел — впервые — "Мои университеты" Горького. Это нечто совершенно чудовищное — не преувеличиваю! — по лживости, хвастовству и по такой гадкой похабности, которой нет равной во всей русской литературе!

Суббота

[прписано Алдановым:

11.VIII.51]

Дорогой Марк Александрович, вот письмо Карповича, нынче мною полученное. Я сообщил ему, что мы с Вами возвращаемся в "Нов. Ж.", но что подробнее напишете ему *Вы*, ибо я едва жив от астмы (так оно и было в тот день, да и теперь тоже).

Марк Александрович, дорогой, прошу Вас — помните, пожалуйста, что ведь я вообще мало вменяем стал — каждый день да и ночь каждую отравляюсь всякими таблетками, *не могу* не отравляться — и, конечно, порой и чепуху могу написать, нелепую.

Целую Вас и дорогую Татьяну Марковну.

Ваш Ив: Б.

Копия

11 августа, 1951

Глубокоуважаемый Иван Алексеевич,

Большое спасибо за Ваше любезное письмо. Издательство имени Чехова начинает свою работу примерно в середине сентября. Как я сказал Марку Александровичу, как только организация будет налажена, я надеюсь что мы сможем с Вами сговориться об издании трех Ваших книг.

Мы хотим издать примерно 25 книг в 1952-ом году, но мы тоже хотим издать по крайней мере три книги в 1951-м году, чтобы конкретно показать фордовской организации, что мы работаем и работаем быстро.

Очень хотелось бы, чтобы одна из первых трех книг, изданных нами, была бы Ваша. Вера Александровна Александрова будет заведовать нашим редакционным отделом и я попросил ее снестись с Вами и выбрать первую Вашу книгу. Глубоко уважающий Вас

Ваш Николай Вреден.

Вот, дорогой Марк Александрович, копия письма, полученного нынче мною. Нынче же я послал Вредену заказной авион — изложил, что именно, какие именно три книги мои я предлагаю

издать, и сообщил, что "Жизнь Арс[еньева] уже послана мною для передачи в издательство с Б. И. Николаевским — эта "Жизнь" мною *весьма* "проработана", как говорят в Москве, и соединена с "Ликой", каковое название уничтожено, так что получится том страниц в 350, на обложке которого значится:

Жизнь Арсеньева
Роман

Первое полное издание

Написал и о *старом* правописании, о нелепости нового, и о том, что я непременно должен прочесть *вторую* корректуру набора, которую не смогу сделать, если будет новая орфография, мне неведомая.

Задыхаюсь нестерпимо!

10 часов вечера

Я уже хотел заклеить это письмо [т. е. предыдущее, без даты — А. З.], как пришел Зуров и принес 16-ую тетрадь "Возрождения" — там оказалось несколько слов Степановой-Мельгуновой — ответ на мои "Милые выдумки"¹, совершенно ошеломивший меня: это такая дикая, подлая ложь, за которую убить мало!

"Бунин сам лучше всех знает, что вел переговоры с представителями полпредства (?) о возвращении и об издании полного собрания сочинений своих (*мысль о возвращении ему [не] претила* — см. кн. 10 московского журнала "Октябрь", 1947 г.)"²

16 августа возвращается в Париж Маклаков. Тотчас обращусь к нему за советом, как привлечь эту мерзавку и ее негодяя мужа к суду.

Маленькая поправка

[...] В "Нов[ом] Русс[ком] Сл[ове]" напечатана заметка И. А. Бунина "Милые выдумки", в которой он обрушивается на меня с *необыкновенным апломбом* !! за мой отзыв ("на редкость злобной запальчивости") о его "Воспоминаниях" — отзыв, помещенный в 14-ом т. "Возрождения". Я ничего не имею против того, что опытный писатель, вопреки литературным традициям, раскрывает мой "псевдоним", подчеркивая, что я жена редактора "Возрождения". Но я решительно протестую против того, что г. Бунин позволил себе написать, что я "унизилась до позорной выдумки политической". Допускаю, что слово "вхож"³ в советское посольство употреблено мною неудачно, но сущности

дела это не меняет: И. А. Бунин сам, лучше всех, знает, что вел *переговоры* с представителями полпредства о *возвращении* и об *издании полного собрания сочинений своих* (мысль о возвращении ему *не претила* — см. кн. *10 московского журн[ала] "Октябрь"*, 47 г.). *Не все ли равно, где именно и в какой обстановке шли эти переговоры*, о которых писателю самому следовало бы рассказать в своих "Воспоминаниях".

П. Степанова-Мельгунова

Н. Д. Телешов известил меня, что "Госиздат" готовит издание моих "избранных" произведений — и я закатил в этот "Госиздат" такое резкое письмо, угрожая "мировым" скандалом, если это будет сделано вопреки мне, что получил через 2 месяца телеграмму из Москвы: согласно вашему желанию издание ваших избр[анных] произведений *suspendu*.

"Возвращение" мне предлагали, суля золотые горы, но Вы знаете мой отказ.

Наглая, подлая ложь! "Переговоры"!

1. "Не менее милую выдумку прочел я на-днях и в одном парижском журнале: в четырнадцатой "Тетради" издательства "Возрождение". "Тетради" эти редактирует С. П. Мельгунов, и вот появилась в последней из них статейка о книге моих "Воспоминаний", подписанная девичьей фамилией *его жены* — П. Степановой, — и начинающаяся так: "Они (эти "Воспоминания") написаны, конечно, с большим мастерством и читаются с огромным интересом". Начало хоть куда. И даже скреплено словом "конечно". Но, увы, продолжение... в нем есть сообщение, что я "вхож" в советское посольство в Париже. Что значит "вхож"? Значит, что я "свой человек" там. Но ведь это чудо из чудес! В книге моих "Воспоминаний" напечатано такое количество строк и целых страниц, посвященных большевикам, что они посадили бы меня на кол, будь я в их руках. В большой просяк попала госпожа П. Степанова, благодаря той на редкость злобной запальчивости, с которой (совершенно непостижимо, почему и зачем?) ей взбрело в голову кинуться на меня: не только в пух и прах разместить мои литературные воспоминания, оклеветать их, — я будто бы ни единого доброго слова не сказал ни об одном из писателей, современных мне, — я, который с такой сердечностью и даже с восторгом помянул Гаршина, Короленко, Чехова, Эргеля, Куприна (времени расцвета его таланта), — но и унизиться до позорной выдумки политической. Ив. Бунин". ("Милые выдумки", *Новое Русское Слово* 13 мая 1951 г.).

2. В статье "На Западе после войны. (Записки корреспондента)" (*Октябрь*, 1947 г.) автор, Юрий Жуков, рассказывает, м. п., о чтении Буниным своего рассказа "Смерть пророка" в 1946-ом г. в Париже на собрании в здании "Российского музыкального общества": "Он читает с некоторым раздражением, как

учитель, перегруженный уроками, читает много раз повторенные им тексты” (стр. 128). Позже состоялся разговор с Буниным. Бунин: “Ну, как вам Париж? Ничего городишко? Вот привык, знаете ли. Сколько мы тут живем? А?”. — Спрашиваем, не собирается ли Бунин к нам, в СССР. Он отвечает неуверенно: “Да где уж! Стар стал... И с транспортом туговато... Конечно, надо бы съездить... да вот не знаю...” Мы распрошались” (стр. 129). Далее Жуков описывает собрание 30 июня в зале Иены, на котором советские паспорта были вручены первой группе русских эмигрантов: “После этого мне довелось снова встретиться с Иваном Буниным. Незадолго перед тем газеты опубликовали его заявление по поводу Указа Верховного Совета СССР. Бунин назвал этот Указ великодушной мерой советского правительства и очень значительным событием в жизни русской эмиграции [См. также письма от 27 июня и 1 июля 1946 г.] Но какие выводы он сделал из этого события для себя? — “Поймите, — нерешительно говорил Бунин, — очень трудно и тяжело возвращаться глубоким стариком в родные места, где когда-то прыгал козлом. Все друзья, все родные — в могиле. Будешь ходить, как по кладбищу... — Сухо повторил: — Подумать надо... Подумать — взвесить. Трудное это дело — в такие годы так круто ломать жизнь...” (стр. 130).

3. “...кто же дал право Бунину, позже вхожему в сов. Полпредство, судить других со всей высоты своего “незапятнанного морально величия?” (“Писатели и кретины”, *Возрождение*, 14, 1951, стр. 177).

[Алданов Бунину]

20 августа 1951

[...] Вы отлично сделали, что включили “Лику” и поставите на обложке “Первое полное издание”. Очень хотелось бы, чтобы Ваша книга вышла у них *первой*... Не огорчайтесь по поводу заметки “Возрождения”, — Вы на этот счет ответили уже в Вашей статье в “Н[овом] Р[усском] Слове”. Что Вам сказал Маклаков, к которому Вы хотели обратиться за советом? Наверное, то же, что я?... Перечитываю иногда классиков. Перечитывал Тургенева. Есть, по-моему, вещи очень плохие, например “Затишье”, а есть превосходные. По-моему, лучше всего “Отцы и дети”, а не “Первая Любовь”, как мне прежде казалось. А из небольших произведений удивительно хороши “Старые портреты”, “Поездка в Полесье” [...]

23 авг[уста] 51 г.

Дорогой Марк Александрович, Вы купаетесь, а у нас все

холод и дождь. И все уехали из Парижа, даже Зеелер уехал отдыхать от мышления "вслух"!

Александрова уехала отдыхать до 1 сент[ября], — писать ей надо так:

Mrs Vera Schwarz
c/o Mr Otto Laga
Sunland Farm
Hunter, N. Y.

Я уже написал ей, между прочим, что на "новое" правописание *ни за что* не пойду. Да на это есть еще и такая причина: мне важен каждый звук в моих писаниях; без *авторской* корректуры я не могу выпустить книгу, а как же я могу корректировать, не зная этого похабного (и бестолкового!) правописания? А угрождать этим Ди-Пи, *снижаться* до них вообще позор. И читать постарому они прекрасно умеют. Откажет мне издательство? Пусть! Буду продавать все свое добришко — вплоть до Нобелевск[ой] медали — и как-нибудь доживу до смерти, уже близкой.

Маклакова я не беспокоил, отвечать Мельгуновой, думаю, не стоит, — отвечать — значит оправдываться перед этой стервой и редкой душой.

От удущья никакой Зернов не поможет. Мне просто нельзя жить в Париже, в его климате, без солнца, без воздуха. А где же еще я могу жить? Поездки в Juan-les-Pins, где вечно сыро и холодно, кроме жарких месяцев, и питание собачье, были ужасно глупы.

"Отцов и детей" давно не перечитывал. Перечитаю. Но "Стар[ые] портреты" и *особенно* "Поездка в Полесье" чудо как хороши.

Николаевский чорт знает что со мной сделал: сказал, будучи у нас в понедельник: "Завтра лечу в Нью-Йорк" — и чорт меня дернул отдать ему "Жизнь Арс[еньева]", а он взял и закатился в Германию свергать вместе с Керенским большевиков, — лопнуло, наконец, терпение у Александра Федор[овича]! — и Александрова пишет, что слышно, что Ник[олаевский] вернется в Нью-Й[орк] *только к сентябрю*, но вернется ли к сент[ябрю]? И не потеряет ли "Ж[изнь] А[рсеньева]", на которую я потерял столько сил, да еще при моем бессилии, удущьи, сердцебиении?

Ужасно беспокоюсь и бешусь и на себя и на *Ник*[олаевского]! Мог бы хоть известить меня, что не летит в Н[ью] Й[орк]!

Вы свою книгу [или книги], верно, уже отдали Вредену. Но заключили ли контракт? Как же без контракта? И какой он? *На какой срок отказывается автор от своих прав?* Пожалуйста, напишите.

Кончаю Ремизовым. Какой негодяй, пролаза! Вот уже и в 'Н[овом] Р[усском] С[лове]' и в "Нов. Журнале". И это с красным паспортом и с поездкой в посольство *на поклон* Молотову! У меня лежит "Сов[етский] Патриот" (в котором он немало печатался), с интервью, которое он дал Ладинскому в день своего 70-летия:

— Я не эмигрант, я взял советский паспорт логично, — и *теперь все в порядке и я очень доволен*¹.

Так буквально сказал. И вотуже в "Нов. Журнале": "Из книги *С подстриженными глазами*". За одни эти глаза удавить мало. Так это *патологически мерзко!*

Все это пишу потому, что нынче прочел очередную книжонку "Дела", посвященную ему — с идиотскими похвалами ему и его новыми выкрутасами. "Пусть свинья издохнет на могиле его бабушки!"

Целую Вас обоих. Ваш Ив. Б.

1. Бунин ссылается не на статью А. Ладинского "Русская литература за рубежом. Алексей Ремизов и его дорога", а на статью Л. Т[уганова] "У А. М. Ремизова" (*Советский патриот*, 138 (1947), стр. 4): "Да я никогда не считал себя эмигрантом. Выехал из России с советским паспортом в 1921 году, чтобы лечиться... А кто я? Вот в эмиграции все считали меня большевиком, но большевики меня большевиком никогда не считали. Когда разговаривал с марксистами, они меня на смех поднимали. Политики я не знаю. Люблю живое слово, книги, цветы и люблю *живую жизнь* — это ведь то выражение, которое приписывается Достоевскому и которое употреблял Погодин...".

2 сентября 1951 года¹

Дорогой Марк Александрович,

Одно дело печататься по новой орфографии в "Новом Рус[ском] Слове", а другое, для меня, выпустить в последний раз

мои книги. Вы пишете: "У Вас еще на худой конец издательство Гукасова..." Но Гукасов еще ни копейки мне за мои "Воспоминания" не заплатил и когда хоть что-нибудь заплатит, неизвестно.

Относительно Лаури я слышал, что его выгнали, но верно ли это, не знаю.

Погода продолжает быть у нас настолько ужасна, что все диву даются, и отчасти и от этого я уж так тяжело и так часто стал задыхаться, что мы решили позвать французского знаменитого доктора Муккена. Поможет ли он, не знаю, и поэтому твердо обещать, что я дам что-нибудь путное в "Новый Журнал", не могу. Но непременно что-нибудь дам, хотя бы пустяковое, чтобы показать, что я опять сотрудничаю в нем.

Вера Александрова прислала мне авион от 26 августа, сообщила: "Два часа тому назад я получила от Николаевского вашу книгу". Как видите, он уже вернулся в Нью-Йорк, а Александрова настолько тронула меня своим желанием поскорее успокоить меня, что я написал ей: "С великой благодарностью целую Вашу руку...".

Вы пишете, будто Вас и меня в возглавляемый Керенским "Национальный Комитет" хотят пригласить и что Вы, если будет так, откажетесь. Разумеется, откажусь и я. Какой же я политик!

Иногда к нам заходит Михельсон. Это всегда большое удовольствие, так он умен, остроумен и, дай Бог не сглазить, весел. Был на-днях и очень восхищался Вашим романом "Чортов Мост", который он прочел, гостя у Фенички. Она теперь принимает платных гостей.

Передайте мой сердечный поклон Вере Марковне. Целую Вас и Татьяну Марковну. Полонских надеюсь скоро увидеть, и тогда спрошу у Ляли, почему он хочет отдать все драгоценности с рю де ла Пе Торэзу и Дюкло? Говорят, он стал ужасно левый. Я советую ему лучше примкнуть к Кусковой и Прокоповичу и покрыть всю Россию, как только она свергнет большевиков, "сетью кооперативов".

Ваш Ив. Б.

1. За исключением последних строк и нескольких прибавок, написанных рукой, письмо напечатано на машинке.

9 сент[ября] 1951 г.

Вот, дорогие мои Марк Александрович и Татьяна Марковна, чем кончилось мое дело с "Издательством имени Чехова"! Бедный Чехов! При чем он тут?

Не думаю, чтобы это издательство пересмотрело свое постыдное решение. Ну и чорт с ним.

Целую Вас, больше писать не могу — устал смертельно.

Вам посылаю *черновик* моего письма¹ — простите. Два чистых заказными шлю: одно Александровой, а другое (копию его) Вредену.

Ваш Ив. Бунин

9 сентября 1951 года

1. Дорогая Вера Александровна.

Получил Ваше письмо ко мне от 6 сентября, Ваше сообщение, что те три книги мои, которые хочет издать Фордовское "Издательство имени Чехова", могут быть изданы только при том условии, если я соглашусь печатать их по так называемой "новой" орфографии. *Но я согласиться на это ни в коем случае не могу* — как не согласился бы сам Чехов, если бы ему предложили издаваться по этой орфографии, — я хорошо знал Чехова и поэтому смею Вас уверить в этом.

Воспроизвожу дословно, с сохранением *Вашей* орфографии то, что Вы пишете мне:

"Совет попечителей (боард оф тростис) на заседании, состоявшемся в конце августа, постановил, что *все книги без исключения* должны печататься по новой орфографии. Мотивы, продиктовавшие это решение, серьезны: в результате предварительного обследования выяснилось, что в Нью-Йорке нет наборщиков, знающих старое правописание; кроме того новое правописание чуть не на четверть сокращает *объем* (!) книги; решающим, однако, является третье соображение: нынешние читатели, особенно из младшего поколения, старого правописания совсем не знают".

Возражаю:

Не может быть того, чтобы не нашелся в Нью-Йорке наборщик, который мог бы набрать мою книгу *по старой* орфографии: всего четыре года тому назад был напечатан в "Новом Журнале" мой рассказ "Ловчий" *по старой* орфографии; куда же девался этот наборщик, неужели он умер и его совершенно нечем заменить?

Вы ошибаетесь, что новое правописание "чуть не на четверть" сокращает объем книги: на четверть не сокращает, но, конечно, сокращает, если *всюду* ставить, как это делалось прежде, твердый знак; *но я на твердом знаке не настаиваю*, — *вполне согласен обойтись без него* (но, конечно, *не в середине слова*, где Вы ставите *нечто просто страшное для русского языка*, а именно: *апостроф!*!)

Затем Вы говорите, что Ди-Пи, особенно из младшего поколения, старого правописания совсем не знают. Что значит "не знают"? Не смогут прочитать слова, если в нем стоит *i* или *ять*? Этого не может быть! А как же даже не Ди-Пи, а молодые люди в *России* читают книги, изданные до революции и в сотнях экземпляров собранные, например, в Румянцевском Музее в Москве или в Публичной Библиотеке в Петербурге? Нет, *они прекрасно читают эти книги*, знаю, что читают и мои книги, изданные до революции и находящиеся в подобных огромных книгохранилищах. *И неужели "Издательство имени Чехова" имеет в виду только Ди-Пи и совершенно отказывается помочь печататься нам, эмигрантам?* Во всяком случае я никак не могу согласиться *в угоду Ди-Пи писать, например, слово Бог с маленькой буквы или писать в своем рассказе или в своей статье Ленинград вместо Петербурга*. Я соглашался печататься по новой орфографии *только в периодических изданиях*, но свои книги по новой орфографии еще никогда не издавал, за исключением моей книги "Темные Аллеи", которую *Зелюк всю набрал без моего спроса* по этой новой орфографии и таким образом поставил меня "перед совершившимся фактом".

Мой *невольный* отказ печататься в "Издательстве имени Чехова" есть, конечно, *для меня нечто катастрофическое* и в материальном отношении. Но что же делать! Надо терпеть, *доживать свои последние дни стойко, в нищете*.

Благодарю Вас, что Вы заботливо храните мою книгу у себя. Но будьте добры передать ее Галине Николаевне Кузнецовой, когда она придет за нею: я ей об этом пишу.

Ваш Ив. Бунин

В ПЛЕНУ У НЕМЦЕВ

Предлагая вниманию читателя настоящее повествование, автор предупреждает, что оно не носит ни политического, ни исторического характера. Это просто сильное описание злоключений советского солдата, неожиданно попавшего в плен к немцам почти в самом начале войны. Никаких выводов или заключений автор не делает.

Теперь, перечитав эту рукопись, я обратил внимание на удивительно монотонный характер изложения событий. Думаю, что, может быть, именно эта монотонность и отражает в лучшей мере состояние моей психологии и настроения в то время, и не только моей, но, вероятно, и огромного большинства пленных. В нашу задачу входило, если можно так выразиться, сохранение своей персоны и извлечение максимума возможностей для этого при минимуме предоставленных условий. Все остальное уходило на второй план, человек как бы скукоживался в обстановке бесперспективного, беспредметного и безрадостного существования. Ведь положение военнопленного представляется наиболее смутным по сравнению со всеми остальными жизненными комбинациями.

Военнопленный не только лишен каких-либо прав и какой-либо защиты, но он еще является и объектом унижения. В первую очередь, невольно вспоминаются всем известные картины и описания того, как во время торжественного возвращения победителей с войны в стародавние времена, за их колесницами следовали скованные рабы — пленные воины побежденной армии. Не столь далеко ушел от этого обычая и Сталин, когда он в день Победы 8 мая прогнал по улицам Москвы, а потом и через Красную площадь десятки тысяч немецких солдат-военнопленных.

И обратите внимание на неизменное явление — вчерашние бодрые, подтянутые, аккуратно одетые солдаты в самый короткий срок превращаются в какую-то банду отщепенцев-оборванцев: они истощены,

небриты, невыты, нестрижены, их отеда свалялась, запачкана от ночевок где придется, они оборваны.

Если преступник в ходе соедствия и суда может как-то защищаться, а после приговора ждать окончания срока заключения, то ничего этого у пленного нет. Хотя, собственно, он ни в чем не виноват, его используют на самых тяжелых работах, он не знает о каких-либо сроках своего пребывания в плену, и жизнь его вообще ничего не стоит.

Я помню, как во время разгрузки снарядов, когда я немного отошел по нужде от вагона, немец сказал мне: "Дальше не ходи, а то я тебя убью и мне никто ничего не скажет". И он, действительно вынул пистолет.

Интересно, что у англичан было неписанное правило, по которому только что взятому пленному немцу следовало давать пищу лишь после допроса, так как иначе он может приободриться, чувство шока пройдет, и пленный не так легко будет давать нужные показания. Это касалось не только рядового солдата, но и офицеров и даже генералов.

В плену, собственно, есть только два мотива для поддержания морали на достаточно высоком уровне — стараться "выбиться" в люди и мысль о побеге. Так, у нас выбивался в люди (кроме "полицаев") один парнишка, с которым мы одно время работали на парфюмерном складе. Если мы послушно выполняли то, что нам было предложено, т. е. "ишачили," то он явно выделялся своей работоспособностью, он не "работал," а прямо "горел" на работе. Он даже начал бриться, как-то аккуратно одеваться, что немцы и заметили, так как в скором времени приходящий со склада немец стал брать туда на работу только его одного. Прощел ли он дальше на этом поприще, я не знаю, но думаю, что не очень-то при постоянно меняющейся обстановке.

Было уже под вечер. Но солнце здесь, на юге Украины еще жарило вовсю. Усталый, обливаясь потом, я вошел во двор того хутора, откуда ранним утром какой-то командир повел нас рыть, еще в темноте, наши индивидуальные окопчики. К моему великому удивлению, двор был пуст и лишь прижавшись к стене большой хаты, стояли без движения дед, бабки, да две или три дивчины.

— А где ж наши? — спросил я. Одна из бабок ответила: Да ще утром вси поутекалы. Мне это показалось совершенно

невероятным — ведь я был хотя и в неглубоком, но тылу. И как же это так все получилось?

— Дайте мне воды напиться, — сказал я. Уже два дня я ничего не ел, но все превозмогала жажда, так как не пил я еще дольше — воды здесь, в степи, не было.

Никто не сдвинулся с места. Наконец, одна из бабок сказала дивчине: "Та дай же человеку воды," — и та, испуганная, принесла мне большую жестяную кружку. Я выпил всю, попросил другую, скинул с плеч шинель, а винтовку поставил к стене хаты.

— А ось и немцы йдут... — сказала дивчина. Я уже не помню — выпил ли я всю воду и собирался закурить, или еще пил и пил.

— Як немцы? — теперь я удивился еще больше: откуда в нашем тылу могли оказаться немцы, ведь я уходил именно от них. Действительно, откуда-то вынырнули два немца с винтовками и шли они явно ко мне. Они шли не торопясь, без шлемов, пилоток или касок на головах, нестриженные (как мы), с закатанными рукавами и... даже без вещевых мешков и шинелей — будто прогуливаясь.

Было совершенно нормально, что я поднял руки. Один из немцев взял мою винтовку, вынул затвор и выбросил его в траву, об угол хаты разбил магазинную коробку. Другой подошел ко мне и спросил: "Сало есть?" (я достаточно понимал по-немецки). Я сказал: "Найн," хотя немного сала у меня-таки было. Он спокойно посмотрел на меня (может быть, из-за "найн"), похлопал по плечу и махнул рукой в том направлении, откуда я пришел.

Туда я и пошел, взяв с собой шинель. Кажется, я подумал тогда с известным облегчением, что война для меня кончена и я жив. Пока еще жив. Но, пожалуй, главным было удивление: как это все так быстро и невероятно приключилось? Остальные мысли пришли потом.

Я пошел туда, куда мне махнул немец, прошел совсем немного, до скотного сарая, где внутри уже были другие пленные — откуда они взялись? На земле лежал раненный в пах нацмен, и один из немцев попросил нас дать ему чистые кальсоны. Никто ничего не дал, а может быть, их ни у кого и не было.

Тогда я развязал свой вещмешок и вынул чистые кальсоны.

И тут случилось то, чего я никак не предвидел и не ожидал: когда я обернулся к кормушке, куда я "пока" положил свою шинель, ее там не было. Кто-то из пленных попросту украл ее почти на моих глазах. Теперь я был без шинели. Это было совсем ужасно — осень под боком, ночи уже были холодные, и я почувствовал себя почти голым.

Помимо плена, сейчас уже непосредственно начиналась борьба за жизнь. Нас повел кучкой куда-то в степь какой-то новый немец, и я начал снова удивляться. Как будто никакого боя и не было. Просто сменились молодые офицеры. Но кто-то уже бросил на землю яркую цветную пустую пачку от сигарет — таких, ярких, цветных у нас не было. Немного подальше мы остановились, и немец показал нам на землю — садитесь, мол.

Мы сели и думали, что нас сейчас расстреляют. Я даже сказал себе: "Ну что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать" и решил сбить немца с ног, когда он поднимет винтовку. "Мы будем здесь спать?" — спросил я. — "Да, спать..." — улыбнулся немец, но в это время показалась еще кучка пленных: нас просто собирали. Я облегченно вздохнул: значит, нас не убьют. А дальше видно будет.

Итак, я был в плену. Солдат без винтовки и без шинели, без имени и фамилии — неизвестно кто в этой все увеличивающейся массе пленных. Просто единица в числе других единиц, образующих миллионы.

Теперь нас всех вели куда-то дальше. По дороге мы увидели артиллерию немцев — огромные битюги с короткими хвостами вызывали особое удивление. Около палатки стояло кресло. "Это для генерала," — сказал кто-то. Я все еще хотел пить и попросил у немцев воды, но воды здесь не было, и, как оказалось, немцы возили ее из Днепра для кофе.

Можно было уже спать, ночь наступила. А я был без шинели, в одной летней гимнастерке. Но меня выручили двое из наших, с которыми я уже раньше встречался. Один лег на правый бок, а другой на левый, я между ними. Они расстегнули шинели, так что подо мною и поверх меня были их полы. Было тепло, хотя и

тесно. Стало совсем тихо, только где-то все еще бухало тяжелое орудие. Но это нас уже не касалось. А на горизонте горело какое-то строение.

Утром нашу группу — человек, вероятно, двести-триста — собрали на склоне бугорка и к нам вышел немецкий офицер, довольно сносно говоривший по-русски. Он задал несколько вопросов относительно номера нашей дивизии, времени нашего здесь пребывания и места, откуда нас привезли. Ответы ему были даны безо всяких колебаний. На прощанье офицер сказал: "Ну, идите, там вас накормят." Кроме того, он спросил, кто здесь говорит по-немецки. Вызвался я и еще один парнишка. Узнав, кто я, офицер махнул рукой — мне, мол, интеллигенты не нужны, а парнишку взял, видимо, для вспомогательных работ в своей части.

И мы пошли... Очевидно, на Запад. Где мы находились, мы толком не знали, ведь солдату не положено этого знать. Его дело копать ночью окопчики, а днем сидеть в них и стрелять. Или идти куда-то вперед. Или назад... Шли мы нестройной колонной, грязные, невымытые, небритые, голодные. Вокруг нас была бесконечная степь. По дороге к нам присоединялись еще группы пленных, и нас стало, вероятно, до тысячи человек. Охраняло нас, или, вернее, сопровождало, всего лишь пять-шесть немцев на велосипедах. Несколько раненых везли на широкой, покрытой досками тачке.

Можно ли было бежать? Я думаю, что да, сколько угодно. Присесть якобы для нужды где-нибудь за кустиком, улучшить момент, залечь за ним, и потом, когда колонна пройдет, исчезнуть в пространстве.

Но психологически к этому, видимо, никто не был готов. Бежать? Но куда и зачем? Догонять свои, отступающие в беспорядке части? Но они разбиты, рассеяны или изничтожены. У нас создалось впечатление, что за узенькой полоской того фронта, который мы не то что держали, но на котором просто пребывали, пустота и больше ничего. Сопротивляться было некому. Командование подбрасывало на наш фронт все новые и новые маршевые, необученные и неорганизованные батальоны, которые сопротивления немцам не оказывали и попадали в плен.

А, кроме того, уж слишком велик был шок, сознание явного нашего великого разгрома. Это было уже в полдень 22 июня, когда Молотов по радио сообщил о том, что война с Германией началась. И по мере поступления все более и более печальных новостей, уныние и сознание собственного бессилия все увеличивались.

Уже до Сталино, где нас собирали для отправки на фронт, долетали отдельные немецкие самолеты, где-то что-то бомбили. И никакие зенитки не встречали их огнем. Ходили мы по городу в новеньком обмундировании без всякого толку. Никто нас ничему не учил, даже маршировать не заставляли. Командиров у нас не было, и мы делали, что хотели. На фронт мы ехали, как на заклятие. Вдобавок, есть было нечего. На всю открытую платформу, где и я разместился, выдали бумажный мешок черных сухарей. И это было все. Никаких НЗ (неприкосновенных запасов) мы не видели. Накормили нас только в Мелитополе, а потом дали по одной большой коробке рыбных консервов на два человека. Не было у нас и фляжек для воды.

Лишний раз вспоминаю встречу с каким-то командиром. Он сидел, болтая ногами, на полу в тамбуре товарного вагона, напротив которого остановилась наша платформа. Печально посмотрел на нас и сказал: "Эх, пехота, пехота, а вас все гонят и гонят... Ну, ну, езжайте...".

Итак, мы шли. Шли, не торопясь, да немцы нас и не подгоняли. Даже не шли, а брели — каждый со своей думой. По дороге встретился раз крест с надетой на него немецкой маской, а дальше, где-то в леске, лежали трупы лошадей. Они казались огромными, со вздутыми животами и широко раскинутыми задранными вверх ногами — чьи они были?

По сторонам пыльной дороги попадались кучки зерна, мы брали их горстями и долго жевали, чтобы хоть как-то утолить все возрастающий голод. Один раз повстречалась корова, которую прутиком гнал немец, а сзади бежала в слезах дивчина, что-то причитала...

Потом началась драка из-за хлеба. Кажется, немцы дали приказ, чтобы жители ближайших к дороге сел выносили к

проходящей колонне какую-нибудь еду. Так, или не так, но на пригорке около дороги оказалась кучка баб с буханками в руках. Они стали ломать эти буханки и бросать куски хлеба прямо в гущу пленных. Протянулись десятки рук, кто-то успевал поймать кусок, а кто-то — нет. И началось побоище.

Это было ужасно. Люди набрасывались друг на друга, вырывали из рук куски, хлеб падал прямо в пыль и в драке его затаптывали ногами. Я уловчился поймать один кусок, но на меня набросился какой-то огромный детина, ударил в грудь, сшиб с ног и стал этот кусок вырывать. Мои ближайшие соседи, неожиданные новые друзья, отбили меня. У детины из-за пазухи вывалились целых три-четыре драгоценных куса. Немцы на это ЧП никак не реагировали; думаю, в их глазах мы, действительно, были "унтерменшами."

Свидетелем еще большего побоища я был позже в лагере в Николаеве, где дрались из-за воды. Из водопровода иногда сочились немногие капли воды и пить было нечего. Тогда немцы привезли на подводе с Буга бочки с водой, организовали вокруг подводы четыре-пять хвостов-очередей и стали бачками разливать воду в подставляемые банки (пустые литровые консервные жестяные банки). Но этот порядок был немедленно нарушен, и началась драка. Вокруг подводы сбились десятки людей, пробиваясь вперед и отталкивая друг друга. Стоящие на подводе немцы пустили в ход приклады, били по головам и плечам, но это ничуть не помогало. Пленные опрокинули не только бочки, но и подводу, и даже лошадь; вода, конечно, потекла на землю и немцам пришлось вызывать подкрепление, чтобы унять страсти. Несколько человек так придушили в этой свалке, что они остались лежать возле бочек. Между прочим, как я сейчас вспоминаю, было вовсе не так уж и жарко в этой середине сентября, и те ежедневные три раздачи, которые мы получали, содержали достаточно воды.

Все это было достаточно печально, но судьба преподнесла мне и большую радость. Где-то с левой стороны дороги я увидел лежавшую на траве шинель. Бросился к ней. Правда, на спине были кровавые пятна (откуда они там взялись?), но меня это мало трогало. Перочинным ножиком я счистил червячков,

и будущее показалось мне в благоприятном свете — ведь у меня теперь была шинель!

Мы все шли и шли по пыльной степной дороге. И, наконец, подошли к реке — это был Днепр, а за ним, на правой стороне, какой-то город. Я почти сразу узнал его — это был Берислав. Во время одного из моих "дальних плаваний" по Днепру я проплывал мимо него; весь белый, каменный, Берислав живописно расположился на горе высоко над Днепром.

Как я потом прочитал, Берислав был взят немцами вечером 26 августа 1941-го года. 30 августа немцы переправились на левый берег Днепра, а 1 сентября продвинулись вперед от предмостного укрепления на 2 километра. В тот же день рано утром немецкие саперы закончили постройку понтонного моста длиной в 700 метров, составленного из 116 понтонов, и их конная артиллерия первой прошла через мост. Группы немецких лошадей мы видели неподалеку. Советская авиация приняла все меры, чтобы разрушить этот мост, но ничего не добились, потеряв 84 бомбардировщика. Как пишет Кэрелл, "это был, без сомнения, наиболее дорого оспариваемый мост за всю Вторую мировую войну." Но все это произошло до нашего прибытия на этот участок фронта, а сейчас было абсолютно тихо — в воздухе ни одного самолета. Дорога немцам на Перекоп была открыта. Теперь я понял, где мы находились: это был знаменитый "Кавховский плацдарм," где в Гражданскую войну потерпела поражение от советской кавалерии Белая армия.

Мы усадились на берегу Днепра, пили до отказа воду, а мимо нас по понтонному мосту непрерывной цепочкой проходили на левый берег немцы. Наконец, и мы по крутой дороге поднялись в Берислав, разбитый и искалеченный, без единой живой души. Было еще совсем светло. Нас подвели к воротам, за которыми был большой двор с несколькими одноэтажными строениями — все, окруженное высоким каменным забором. Что это такое было, ума не приложу, да мы и не очень интересовались. При входе нас быстро обыскали, причем немедленно отобрали наши алюминиевые котелки — *цветной металл*. Затем нас накормили: по пять человек ("по пять, по пять" — всегдашний счет немцев) через проход вступали в проволочное ограждение, окружающее

котлы, где варилась картошка, получали несколько еще горячих картофелин прямо в подставляемые пилотки, проходили через двери одного из строений и опять выходили сбоку на тот же двор. Давали ли нам хлеб, не помню; может быть, да, может быть, и нет. Во всяком случае, ужин был закончен и мы почти насытились. Затем мы легли спать, где придется. Все было как будто ничего, но мы тогда еще не знали, что те пленные, которые находились во дворе с прошлых дней, в этот день ничего не получили, так как всю картошку приготовили только для нас.

Так закончился второй день плена. А далее потекли совсем уж унылые, голодные дни. Мы спали до отказа и пили сколько угодно воды, так как во дворе была ручная помпа. Проснувшись, мы садились в очередь за картошкой. Собственно говоря, это была не очередь в обычном понимании, а просто мы садились нестройными рядами перед проволокой, окружавшей котлы — в неопределенном ожидании картошки.

Сидели долго, можно сказать, бесконечно, так как картошку варить не спешили. Когда же она все же была готова, перед нами появлялся очень симпатичный пожилой немец с палочкой в руках. Это была целая процедура. Немец касался палочкой пилотки одного из пленных, и тот спешно бежал к котлам. Немец считал: "Айн, цвай, драй, фир, фюнф," — делал паузу и начинал все снова. Он всматривался в лица пленных и бывало так, что первых сидящих в ряду он не пропускал, а отмечал своим вниманием тех, кто ему понравился в третьем или четвертом ряду.

Через несколько дней у симпатяги немца то ли иссякла энергия, то ли пошел дождь, то ли проявились в полной мере немецкие организаторские способности, но эта процедура была отменена и немцам-фотолюбителям оказалось нечего снимать. А то они садились на каменную стену и шелкали своими фотоаппаратами.

Теперь мы стали проходить за картошкой обратным путем: через двери в небольшую комнату, затем через узкие двери в другую комнату, а потом уже через третьи двери к котлам. Немцы, вероятно, предполагали, что мы стройной цепочкой, один за другим, будем попадать к этим котлам. Но они не учли ни нашей неорганизованности, ни степени нашего голода.

Давка начиналась уже у первых дверей, а во вторую комнату набивалось столько людей и давка у вторых дверей принимала такие размеры, что пройти туда было очень трудно — за это шла дикая борьба. Меня несколько раз оттесняли к стенке комнаты, я начинал задыхаться, но все же как-то ухитрялся прорваться к дверям и, в конце концов, получить свою порцию. Но те, кто были послабее, просто-напросто задохлись. Немцы в итоге этой операции нашли там два или три трупа.

Самое печальное было то, что не то пленных прибавилось, не то котлов было мало, не то картошки привозили откуда-то мало, но ее стало нехватать. Количество выдаваемых картофелин и их размеры явно уменьшались; в один из таких печальных дней я получил всего лишь две маленькие картофелины, а другие, вероятно, — совсем ничего. Но я еще был в лучшем положении, так как у меня сохранилось немножко сала, несколько сухарей и сахара. Поэтому я утром съедал маленький кусочек сала, кусочек сухаря и один кусок сахара — украдкой и незаметно. Иначе я бы пал жертвой агрессии.

Всего этого было настолько мало, что мораль моя стала падать, замаячила перспектива умереть с голоду. То же было и с другими, приходилось слышать; "Лучше бы я пустил себе пулю в лоб, если бы знал, чем так подыхать!". И здесь встает законный вопрос: как вообще попадают в плен?

Я попытался расспрашивать некоторых товарищей по несчастью — как они очутились в плену, — но ни разу не получил исчерпывающего ответа. Все они как будто были переловлены или небольшими группами, или поодиночке — вроде меня. Выходит, что версия о том, что какие-то группы "организованно", под белым флагом и с поднятыми кверху прикладами винтовок, по своей инициативе приходят к противнику, не соответствует действительности.

В итоге битвы за Киев и последующего окружения советских армий немцы взяли в плен 663.000 человек, а всего за первые три-четыре месяца войны — свыше *двух миллионов*. Нескончаемые колонны пленных пешком следовали на Запад.

Но вот несколько примеров сдачи в плен, так, как их описывает Пол Кэррелл. В итоге ожесточенного штурма крепости

Брест-Литовск, начиная с первого же дня войны и по 30 июня, когда пали стены восточного форта после авиационной бомбардировки, из форта вышли прятавшиеся там женщины и дети, а за ними около 400 солдат, причем многие из них были тяжело ранены. Продолжал до конца сопротивляться лишь офицерский клуб, и никто из его защитников не сдался. До конца июля продолжали сопротивление и отдельные группы в подземельях крепости, пока они не пали мертвыми.

В битве за Севастополь (1941 — 5 июля 1942) было взято в плен 90.000 человек. Хотя имели место отдельные очаги отчаянного сопротивления до конца, в последние дни штурма защитниками овладела паника и в обороне создавался хаос. Среди немногих спасшихся были адмирал Октябрьский и генерал Петров — руководители обороны. 30 июня их взял на борт быстроходный катер.

А вот как попал в плен генерал А. А. Власов. Находясь в окружении в районе реки Волхов вместе с остатками своей разбитой армии, А. А. Власов сделал было попытку прорваться на восток, но потерпел неудачу и прятался в лесах и болотах. Немецкое командование начало розыски генерала, оно разбрасывало листовки с указанием его примет и даже фотографиями, обещая крупные награды и специальные отпуска тем, кто его обнаружит. Долгое время это не давало никаких результатов, но вот, 11 июля 1942 года, староста одной из деревень сообщил капитану разведки Швердтнеру, что он запер в сарае какого-то человека, по виду партизана, вместе с женщиной. Переводчик и сопровождавшая его группа солдат подошли к сараю с винтовками наперевес, и староста, отперев дверь, крикнул "Выходи!". Из темноты на яркий свет вышел гигант, покрытый грязью, небритый, в офицерской одежде. Он щурил глаза через толстые очки в черной оправе и, увидев направленные на него винтовки, поднял руки вверх и на плохом немецком языке сказал: "Не стреляйте. Я — генерал Власов".

Несколько схожи обстоятельства пленения генерала Потатричевъ — одного из первых генералов советской армии, попавших в плен. Он был командиром 4-ой блиндированной дивизии, расположенной в Белостоке, разбитой и почти полностью

уничтоженной в первые же дни войны, когда она пыталась выйти на предназначенные позиции. В панике остатки дивизии устремились в близлежащие леса. 30 июня генерал Потатричев вместе с несколькими офицерами отделились от этих остатков и пошли пешком в Минск, чтобы потом добираться до Смоленска. Ноги генерала не выдержали этого форсированного марша, он снял сапоги и достал у крестьян цивильную одежду. Придя в Минск, он был, тем не менее, там арестован вместе с другими. Тогда он сказал часовому, кто он такой, назвал свою фамилию и свое звание.

Попала в плен и такая персона, как сын Сталина Яков. Сталин узнал об этом, но не шевельнул и пальцем, чтобы помочь своему сыну, и тот так и умер в плену. Зато счастливо избежал плена Семен Буденный, командовавший (на бумаге) группой армий Юго-Западного фронта. Его пять армий были полностью уничтожены, а две другие частично обескровлены в битве за Киев после окружения у Умани войсками фельдмаршала фон Рунштедта. Когда 19 сентября был сдан Киев, несмотря на приказ Сталина "держаться или умереть", Буденный был вывезен из мешка по специальному приказу свыше. "Он не должен был попасть живым в руки врагов, а смерть этого героя революции никак не устраивала Сталина". Командование окруженными армиями взял на себя генерал Корпонос. Он погиб вместе со своим начальником штаба генералом Тупиковым во время попытки прорыва. У каждого своя судьба.

А нас никто и не пытался вывозить или вообще спасать. Никто нам не предлагал капитулировать, а о попытках прорыва — куда? — не могло быть и речи. Мы просто были брошены на произвол судьбы и доброй (или злой) воли немцев. Никто нашими чинами и званиями не интересовался, нигде мы больше не значились, и в лучшем случае могли предполагать, что в каких-то бесконечных списках мы будем значиться как "пропавшие без вести". Каждому оставалось лишь как-то приспособливаться, чтобы подольше оставаться живым.

А тут пошли дожди. Это были мелкие, но долгие дожди, и спать под открытым небом становилось никак не интересно.

Поэтому началось заселение пустующих помещений. И тут обнаружилось примечательное и интересное явление. В лагере уже начали складываться группы пленных, так сказать, коллективно отстаивавших свои интересы. Одна из таких групп под водительством какого-то крепкого дядьки (впрочем, он был моложе меня) — человек 15-20 — явочным порядком захватила одну из комнат и туда никого посторонних не пускала, чтобы было где спать своим. А это было очень важно, так как не только картошки, но и свободных мест в комнатах явно не хватало.

Часть пленных забралась на чердак — там было даже теплее, — но их набралась такая масса, что пол чердака не выдержал и обрушился вместе с пленными на спящих внизу. Поднялся, конечно, страшный шум, крики, стоны, ругань, но, пожалуй, больше всего было смеха. Не меньше все смеялись и тогда, когда один из пленных поскользнулся на доске, положенной над большой ямой, над которой мы сидели, отправляя свои нужды, и упал в яму. Его оттуда вытащили, но эффект был неописуемый. Ученые, изучающие "психологию масс", вероятно, дают такому смеху над чужим несчастьем нужное объяснение.

Группа, овладевшая комнатой, всегда попадала на работу вне нашего двора. А это тоже было очень важно, так как на работе, помимо удовольствия выйти на вольный воздух, за пределы каменных стен, выпадала еще возможность что-то раздобыть — какую-нибудь еду, или ту же картошку, или табак, или махорки — "попечь губы". А может быть, и немцы им что-нибудь выдавали, но возвращалась эта группа, видимо, довольная. Для этого нужно было рано утром встать у самых ворот, точнее, завоевать первые места, что можно было осуществить только силой, а это не всем удавалось. Именно из передовых и брали на работу.

После того, как я получил две малюсенькие картошки, я решил попасть в эту группу. Кстати, там был и мой приятель — колхозный бухгалтер, откуда-то из под Сталино. Я поговорил с ним, он — с крепким дядькой, и за самокрутку из остававшегося у меня табака (купил еще в Сталино на толкучке) я получил право ночевать в их комнате...

Утром я вместе с приютившей меня группой вышел к воротам на работу. Нас вывели, но за нами — и всех остальных. Просто, немцы решили нас куда-то перебросить. И мы снова побрели по жаркой степи. Я уже не помню порядка нашего следования. Один раз мы ночевали около болота, а перед тем в полном порядке прошли перед колхозными бабами, которые выдали нам что-то поесть. Я получил одно яблоко, лепешку и еще немного чего-то. Другой раз нас привели на какой-то двор и выдали чуть ли не по полбуханки отличного хлеба.

Но пребывание здесь для некоторых стало трагичным. Мы, как и полагается, сидели на земле, поджав под себя ноги, а между нами по рядам стал проходить толстый немец без головного убора. Он искал евреев. Видимо, он был знатоком своего дела, так как помимо общего обзора лица, смотрел он еще на уши, оттопыривая их своими пальцами. Так он нашел одного пленного еврея, приказал ему подняться и куда-то направил. Пришлось и мне пережить две-три минуты тоскливого ожидания. Моя внешность для одного из пленных сзади меня явно не подходила под принятые представления об украинском дядьке, и он сказал: "А вот ще один жидюга сидить." Я обложил его таким матом, каким только мог, и он тогда сказал: "Да я не буду на себя душу чоловичу брать." Немец приблизился, безучастно прошел мимо меня, пошел дальше и ушел совсем. Все стало на свои места. И я снова принялся за хлеб.

Еще раз мы ночевали где-то в церковной ограде, без всяких событий, не считая того, что спали так тесно, что нельзя было выйти к ограде по нужде. Приходилось ступать по головам и телам, что вызывало ругань высшего сорта. А кроме того оказалось, что свои же пленные срезают у своих же вещевые мешки в надежде найти там что-нибудь из еды. Поэтому приходилось быть настороже, хотя у меня почти ничего из запасов не оставалось.

А днем мы все шли и шли по бесконечной степи. Воды не было, но все же иногда попадались болотца. И тогда уж мы напивались до отказа. В середине последнего дня пути мне повезло. Во время одного из привалов я достал бушлат, самый обыкновенный армейский бушлат, который выдавался солдатам

вместо шинели: он был короче шинели и без хлястика, но на теплой подкладке, вероятно, из ватина. Мы сидели, и вдруг один из моих новых знакомых сказал мне: "А вон бушлат лежит." Его хозяин куда-то отлучился и оставил бушлат беспризорным. Я быстро сделал двадцать шагов и так же быстро вернулся назад. Через какие-нибудь секунды вернулся владелец бушлата. Не найдя его, он заметался из стороны в сторону, спрашивая близидящих, но кто мог ему что-либо подсказать в этой массе одинаковых незнакомых лиц.

Мучили ли меня угрызения совести? Нет, я только боялся, что он заметит свой бушлат; сел на него, а потом химическим карандашом начертил на рукаве свои инициалы.

Все это было печально, но на попавшейся по пути железнодорожной станции, где не было ни души, валялись кучи кругов макухи. Хорошая макуха остается под прессом после выжимки подсолнечного масла. Она сладкая, и ее можно грызть, как сухарь. Конечно, в ней остается шелуха, но ее не так уж много и десен она не раздражает. Эта макуха была третьесортная, состоящая из колючей острой шелухи и ее можно было только сосать. Почти все, попробовав макуху, от нее отказались, но я все же взял один круг и не раскаялся. Потом, в самые трудные минуты, я сосал отбитые кусочки и даже менял их на две-три затяжки махорки. Это все же было лучше, чем ничего...

В конце концов, мы доплелись до Николаева на Буге. Огромной шумной массой беспорядочно, с криками, влились мы в широкую улицу с небольшими домами по сторонам. Первым делом бросились в эти дома, в ворота и калитки — за водой. Появились немецкие мотоциклисты, загонявшие нас назад, в расплывшуюся колонну. Они даже стреляли в воздух, но нас ничто не могло остановить, пока мы не напились. Во дворе одого дома я и узнал, что мы в Николаеве.

По правой стороне Буга мы пришли в большое село, название которого я забыл (не то Вознесенское, не то Воскресенское) и попали во двор, огороженный каменными стенами. Сразу же расположились в огромном крытом длинном сарае (может быть, здесь раньше стояли машины), и даже на соломе. Как потом

оказалось, мы были на румынской территории, отданной им немцами в компенсацию за участие в войне на их стороне. Но командовал нами немец. Он был, видимо, добрый человек, так как кормили нас сносно, какими-то похлебками. Комендант лагеря требовал одного: чтобы мы пели украинские песни — он оказался их любителем. Хлеба, правда, всегда было мало. Нечего было и курить. Мой табак уже давно вышел. Но мне снова повезло. В один из нерабочих дней мы сели играть в карты — в "очко," я сорвал банк — какую-то огромную по мирным временам сумму — и смог купить у одного из ребят коробочку черных сигарок. Сколько я заплатил за них, уже не помню, но нужно учесть, что если пачка "Беломора" стоила тогда три рубля (если не ошибаюсь), то здесь три рубля стоила *одна* папироса...

Кстати, стоит упомянуть об одном чрезвычайно любопытном явлении. Несмотря на всю оторванность от внешнего мира, от поголовной нехватки всего необходимого, здесь уже появилась "толкучка," где что-то покупали и что-то меняли. Но это было только начало, а потом, в Николаеве, куда нас перебросили, она приняла довольно большие размеры. Один раз там продавалась или менялась половина петуха, а консервы были почти всегда (сколько, — может быть, две или три банки, но они были). Как и где все это доставалось?

Наше благополучие долго не продолжалось, и в один далеко прекрасный день нас погнали назад, в Николаев. Поскольку село находилось на румынской территории, там не полагалось быть "немецким" пленным.

Начался самый тяжелый и печальный период нашей жизни. Мы заняли территорию рабочего поселка какого-то завода, кажется, "Имени Сорока." Кто были эти "Сорок," мы не интересовались. В стройном порядке были расположены двухэтажные дома с выбитыми стеклами, а между ними — "уборные." Из домов налево был выход на огороженную колючей проволокой "улицу," из которой нужно было проходить через огороженный проволокой же проход к кухням, к котлам, там получать пищу, а затем выходить на футбольное поле. А оттуда — назад через проволочные ворота к своим домам-баракам.

Ранним утром, когда еще было темно, нас выгоняли на

улицу, где мы становились "по пять" и выходили на футбольное поле. Начинался бесконечный подсчет — впервые нас стали каждое утро подсчитывать. Этот подсчет длился не менее двух часов — нас уже было много (тысячи две-три). Было холодно, голодно и уныло.

Потом нас отбирали на работу, но далеко не всех - кому "посчастлило," тем более, что за работу полагалось сто граммов хлеба. Утром около котлов мы пили "чай" или "кофе" — вообще неизвестно что, подставляя повару свои консервные банки, получали на восемь человек небольшую плоскую буханку хлеба. Один из восьмерых закрывал глаза или оборачивался лицом к раздатчику и спиной к нам. Раздатчик тыкал пальцем в отрезанную осьмушку и спрашивал: "кому"? — "Ваське" или "Петьке"... И все было в порядке. Тут возникала известная всем концлагерникам проблема — как поступить с хлебом: съесть сразу все или только часть, а остальное оставить на потом, к "обеду." К сожалению, хлеб был очень вкусный, отличного качества и хорошо выпеченный. Его, конечно, хотелось съесть сразу. (...)

В наших двухэтажных домах мы разместились, как пришлось. Частью это были однокомнатные квартиры, частью — двухкомнатные (вероятно, для семейных). Люди набивались в эти комнаты так, что спали впрытык друг к другу. Так было даже теплее, но зато вскоре — и почти немедленно — появились вши. Откуда они брались — неизвестно, но начали размножаться с невероятной быстротой и появились даже в портянках. Днем на холоде это было еще ничего, но ночью — нестерпимо.

Неизвестно, как это вышло, но пленные (безо всякого контроля) стали кочевать из барака в барак и располагаться там по профессиональным признакам. Так, был барак слесарей и механиков, еще, кажется, бараки плотников, и так далее. А тот барак, где был я, был баракком "хлиборобов." Я думаю, многие надеялись, что таким путем они получают соответствующую работу где-то (в Германии?).

Никакого отношения к "хлиборобам" я не имел, но так как барак "интеллектуалов" не было, нужно же было куда-то прикрепиться. И здесь мне опять повезло. Стояли мы на футбольном поле тоже "по баракам," и уже в первый или второй день

комендант лагеря, прохаживаясь по рядам, вдруг обратил внимание на моего приятеля — колхозного бухгалтера, видного мужчину, и... назначил его старшиной нашего барака. Какие обязанности он должен был выполнять — неизвестно, но на работу он мог не выходить и ему была отведена комната с целыми стеклами в окнах и даже дан к ней ключ. И мы, все пять, в ней "устроились." Было не только просторно, но и относительно тепло, а главное — нам не нужно было после возвращения с работы каждый раз искать новое пристанище, как это приходилось делать бесприютным пленным.

Говорили, что на территории нашего лагеря было еще помещение, где сидели пленные офицеры, которых никуда не выпускали. Верно ли это, я не знаю. но их, во всяком случае, никто не видел.

Работы были разные. Самой тяжелой и голодной была разгрузка ящиков со снарядами или минами из железнодорожных вагонов прямо на землю штабелями.

Самой легкой и сытной была работа на элеваторе. Надо было легкими деревянными широкими лопатами перебрасывать кучи сырого зерна с одного места на другое, чтобы его просушить — перед уходом власти распорядились залить элеватор водой.

Несколько дней мы работали в помещении какого-то парфюмерного склада, из которого вытаскивали все, что там было и заменяли привезенной немцами из Германии мебелью. Нам казалось это потрясающе нелепым, но с таким явлением приходилось сталкиваться и потом — немцы предпочитали пользоваться своей — привезенной издалека — мебелью.

Что нам перепадало во время работы? В общем, всякая ерунда, но один раз мы достали половину большого кабака (тыквы), а другой раз — несколько пачек прессованного фруктового "чая." От кабака мы отрезали куски и ели их сырыми, и это было для нас лакомством, так как в кабаке есть сахар. Прессованный чай мы, конечно, не варили, да и негде было, а просто ели — тоже как лакомство.

И здесь нужно сделать маленькое отступление — о поразительной способности человеческого организма как бы автоматически обороняться в трудные минуты существования от всех

“посторонних” влияний. Мы часто ели всякую дребедень, но ни разу ни у кого не заболел живот. Мы холодали, промокали, спали на сырой земле, но никто не заболел, никто не чихал и не кашлял. Правда, тогда мы, вероятно, еще не полностью исчерпали заложенные в нас силы сопротивления.

Однако, большей частью на работу мы не попадали и без толку слонялись по футбольному полю, а если был дождь, то забирались в нашу комнату. Раза два или три нам раздавали газету на украинском языке — орган украинских самостийников, по всей видимости, галичан, так как написана была газета на несколько необычном языке с непривычными для нас словами. Я уже не помню ее содержания — вероятно, там были и сводки о победах немцев на всех фронтах, чему мы верили. Но самое главное в этой газете было то, что нам сообщалось, что поскольку мы попали в плен, постольку, как объявил Сталин, мы являемся “предателями” и “врагами народа”, пощады нам от советской власти не ждать. Этому мы поверили, так как хотя многие и говорили, что “нас предали, нас продали”, но все же известный комплекс виновности у нас существовал. Я думаю, что он должен существовать у всех пленных во всем мире...

Не знаю судьбы моих четырех напарников, но думаю, что за сдачу в плен им пришлось так или иначе поплатиться, а о себе лично я понял, что возврата для меня, действительно, нет.

Один раз, чтобы как-то убить время, мы решили сыграть в излюбленную российскую игру — преферанс, и даже сделали карты из раздобытых в парфюмерной конторе картонок. Но, увы, от голодовки наши мозги так ослабели, что дальше нескольких попыток дело не пошло. Мы бросили карты и больше к ним не возвращались. Правда, нужно сказать, что и играть-то было неудобно, так как не только в нашей комнате, но и во всем доме не было абсолютно никакой мебели — ни стола, ни стульев, — они куда-то исчезли еще до нашего сюда вселения.

Долго, голодно и безрадостно тянулись дни, и лишь одно нас пока спасало — сон, так как высыпались мы досыта — что же еще можно было делать в темноте. Но вот стали ходить совершенно потрясающие и невероятные слухи о том, что часть пленных, а именно — “хлиборобов,” выпускают “на волю,”

домой. Указывалась и причина: нужно, чтобы кто-то все же занимался сельским хозяйством, ведь в селах остались одни бабы, старики и дети. Никто особенно этим слухам не верил, это казалось слишком невероятным, но в один прекрасный день, когда наш барак выстроился "по пять" на футбольном поле, на бочку перед нами вылез переводчик и эти слухи подтвердил. После короткого объяснения, он спросил: "Тут уси хлибороби?" — "Уси!" — отвечали ему хором.

Потом, если не ошибаюсь, старшина с нашей помощью составил списки обитателей барака "хлиборобов," причем население нашего барака сразу вдруг увеличилось, — и нас стали вызывать в контору лагеря. Раз или два за каменной стеной, где были административные помещения лагеря, раздавались какие-то выкрики, и вызванные пленные в барак больше не возвращались.

И вот в один действительно прекрасный день вызвали в контору нашу пятерку. Какой-то немец-старичок, хорошо говоривший по-русски, подвел меня к большой карте на стене и задал ряд вопросов. Я показал свой город — Днепропетровск; на этом допрос закончился. Такая же процедура произошла с другими из нашей пятерки, причем трое назвали Днепропетровск как место своего жительства, а двое — Кривой Рог.

Тогда нам все это казалось нормальным, но потом мы удивились невероятной наивности немцев или явному расположению к нам старичка-немца, так как мы, жители этих двух городов, явно не могли быть "хлиборобами." Колхозник-бухгалтер назвал Днепропетровск лишь потому, что боялся, что до его колхоза немцы еще не дошли и его с нами сейчас не выпустят. А молодой парнишка, напарник техника из Кривого Рога, не только никакого отношения к "хлиборобам" не имел, но даже не говорил по-украински.

Нас, человек тридцать-сорок, снова вызвали за каменную стену в большой, по-видимому, гимнастический, зал, построили в две шеренги около одной из стен, а сбоку перед большими окнами уселась какая-то группа немцев, в том числе и наш старичок. Нас стали подзывать к столу и вручать какую-то бумагу. Туда бегом и назад бегом. Я развернул было бумагу, чтобы прочитать, что там было написано, но стоявший рядом

"полицай" больно ударил меня палкой по плечу. До этого немецкий чин, может быть, комендант лагеря, произнес какую-то речь, а потом, когда мы все получили по бумаге, еще кто-то что-то сказал и закончил речь "Хайль Гитлер"ом. Мы дружным хором выкрикнули "Хайль Гитлер." Затем нам выдали по целой буханке хлеба и открыли ворота, ведущие из лагеря.

И мы не вышли, а вырвались на свободу. Был серенький день, моросил мелкий дождик, но для нас светило яркое солнце...

С. Серебряков

ЭМИГРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗМ*

В русской эмиграции циркулирует множество различных суждений о судьбе социализма в СССР или, как многие говорят, "коммунизма". (Эти многие все еще верят в разные виды "хорошего" социализма и поэтому отмежевываются от советского социализма, называя его коммунизмом).

Духовное и религиозное возрождение русского народа

"Я глубоко верю, что *только* при духовном и религиозном возрождении русский народ сможет избавиться от материалистического коммунизма и его безбожной системы. А избавившись и восприняв принципы христианской морали с ее понятием правды, духовной свободы и *социальной* справедливости, уже легко сможет наилучшим путем построить лучшую материальную жизнь всех своих граждан" (С. Третьяков. — Курсив мой, А. Ф.)

В русском народе в СССР и сейчас есть люди, и даже много, к которым полностью применимо вышеуказанное утверждение. Автор утверждения это знает. Однако, эти духовно и религиозно возрожденные люди не делают погоды. СССР от этого не гибнет. Автор утверждения имеет в виду, конечно, возрождение народа в целом.

Автор показывает свое благородство и приверженность к духовному и религиозному миру, устанавливая для всего русского народа столь высокую цель. И кто же из нас может воз-

*Печатается в порядке дискуссии. — *Ред.*

ражать против таких возвышенных целей? В то же время, я не знаю, как автор утверждения достиг сам таких высоких целей? Он этого не говорит. Между тем, и в эмиграции (вне разлагающих и развращающих условий СССР) многие ли эмигранты могут похвастаться таким высоким духовным и религиозным уровнем? Боюсь, что очень и очень многие погрязли в тине обывательских забот, интриг, ссор и тому подобного материала обычной жизни. И есть ли хоть искра надежды, что даже они, *в массе*, когда-нибудь достигнут намеченного автором уровня? А в СССР это сделать и еще труднее. Это все относится к нам, русским. Посмотрим на все другие народы. В том числе народы, еще не испытавшие социализма. Так ли уж они благочестивы? Нет сомнений, что они ни на йоту не удовлетворяют требованию нашего автора сейчас и не будут удовлетворять и тысячу лет позднее. Да и в истории всего человечества нет ни одного народа, который бы в целом удовлетворял когда-либо требованию нашего автора.

Таким образом цель, установленная для русского народа нашим автором и платонически желаемая нами всеми, просто не может быть достигнута ни сейчас, ни даже в далеком будущем. Это под силу отдельным людям и даже в большом числе, но не народам в целом. Ставя же такую цель, автор тем самым допускает, что коммунизм в СССР будет жить вечно.

И еще одно важное замечание. Социалистическая идея тоже ставит себе весьма высокую цель: создать общество равенства, братства, свободы и социальной справедливости и добиться возрождения к этому не просто одной нации, а всего человечества. Того самого возрождения и социальной справедливости, о которых мечтает и наш автор. Есть только одна, конечно, огромная, разница между идеей автора и идеей социализма. Социализм хочет того же, что и наш автор, но без Бога, и опирается на предполагаемое всеислие человеческого разума. Наш автор идет с Богом и опирается на веру в Бога и религию. Однако, в обоих случаях задача состоит в том, как осуществить возрождение грешных людей в сторону социалистическую, без Бога, или в сторону нашего автора, — с Богом. Для достижения конечной цели социализм рассчитывает на радикальную переделку человеческой природы, и на аналогичную переделку рассчитывает наш

автор для достижения его цели. В этом разницы между идеями нет.

Если наш автор не дает ни одного намека, как осуществить или как осуществится его превращение, то социалистическая идея разработала целую серию средств для этого возрождения. Вся жизнь в СССР от рождения человека до смерти подвергается непрерывной обработке, имеющей целью это самое социалистическое возрождение, т. е. превращение человека в высшее социалистическое существо без эгоизма, без жадности, с высоким уровнем универсальных (определяемых государством) социальной справедливости, чести, доблести и геройства. Теперь, спустя 66 лет, видно, что и эта колоссальная система мер, включая страшное насилие, не имеет успеха и не в состоянии изменить человека в нужную сторону, социалистически возродить его. Наш автор о средствах даже не заикается. Спрашивается, что же он может противопоставить сверхмощным, но все равно не действующим средствам социалистической власти. Нашему автору остается уповать на Бога. Но пути Господни неисповедимы, а наш автор ни пророческого дара, ни доверенности Бога, ни особой религиозной силы не имеет. Только словеса и, конечно, его человеческая гордыня. Таким образом, утверждение нашего автора вполне эквивалентно утверждению известного А. Зиновьева, что коммунизм будет жить века.

"Покайся, русский народ!"

Вариант той же самой мысли заключается и в модном ныне призыве к покаянию всего русского народа. Опять не отдельных людей, а *всего* народа. Религия ставит гораздо более скромную и вполне разумную цель: покаяние каждого человека в отдельности. С этим призывом религия обращается к каждой человеческой личности на протяжении тысяч лет. Успех этого призыва в том, что на том же протяжении тысяч лет миллионы верующих людей исповедуются и каются в своих грехах. Каждый верующий знает, что рано или поздно он предстанет перед судом Всевышнего.

Этот всегда существовавший призыв покаяться не связан ни с рождением и падением государств, ни с революциями, ни с

марксизмом, ленинизмом и социализмом. Призыв обращен к греховной человеческой природе и, пока она существует, этот призыв будет тоже существовать. Все остальное: партии, государства, стихийные и социальные несчастья — все является *временным*. Только личность *вечна* в Боге и призыв к ней *покаяться — вечен*.

Люди, призывающие ныне покаяться сразу целый русский народ, имеют в виду, следовательно, нечто совсем *не* религиозное. Во-первых, они возлагают вину за социалистическую революцию и ее ужасы не на конкретных людей — Ленина, Сталина, Троцкого и др., а на весь русский народ. Причем народ, представители которого по своей молодости сами революции не совершали, в ней не участвовали. Во-вторых, эти призывщики почему-то выделяют именно русский народ, а не французский (начал-то в XVIII веке он), не немецкий, не китайский и др. И в России революцию делали не только русские, а и немецкие, английские, французские, американские и другие деятели и финансисты.

В-третьих, ясно, как каждый из нас может покаяться в отдельности: пойти в церковь, исповедаться и покаяться в своих грехах. Едва ли не насмешкой над религиозным ритуалом будет каяться в совершении октябрьской революции, в ее жертвах, если вы к этому отношения не имели. Это еще раз подтверждает, что призывщики имеют в виду какой-то коллективный и *не* религиозный акт.

Я тоже отношусь к русскому народу, но я ни сном ни духом не участвовал ни в революции, ни в ее ужасах. Я никогда не был коммунистом. Я считаю абсолютно нелепым участвовать в коллективном покаянии по этому поводу. Конечно, как и все, я грешен и я покаюсь, но в своих личных грехах, как это имеет в виду религия. В чем и как должен каяться целый русский народ — совершенно неясно и граничит с абсурдом. Неясно, почему, скажем, французы не должны тогда тоже каяться?

И опять возникает та же мысль. Если условием исчезновения советской власти должно быть это коллективное покаяние, то советская власть будет жить века в полной безопасности.

Опять — цель поставлена, но не показано, как ее достигнуть. Призывщики снова могут только уповать на Бога. А пути

Господни неисповедимы. Наши призывщики не пророки, не апостолы, не доверенные Бога. Все, что они имеют, так только все ту же человеческую гордыню и — словеса.

Оба очень милых рецепта борьбы с советской властью ("возрождения" и "покаяния") страдают и другими принципиальными дефектами. Во-первых, совершенно неясно, как в невероятном случае их успеха советская власть исчезнет? Каким образом исчезнет этот огромный аппарат подавления людей и управления страной? Что будет с миллионами управителей и т. д. и т. п.? Во-вторых, неясно, что придет ему на замену? Ведь религия религией, а есть еще экономика, есть еще система добывания хлеба насущного. Эта система ведь отнюдь не безразлична для духовного и религиозного возрождения. Эта система может содействовать духу и религии, а может их в корне и задушить, как та самая советская власть, против которой эти рецепты направлены. Должна быть предложена какая-то новая структура общества и государства, которая будет удовлетворять как материальным, так и духовным и религиозным целям. Об этом и наш автор и призывщики к покаянию полностью умалчивают.

Организованная оппозиция и революция

Безусловно, духовное и религиозное возрождение в СССР дадут свое дело, ослабляя советскую власть, разрушая ее влияние на людей, подрывая мораль самого аппарата власти. Однако, это не создает организованной политической оппозиции, не создает еще второго центра власти, соперничающего с основным (определение А. Штротаса). Второго центра, который бы мог повести массы на свержение власти и создание нового общества. Поэтому сам по себе этот факт духовного и религиозного возрождения прямой опасности для советской власти не представляет. Он советскую власть не свергает и ничем ее не заменяет.

В СССР условия для появления организованной оппозиции какого угодно вида и второго центра власти вообще практически отсутствуют. Советская власть не допускает даже зародышей оппозиционных организаций. Нечего и говорить о

появлении в недрах советского общества настолько мощной и организованной политической оппозиции, чтобы она могла хоть в какой-то степени создать второй центр власти и атаковать советскую власть с шансами на успех. Даже в подполье такая организация в СССР имеет очень малые шансы на успех. Это значит, что в советском государстве, пока оно основательно не развалится, и революция имеет мало шансов на осуществление. *В этом — огромное отличие социализма от любого другого строя.*

”Опасные надежды”

Вот высказывание еще одного эмигранта. ”Опасные надежды на эволюцию коммунизма надо разоблачать (этот эмигрант, как и очень многие, сохраняет для себя ризы ”хорошего” социализма незапятнанными, отмежевываясь только от ”коммунизма”. — *А. Ф.*). Никакой эволюции и никакого процветания за 65 лет коммунизма не произошло и не может произойти. Уж такова сущность коммунизма” (*Г. Алексеенко*). Вы чувствуете, как досконально этот эмигрант знает коммунизм, что даже не замечает своей голословности?! ”Уж такова сущность коммунизма!” И точка. Доказательств не требуется.

Только как же это без эволюции? Ведь все течет и все изменяется, т. е. все претерпевает эволюцию. Едва ли и сам эмигрант заостренел в своей неизменности. В СССР произошла колоссального значения эволюция. Не в том смысле, что волк превратился в барашка. Отнюдь нет. Волк остается волком. Однако, волк перестал быть молодым. Где-то в середине шестидесятых годов волк достиг полной зрелости, а с тех пор начал стареть и болеть и постепенно разрушаться. Это все тот же волк, но и зубы не так остры и прочны, и шерсть вылезает, и ноги хуже носят, да и мозги начинают волку отказывать. Какое уж тут ”процветание?” В отношении процветания эмигрант, конечно, прав, а вот насчет эволюции дал большого маху.

”Очередной миф”

Еще один эмигрант под псевдонимом ”Зарубежник”

заявляет: "Спасение России собственными силами — это очередной миф, вбиваемый в голову эмигрантов изощренными творцами известных ранее мифов". В подкрепление себе он цитирует Г. Струве: "Большевизм есть мировое явление и судьба его будет решена только на мировой арене".

Этот эмигрант явно на стороне "Благодетелей" Запада ("Новый Журнал", № 147), желающих создать Новый Мировой Порядок — все тот же мировой социализм, но централизованно управляемый не политиками, а отборными финансистами.

Вместе с "Благодетелями" "Зарубежник" восклицает: "На знамени общей планетарной борьбы человечества за выживание будет написано одно: "Спасение мира в его объединении"!"

Более чем за сотню лет до "Зарубежника" знаменитый алмазный магнат сэр Сесиль Родс (Родезия была названа по его имени) тоже стремился к объединенному миру, правда, под управлением Великобритании. Он и положил начало нынешней организации "Благодетелей" и их "планетарной деятельности".

"Зарубежник" придерживается, так сказать, варианта троцкистской теории перманентной революции. Троцкий утверждал, что судьба революции в России полностью зависит от распространения революции на весь мир. "Зарубежник" тоже говорит, что освобождение народов России от коммунизма полностью зависит от мирового движения за превращение народов мира в одну общую счастливую семью, Этого, как вы знаете, хотел Ленин, а до него Родс и "Благодетели".

"Зарубежник" ни себе ни нам не отвечает на ряд важных вопросов.

1. Когда же это может произойти? Явно, для осуществления такого грандиозного проекта и создания "счастливой семьи народов мира" потребуются века, если это вообще осуществимо и желательно, что весьма сомнительно. Как видно, "Зарубежника" не припекает. Он выживет в любом случае. А вот миллионы российских людей в СССР явно могут не выжить. Но что такое для глобальных масштабов несколько миллионов жизней российских людей?!

2. Судя по тому, как США и Запад милуются с советскими вождями, им приятнее иметь социализм в России, чем Новую Россию, которая может быть серьезным конкурентом как в

материальном, так и в духовном смысле. "Благодетели" же, от которых зависит политика Запада, и вообще считают, что социализм СССР, как таковой, великолепно вписывается в Новый Мировой Порядок, который они строят. Они совсем не хотят разрушать социализм в СССР. Их единый Новый Порядок требует единовластия, единого аппарата управления миром, чтобы все народы мира подчинялись этому аппарату и единой воле Мировых Руководителей. Создать это единовластие и единый порядок, "Благодетели" знают, можно только силой. Одних финансов для этого не хватит. Поэтому, судя по *письменным документам организации "Благодетелей"*, они больше озабочены несоответствием Новому Мировому Порядку государственного строя США и вообще Запада. Этот их Порядок-то должен управляться из одного центра, т. е. по социалистическому, а не американскому или западному образцу. Для них освобождение российских народов от коммунизма и создание Новой России будет крахом всех их замыслов. Спрашивается, на что или на кого рассчитывает "Зарубежник"?

3. "Зарубежник" явно не имеет вообще никакого представления о том, что может собой представлять эта его "счастливая семья народов мира". Почему это будет лучше, чем уже всем хорошо известная "счастливая семья народов СССР?" "Зарубежник" этого и не собирался продумывать. Он просто создал себе "очередной миф".

"Циклы в русской истории"

Еще один эмигрант (*Р. Плетнев*) отнюдь не против возможности эволюции в СССР: "Но все изменяется в ходе времени, — говорит он. — В ходе истории, в медленном *ее движении для больших перемен* властвующие изменяют формы и применения власти. Суть каждой власти, каждого класса — в неудержимости (невозможности удержать власть. — *А. Ф.*) неизменяемой власти при непрерывном течении изменяющихся обстоятельств, за которыми не может уследить и понять их установившая власть. В конечном счете, она не сможет к ним приспособиться. В СССР создан новый класс служащих и даже "служилых" людей. Идеалы его постепенно выцветают. Сама идеология, окаменев,

ветшает. Так происходит в СССР — самом центре мирового коммунизма. Процесс идет очень медленно». И еще: «Европа без славян обветшала и выдохлась. Европа без славян слаба, а славяне не освободятся от пут коммунизма без помощи России, без крупных перемен в СССР». Я даже с облегчением вздохнул: наконец-то нашелся один эмигрант, верящий в силы России и скорое освобождение! Не тут то было! »Лет 20 протекло со времени моей статьи — итоги многих лет труда — о циклах в русской истории, языке и литературе. Важные циклы — каждый около 220-240 лет. И коммунизм будет бытовать в той или иной форме еще долго в СССР». Все было бы хорошо, да вот «циклы» вмешались!!

Между тем, как можно укладывать неестественное явление коммунизма в русло естественного развития России и считать коммунизм естественным продолжением истории России? Это незаконно во всех отношениях.

С высоты открытых им «циклов» писатель Плетнев разрешает себе удовольствие меня высмеять. Федосеев, мол, бежав на Запад, заявил, что строй не выдержит и семи лет, а через десять лет, мол, снова заявляет о сроке в семь или десять лет. Писателю Плетневу, к сожалению, отказывает память: я нигде этого не заявлял. В моей книге «Западня», написанной сразу после бегства, я ставлю срок до 25 лет, т. е. примерно до 1998 года. Почему такой срок? Люди, вложив в строительство социализма всю свою жизнь, все свои силы, не могут не защищать социализм и его достоинства. Они могут даже гордиться им, трезво оценивая (для себя, но не для других) и его страшные дефекты. Эти люди есть главная сила социализма, его яростные защитники. К моему сроку (25 лет) все такие люди вымрут. Им на смену придет молодежь, которая в социализм еще ничего существенного не вложила. Их простой здравый смысл не может не вскрыть абсолютное несоответствие социализма самой человеческой природе. Это означает, что сила социализма резко ослабнет. Знаменитый нынешний официальный «новосибирский меморандум» с его свирепой критикой социализма есть тому свидетельство. (Другое дело, что за критикой нет достаточно решительных предложений реформ. Это еще будет.) Об этом свидетельствуют и предсмертные «трепыхания» Андропова. Их

неуспех свидетельствует, что у Андропова нет уже тех миллионов послушных исполнителей, как у Сталина. Сейчас я ставлю сроки 5-10-15 лет в зависимости от степени помощи социализму со стороны "Благодетелей", т. е. опять 1988-1998 годы.

Изучение истории — полезное дело. Однако, как правильно отмечает господин Плетнев, "все течет, все изменяется". Легко наблюдать в последнее столетие колоссальное ускорение хода событий. То, на что требовались раньше века, сейчас совершается в какие-нибудь десять лет. Государства появляются и гибнут на протяжении одного-двух десятков лет, а Римская империя существовала почти тысячу лет. Это ускорение хода истории — не случайность. Это закон развития всех процессов по кривой, соответствующей по форме латинской букве S. Развитие человечества происходило сначала очень медленно и незаметно. Затем — постепенно и неизбежно ускоряясь, пока не произойдет резкое изменение, подобное взрыву или революции. Завершившись этим изменением, всё постепенно успокаивается в каком-то новом состоянии. Мне кажется, мы, человечество, находимся сейчас вблизи этого "взрывного" участка, если не на нем самом. За ним последует какое-то новое состояние человечества. Какое, сказать пока невозможно.

Любопытное единодушие

Этот очерк циркулирующих в эмиграции суждений о судьбе социализма в СССР показывает поразительное единодушие этих суждений. Социализм в СССР будет жить, если не вечно, то очень долго.

Чрезвычайно характерно, что базой для этих суждений является не изучение процессов, происходящих в самом социалистическом строе, а чисто внешние соображения, вроде "исторических циклов" писателя Плетнева или циркулирующие на Западе теории типа "планетарного сознания" "Благодетелей". Довольно часто это просто доктрина эмоционально-литературного характера, как у А. Зиновьева.

Мне это единодушие не кажется случайным. Очень возможно, что для "первой" и даже "второй" эмиграции это есть следствие надежд на скорое падение режима (не может же такой

дикий, бесчеловечный строй долго существовать!) и постепенного разрушения этих надежд в результате слишком долгих ожиданий.

Однако, мне кажется, есть и еще более фундаментальная причина. Психологическая рана в результате "выдирания" всех корней своей жизни из родной почвы настолько мучительна, что кажется нелепым, что она может оказаться напрасной или полунеправдой. Что можно было бы потерпеть какие-нибудь 10-15 лет, чтобы пришло освобождение. Для очень многих других, переживших страшнейшие мучения при вращении в чужую почву и достигших желанного духовно-материального равновесия, крушение советского строя тоже создает серьезные нравственно-психологические проблемы. Возвращаться? Опять страшная ломка, мучения и к тому же неизвестность, что может получиться в России после социализма. Не возвращаться? Чувствовать себя отщепенцем от своей родной страны и тоже мучиться психологически и нравственно, не участвуя в судьбе своей страны. Поэтому для первого поколения эмигрантов безусловно подсознательно спокойнее, если советский строй будет продолжать существовать долго. Конечно, это касается политической, а не экономической или какой-либо другой эмиграции. Нечего удивляться поэтому, что карикатуры и сказки для взрослых А. Зиновьева, имеющие основу в эмоциях, а не в фактах, так популярны в эмиграции. Эти строки не есть обвинение. Ни в коем случае. Это есть просто установление факта нормальной человеческой реакции на события жизни. И нет никакой необходимости даже осознать эту свою нормальную реакцию, чтобы создавать, скажем, теорию "исторических циклов", "планетарного сознания" или сказание о "гомо советикус". Во всяком случае, моя реакция могла бы быть такой же при аналогичных событиях в моей личной жизни.

Как это ни странно, в эмиграции очень мало людей, старающихся объективно изучать процессы, происходящие в СССР. Я знаю А. Штротаса и Некрича. Они, как и я, держатся относительно коротких сроков существования строя СССР.

Фундаментальные причины близкой гибели социализма в СССР

Социализм, кроме всего прочего, есть строй, при котором все совершается по единым правилам, распространяющимся на все стороны жизни, как служебной, *так и частной* всех рядовых граждан. Источником этих правил являются не законы, как таковые, а сама единая власть, сконцентрированная в руках немногих. Поэтому правила не отличаются особым постоянством и отражают, конечно, интересы самой власти. Именно она и определяет, что такое равенство, братство, справедливость и свобода в каждом конкретном случае. (Если бы сами граждане были вольны определять, что такое равенство, братство, справедливость и свобода для каждого конкретного случая, было бы столько же разных суждений, сколько самих граждан. Единства бы быть не могло и социализм бы не мог существовать).

Нетрудно понять, что это единство суждения и вообще единовластие социализма невозможно осуществить без лишения граждан их независимости в добывании средств к жизни. Именно это лишение отдаёт граждан на милость властей предрежащих. Именно это позволяет осуществить и сам массовый террор и сконцентрировать с его помощью всю власть в руках немногих. Бесчеловечная, но вполне логичная цель массового террора — истребить всех независимо мыслящих и действующих граждан. И тех, "кто не с нами" и тех, кто с нами, но — слишком самостоятелен. Это истребление всех самостоятельных и врагов и союзников создаёт и укрепляет необходимое для социализма единовластие. Создаёт систему, в которой есть Единственный и Величайший Вождь с его командой и послушное им население.

Таким образом, социализм без ликвидации независимых средств существования граждан, т. е. без ликвидации частной собственности на средства производства, невозможен. В свою очередь, это обобществление, национализация средств производства приводит к необходимости единого управления хозяйством страны социализма. Единого потому, что необходимо сводить концы с концами (экономические балансы) в масштабе всей страны, чтобы не допустить инфляции, безработицы, наконец, просто потери управления и хаоса. Свободный рынок, как

средство управления хозяйством, естественно, неприменим. Его автоматическое регулирование было выражением регулирующих усилий совокупности прежних миллионов собственников и миллионов трудящихся.

Единственным другим способом, уже не автоматическим, управления является централизованное планирование. *Централизованное планирование становится выражением воли и интересов единовластия социализма и его мощнейшей опорой, без которой это единовластие существовать не может.*

Не только эмигранты, но и жители СССР, наблюдая действие централизованного планирования, поражаются его несоответствию здравому смыслу. Это приводит их к мысли, что все управители СССР идиоты, подлецы или абсолютно неквалифицированные люди. Это совершенно неверно. Просто если управители хотят сохранить социализм, а с ним свою власть, они вынуждены следовать законам не здравого смысла, а законам централизованного планирования. Законы же эти, безусловно, противоречат законам здравого смысла.

Централизованный план увязывает в одну огромнейшую и невероятно сложную сеть, по сути, всю деятельность всего 270 миллионного народа. Не говоря уже о невозможности для человеческого разума все это охватить и понять, система централизованного планирования действует — в точности — против своего назначения. Назначение централизованного планирования — повысить общественную производительность труда путем разумного использования всех ресурсов страны и ее творческого потенциала. Единый, разумный план всей страны, однако, ставит всех 270 миллионов участников плана (я не оговорился: и младенцы, еще в утробе матери, являются участниками плана и их потребности должны быть учтены в действиях остальных) в тесную зависимость друг от друга.

Попробуйте, скажем, повысить заготовительные цены на фрукты, чтобы их стало больше, и вы вынуждены изменить цены по всей цепочке — от производителя до потребителя. Это, в свою очередь, изменит финансовые планы Госбанка. Большее количество фруктов потребует больше тары, транспорта, больше оборудования для переработки. Придется менять планы машиностроения, добычи металлов и других материалов. И

пошла писать губерния. Весь огромный план потребует переработки, да еще такой, чтобы опять все балансы оказались правильными. Если при свободном рынке эта задача решалась миллионами участников, каждым самостоятельно, при централизованном планировании вся увязка приходится на Госплан. Это все настолько громоздко, что любые благие начинания будут буквально задушены в самом зародыше. Разумное использование и сырьевых ресурсов и созидательных ресурсов огромного населения становится невозможным. Становится невозможным даже такой простой акт, как заплатить больше за большую продуктивность, если она не была предусмотрена заранее планом. Ведь каждому предприятию приходится планировать и всю сумму зарплат работников и их численность. Исчезает полностью и индивидуальная заинтересованность в результатах труда. Заранее запланировать больше опасно: а вдруг не справишься? А не запланировал больше, не получишь большей зарплаты.

Таким образом централизованное планирование, в принципе, не дает возможности, как имеется в виду, использовать творческий, созидательный потенциал населения, даже если люди и горят желанием. Оно, в принципе, не повышает, а понижает производительность труда в стране. Абсолютная невозможность предусмотреть все миллиарды событий, воздействующих на ход выполнения плана, в огромной стране приводит, фактически, к невероятному хаосу вместо задуманного разумного порядка.

В последние годы этот хаос получает официальное признание. Предприятиям планируется производственная отдача, но не планируется необходимое обеспечение материалами, инструментами и т. п. Это обеспечение отдается на волю случая, черного рынка и блата. Это, конечно, ведет к еще большему хаосу, но хоть освобождает от безуспешного и поэтому напрасного продумывания всех производственно-снабженческих связей.

Таким образом, самое разумное централизованное планирование является самым разрушительным фактором для хозяйства страны социализма. Отказаться же от него нельзя: будет потеряно совсем управление страной, а с ним — власть. И другого способа единовластного управления обобщественным

хозяйством — нет.

Обобществление средств производства (ликвидация частной собственности на них) ведет и к другому фундаментальному фактору: государство социализма превращается в монопольного хозяина-предпринимателя, в монопольного продавца, в монопольного банкира. При этом интересы государства становятся точно такими же, как у капиталиста-предпринимателя, капиталиста-торговца, капиталиста-банкира. Государство хочет платить меньшую зарплату за большее количество и качество труда. Хочет продавать подороже, в том числе — товары низкого качества. Хочет платить низкие проценты на вклады и брать высокие проценты за займы. У всех трудящихся, практически у всего населения, интересы прямо противоположны. Если при частной собственности на средства производства интересы миллионов трудящихся противостояли интересам миллионов собственников-предпринимателей, то при социализме интересы всех миллионов трудящихся противостоят одному собственнику — государству.

Таким образом, другим фундаментальным свойством социализма, его сутью, является противопоставление личных интересов всего населения интересам социалистического государства.

От государства социализма для защиты его жизненных интересов требуется невиданная доселе сила, хитрость и, конечно, насилие, чтобы противостоять напору интересов населения. Напору совершенно неорганизованному, но абсолютно единодушному и крайне разрушительному. Трудящиеся неорганизованно, но единодушно бездельничают, "гонят" брак, воруют государственное имущество, портят по халатности материалы и инструменты, берут и дают взятки, оперируют черным рынком и т. д. и т. п.

Легко видеть, что оба фундаментальных разрушительных фактора являются прямым следствием обобществления средств производства и только их разобобществление, т. е. возвращение к частной собственности может эти факторы устранить.

Несомненно, читатель задаст вопрос, почему миллионы советских администраторов не могут заменить миллионы соб-

ственников-предпринимателей? Прежде всего потому, что управлять своей собственностью и общественной, как говорят, — две большие разницы. Наемный управляющий, как любой другой наемный трудящийся, мотивируется чувством служебного долга, интересом к работе, тщеславием и многими другими мотивами, включая страх или уважение по отношению к начальству. Однако, весь опыт человечества показывает, что наиболее надежными мотивами являются "побольше заработок и поменьше и полегче работа". Легко видеть, что наемный администратор в своем отношении к работе не отличается от любого трудящегося. Умный администратор предпочтет сговор с подчиненными антагонизму с ними на почве выжимания из подчиненных побольше труда и лучшего качества. Мотивы собственника куда сильнее. У читателя возник и еще вопрос. Эти разрушительные факторы существовали с самого начала советской власти. Почему они не действовали раньше? Ответ очень прост. Многие миллионы граждан СССР раньше всё еще рассчитывали на что-то хорошее для них от социализма. Многие миллионы просто боялись Сталина. В аппарате власти раньше было довольно много идейных людей. К середине шестидесятых годов всем стало ясно: социализм ничего людям не дает и не может дать. Весь идейный заряд и весь энтузиазм испарились полностью. Осталась неприглядная, неэффективная голая экономика социализма, нарушающая все законы здравого смысла.

Направление развития социализма сменилось на противоположное: от медленного и неуверенного подъема ко все ускоряющемуся упадку. Существенно отметить, что процесс разрушения действует не только среди управляемых, но и система управления страной и самой власти тоже подвергается воздействию указанных разрушительных факторов. Система власти постепенно теряет уверенность в себе и сама разлагается, начиная с нижних слоев ее и кончая верхушкой. Легко видеть, что эти разрушительные процессы не требуют для их действия никакой политической оппозиции или второго центра власти. Система социализма и его власти разрушается в силу присущих им свойств, в силу полного противоречия этих свойств человеческой природе. Процесс сам себя поддерживает и сам себя разжигает и ускоряет. Задержать его любыми социалистическими сред-

ствами невозможно. Что касается конечной стадии процесса ("взрывной", "революционной"), когда всё, и сама власть, придут в достаточную разруху и хаос, то, конечно, тут появятся и организованная политическая оппозиция и новые вожди и новые представления о новых целях. Система социализма будет бес- сильна на этом этапе их подавить.

Можно ошибаться в точных сроках, в точной оценке скорости развития событий, но грубое предсказание именно близкой гибели социализма вполне обосновано, если внимательно следить за ходом разрушительных процессов в СССР. Конец может наступить и раньше 1998 года. Эмиграция может ускорить процесс и тем спасти жизнь многим гражданам. Имеет очень большое значение даже слабый ручеек просветительной политической информации, проникающий сквозь проржавевший железный занавес. В условиях нынешнего кризиса жизни в СССР люди ищут и находят любую малость, которая могла бы им помочь разобраться в ситуации. В этих условиях "ручеек" приобретает значение целой реки.

Как бы мало ни влияла эмиграция на политику Запада, но и это малое имеет в нынешних условиях большое значение. Появляется все больше людей на Западе, которые ищут достоверной политической оценки происходящего в СССР. Да и политическое образование самой эмиграции начинает происходить много быстрее под давлением потока советских событий.

Выражаясь выпрненным языком, мы и с нами весь мир присутствуем при родах Новой России. Новой России, которая начнет собой новую мировую эпоху. Именно так! Новую мировую эпоху.

А. Федосеев

РУССКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Неудачный исход Крымской кампании вызвал оживление русского общества, рост национального самосознания и одновременно повлек за собой расширение революционного движения. Кончина Николая Первого и восшествие на престол Александра Второго были восприняты как новая эра в истории Русского Государства. Борис Зайцев в биографическом романе "Жизнь Тургенева" (2-е изд., 1949) так описывает шестидесятые годы прошлого столетия: "...наступили "Шестидесятые годы", сменялось царствование императора Николая более мягким — Александра II-го. Готовилось освобождение крестьян, судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на Французской революции и европейском позитивизме. "Дворянское гнездо" уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двулкая и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены — другой внося яд мелких идей, создавая ничтожества, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов, "время Великих Реформ" — и оплевывания Пушкина, непонимания Толстого, Фета, Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, "Бесов", Нечаева" (стр. 145).

По цензурному уставу 1865 г. от предварительной цензуры освобождались оригинальные сочинения объемом не менее 10 листов и переводные объемом не менее 20 листов. Этот цензурный устав облегчил выпуск периодических изданий, чему способствовала отмена запрета на издание частных газет и журналов.

Согласно уставу, с особого разрешения министерства внутренних дел освобождались от предварительной цензуры периодические издания, внесшие денежный залог в 2,5—3,5 тысячи рублей.

По 25-му параграфу устава издатели органов прессы, освобожденных от предварительной цензуры, обязывались представлять в цензурные комитеты ежедневные и еженедельные издания одновременно с началом печатания номера, все другие — за два дня до отправления подписчикам и в розничную продажу. Эта цензурная реформа в какой-то мере облегчила рост периодической печати, а внутренние побуждения для расширения печатного слова существовали уже в конце 50-х гг. Быстро рос выпуск газет и журналов, сборников, альманахов, книг. Увеличивался тираж изданий. За шесть лет, с 1855 по 1860 годы, количество издающихся журналов и газет выросло в два раза. За 25 лет, до 1870 г., в России возникло около 500 периодических изданий (газет, журналов, сборников, альманахов). В последующие четверть века число новых органов печати возросло до 1,4 тыс. По тогдашним масштабам, эти цифры были внушительны и для Западного мира. Если же учитывать численность только образованного слоя населения, то Россия, по распространению печатных изданий и по интенсивности читательского интереса к печатному слову, была на одном из первых мест в мире.

Во второй половине XIX века установились структура и характер различных типов периодических изданий. В 1891 г. выходило 227 журналов, в том числе: ежемесячных — 100, двухнедельных — 26, еженедельных — 50 и непериодических — 51. По тогдашней классификации, в том же году насчитывалось 15 общелитературных, 14 литературных, иллюстрированных, 6 юмористических, 1 философский, 6 по языкознанию, истории литературы и библиографии, 18 духовных (не считая многочисленных "Епархиальных Ведомостей"), 17 педагогических, 18 юридических и социальных, 5 исторических, 6 географических и этнографических, 7 по естествознанию, 28 медицинских, 1 математический, 34 по сельскому хозяйству, промышленности и торговле, 9 научных, 5 военных, 5 модных, 10 спортивных, 9 земских и городских, 3 народных (популярных, для населения). По некоторым видам читательских интересов журналов тогда выходило больше, чем ныне в СССР. Половина журналов выхо-

дила в Петербурге (117), 37 — в Москве, 14 — в Киеве, 5 — в Харькове, 4 — в Одессе, 3 — в Варшаве, 3 — в Казани и 44 — в других городах.

Сложился тип еженедельного или ежемесячного "тонкого" журнала: журнал художественной литературы с иллюстрациями, и юмористический или сатирический с карикатурами. Особенно большую роль сыграли в литературной жизни и общественном движении "толстые" журналы.

"Толстые" журналы — чисто русское явление. В XIX веке они заменяли книги, в них начиналась публикация почти всех крупных произведений русских писателей, таких, например, как "Война и мир" Льва Толстого, "Братья Карамазовы" Достоевского, "Отцы и дети" Тургенева и т. д. В толстых журналах систематически публиковались и крупные произведения иностранных авторов. Некоторые иностранные писатели становились постоянными корреспондентами русских журналов. Тургенев способствовал сотрудничеству Мопассана и Золя в "Вестнике Европы". Некоторые иностранные произведения появлялись в русском переводе почти одновременно с оригиналом в зарубежном издании. Роман Золя "Проступок аббата Муре" был напечатан в России раньше, чем во Франции.

Любознательность русского человека, его влечение к конкретному знанию, стремление узнать всю *правду* о себе, о своей стране, об окружающем мире свидетельствуется популярностью универсальных толстых журналов объемом в 20-30 листов, с самой широкой программой — литературно-художественной, общественно-политической, экономической, аграрной и промышленной, историко-географической, научно-технической, с разделами, посвященными искусству и культуре.

Почти все толстые журналы XIX века уделяли серьезное внимание иностранной хронике, зарубежной литературе, причем в объеме, какого не могли себе позволить иностранные издания. Русский образованный человек значительно больше знал о духовном мире соседей, чем они знали о России и о русских людях.

Ф. Достоевский в "Пушкинской речи" не преувеличил, когда сказал: "Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать

вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите”.

Здесь я назову наиболее известные, выходявшие десятилетиями во второй половине XIX века толстые журналы, часть которых просуществовала до октября 1917 г. и, по инерции, борясь с запретами, печаталась еще некоторое время, пока эти журналы окончательно не прикрыли те, кто, до прихода к власти, так неистово ратовал за свободу слова, за свободу печати.

В течение многих лет в русской журналистике и в общественном мнении погоду создавали пять толстых журналов, на страницах которых появились выдающиеся произведения крупнейших русских писателей и статьи наиболее серьезных публицистов и критиков: "Современник" (1836-46; 1847-1866), "Отечественные Записки" (1839-1884), "Русский Вестник" (1856-1908), "Вестник Европы" (1802-1836, 1866-1918), "Русская Мысль" (1880-1918).

Первым русским толстым журналом объемом до 30 листов была "Библиотека для чтения", издававшаяся книгопродавцом А. Ф. Смиридиным с 1834 г. Издание было рентабельным, самокупающимся ("торговое направление" в русской журналистике), так как имело достаточное число подписчиков. Просуществовал журнал до 1865 г. Первым его редактором был О. Сенковский ("Барон Брамбеус"), после него редакторами были: А. Старчевский, А. В. Дружинин, А. Ф. Писемский, П. Д. Боборыкин (1863-1865).

На страницах этого журнала появлялись имена таких крупных русских поэтов, прозаиков и драматургов, как А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Даль, И. Гончаров, Н. Полевой, А. Островский, Л. Толстой, А. Фет, А. Майков. Мировая литература была представлена переводами сочинений Жорж Санд, О. Бальзака, А. Дюма (отца), Э. Сю, У. Теккерея.

В последние годы существования журнала его критический отдел вели революционеры-демократы и народники П. Лавров, П. Ткачев, Н. Шелгунов. С их приходом в редакцию, вероятно, и начался отлив наиболее талантливых писателей, а также постепенный упадок журнала, приведший к его закрытию.

Первый "Современник" был основан Пушкиным и выходил

с 1836 по 1846 г. Последним его редактором был П. Плетнев, который передал права на издание журнала под этим названием И. Панаеву и Н. Некрасову. Обновленный журнал занял видное место в русской периодике 50-60-х гг. В послереволюционной печати утверждается, что достоинство и значимость этого журнала определяется его последовательным революционно-демократическим направлением. На деле, тогдашнюю широкую читательскую массу журнал интересовал, в первую очередь, тем, что на его страницах появлялись произведения всех тогдашних крупных писателей — И. Гончарова, Д. Григоровича, И. Тургенева, Л. Толстого, дебютировавшего в 1852 г. повестью "Детство", драматурга А. Островского. В 1854 г. в отделе "Литературный ералаш" впервые появился на свет "Козьма Прутков" (братья А. М. и В. М. Жемчужниковы, А. К. Толстой).

Поэзия в журнале была представлена А. Майковым, Н. Некрасовым, Я. Полонским, А. К. Толстым, Ф. Тютчевым, А. Фетом.

Чтобы удержать в журнале Григоровича, Островского, Толстого и Тургенева, не разделявших политических взглядов Некрасова и Чернышевского, которые диктовали направление "Современника", редакция пошла на соглашение с ними. По договору 1856 г. эти писатели обязались помещать свои произведения только в "Современнике", а за это они приобретали право участвовать во всех делах журнала и получать, кроме гонорара, определенную долю тех доходов, которые оставались после покрытия всех расходов по изданию. Для писателей материальная сторона соглашения играла второстепенную роль. Но они ошибочно полагали, что так они приобретают большее влияние на редакцию и смогут направлять журнал по либеральному пути, отличному от того, который диктовали Чернышевский и Некрасов. Попытка представителей либеральной и эстетической критики — Дружинина, П. Анненкова, Боткина, Григоровича — преодолеть влияние Чернышевского, и позже Добролюбова, успеха не имела. Журнал все больше и больше склонялся к участию в революционной борьбе. Раскол был неминуем... В 1858-1860 гг. из "Современника" ушли все литераторы либерального направления. Последним ушел Тургенев, который отдал Некрасову "Дворянское гнездо" в обмен на право

второго издания "Записок Охотника", уступленных ранее за тысячу рублей Некрасову. Тургенев же перешел в "Библиотеку для чтения", которую вели Дружинин и Писемский.

После ухода этих крупных писателей "Современник" в предреформенное время завершил переход на позиции революционного демократизма. Журнал превратился из литературного журнала в толстый общественно-политический и литературно-художественный с доминированием публицистов и писателей лево-демократического направления. В отделе прозы стали сотрудничать М. Салтыков-Щедрин, Н. Помяловский, Н. Успенский, В. Слепцов, М. Л. Михайлов, В. Курочкин. На смену критикам эстетического направления пришли Н. Шелгунов, М. Антонович, Г. Елисеев, позднее — А. Н. Пыпин, Ю. Жуковский. Критика в "Современнике" поблекла, беллетристика — посерела. Если в 1862 г., по инерции, тираж журнала стоял высоко, доходил до 6,6 тыс., то затем он стал катастрофически падать. За призывы к крестьянской революции и антиправительственные выступления журнал получил несколько предупреждений и летом 1862 г. был на восемь месяцев запрещен. Вскоре был арестован Чернышевский, а еще ранее, в 1861 г., умер Добролюбов.

С февраля 1863 г. "Современник" удалось возобновить, но он уже потерял все симпатии читателей. Новая его редакция — Некрасов, Салтыков-Щедрин, Елисеев и Пыпин — не сумела удержать старых подписчиков, приобрести новых и привлечь к себе известных и любимых читательскими кругами писателей. В июле 1866 г. после покушения Д. Каракозова на жизнь Александра II журнал был закрыт "за вредное направление". Независимо от правительственного решения, в этом году журнал, вероятно, и так бы закончил свое существование.

Через много лет, в 1911 г., публикация нового журнала "Современник" возобновилась. Это был ежемесячный журнал литературы, политики, науки, истории и общественной жизни. Редактировал журнал А. Амфитеатров при содействии М. Горького. Программа журнала была эклектичной — и в литературе и в политике. Тем не менее, в нем помещали свои произведения такие крупные писатели, как А. Белый, А. Блок, Н. Клюев, Шолом-Алейхем и оказавшиеся впоследствии в эмиграции

И. Бунин, А. Ремизов, Саша Черный, Е. Замятин. Уделялось внимание и иностранной литературе. Журнал просуществовал до 1915 г.

Первый ежемесячный толстый журнал, носивший название "Отечественные Записки", издавался П. П. Свиныным в 1820-1830 гг. Под тем же названием в 1839-1867 гг. с большим успехом журнал издавался А. А. Краевским. Ведущим сотрудником, а в дальнейшем и главным редактором состоял либеральный деятель, представитель эстетической критики С. С. Дудышкин, противник революционно-демократической публицистики. Вначале, в лучшие годы своего существования, "Отечественные Записки" были умеренным либеральным органом. Редакции удалось привлечь к сотрудничеству известных русских писателей, крупных ученых и популярных публицистов. В журнале помещались статьи и очерки либеральных деятелей антикрепостнического направления, таких, как П. В. Анненков, В. П. Боткин, А. А. Галахов, Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. А. Милютин. Критический отдел журнала долго вел В. Белинский, покинувший редакцию в 1846 г. из-за расхождений с умеренно-либеральными взглядами руководства и перешедший в "Современник".

По рекомендации Тургенева в редакцию был принят молодой талантливый критик В. Н. Майков (брат поэта А. Н. Майкова), успешно заменивший Белинского. К сожалению, его сотрудничество в журнале было недолгим: он умер 25 лет от роду, в 1847 г. Тем не менее, за 15 месяцев работы в "Отечественных Записках" он успел опубликовать около 110 статей и рецензий. После него критический и библиографический отдел вел Дудышкин.

В 40-х гг. "Отечественные Записки" в лице своих критиков и публицистов популяризировали реализм "натуральной школы", пропагандировали западничество, придерживались идеалистической философии.

В конце 40-х и в первой половине 50-х годов "Отечественным Запискам" удалось ознакомить своих читателей со многими видными русскими писателями. Назовем некоторых из них, тех, кто чаще всего печатался в журнале: М. Лермонтов, А. Вельтман, А. Кольцов, гр. В. Сологуб в первые года, а затем —

А. Дружинин, В. Даль, А. Герцен, Д. Григорович, Н. Некрасов, А. Плещеев, Н. Огарев, Ф. Достоевский, опубликовавший в 1846 г. второе свое произведение "Двойник" (первое, "Бедные люди", вышли в "Петербургском Сборнике"). В "Отечественных Записках" вплоть до 1856 г. печатались И. Тургенев, А. Писемский, Н. Лесков, И. Гончаров ("Обломов" в 1859, главы из "Обрыва").

Из поэтов в журнале эпизодически помещали свои стихи и поэмы А. М. Жемчужников, В. Курочкин, поэтесса Каролина Павлова, А. Майков, Я. Полонский, А. Фет, Н. А. Щербина. Драматургия редко появлялась на страницах журнала: несколько пьес дали журналу Л. А. Мей и Н. А. Потехин.

В "Отечественных Записках" регулярно публиковались переводы произведений иностранных авторов, таких, как Ч. Диккенс, Жорж Санд и др. Популярности журнала много способствовали статьи на общественно-экономические темы, принадлежавшие перу лучших публицистов и ученых страны. К сотрудничеству в журнале привлекались крупнейшие русские ученые, специалисты по общей истории и истории литературы, филологии, этнографии, языковедению. Как отмечает А. Н. Степанов во втором томе "Очерков по истории русской журналистики и критики", изданном Ленинградским университетом: "Наиболее постоянным, выдержавшим испытание временем, являлся отдел "Науки и художества"... В 50-х годах журнал становится одним из тех периодических органов, где начала складываться академическая школа филологической, исторической, этнографической и фольклористической науки. Большое место в "Отечественных Записках" занимали публикации, статьи и рецензии, посвященные естественным и точным наукам: химии, физике, астрономии, биологии, математике и т. п. Журнал часто обращался к теоретическим вопросам ведения сельского хозяйства и развития промышленного производства. "Отечественные Записки" регулярно информировали читателей о новых открытиях отечественных и зарубежных естествоиспытателей. В журнале часто публиковались переводы статей и заметок, взятых из зарубежной прессы. Все это способствовало популярности "Отечественных Записок" среди интеллигенции".

В научном отделе журнала принимали участие многие акаде-

мики, например, филолог и искусствовед Ф. И. Буслаев, историк и филолог А. И. Афанасьев, почетный член Академии, историк и археолог И. Е. Забелин, литературовед А. Пыпин, историк С. М. Соловьев, славист и этнограф И. И. Срезневский, литературовед и археограф, крупнейший представитель русской культурно-исторической школы Н. С. Тихонравов, Б. И. Ордынский.

Высокий уровень материалов всех отделов журнала в 40-50-х гг. привлекал подписчиков из самых разных слоев русского общества и создал "Отечественным Запискам" репутацию лучшего русского толстого журнала. Редакция журнала в целом долго придерживалась аполитического направления, хотя критический отдел и не стоял на нейтральных позициях. После ухода Белинского, журнал повел открытую полемику с "Современником", обвиняя, в частности, Чернышевского и Добролюбова в крайности взглядов, недостаточной любви к родине, критикуя грубый и непозволительный тон их отзывов, непоследовательность их критических, пристрастных суждений о творчестве некоторых писателей.

Журнал защищал позицию Гоголя, высказанную им в "Выбранных местах из переписки с друзьями", от грубых нападков и огульного осуждения со стороны революционных демократов, осуждения, которое затем стало общим местом и в советской критической литературе, следующей за грубо-поучительными нападками Белинского в его Письме к Гоголю.

Но вот, относительно недавно один из советских литературоведов, И. Золотусский, в книге "Гоголь" (из биографической серии ЖЗЛ, 1979) попытался объективно оценить позицию Гоголя в "Выбранной переписке": "Выражая себя, русский писатель преследовал *цель* — облагородить русскую жизнь, привести ее хотя бы в некоторое соответствие с идеалом". И далее Золотусский писал о смысле расхождений Белинского и Гоголя: "Белинский предлагал усовершенствовать общество, Гоголь — каждую "единицу" общества". Точка зрения И. Золотусского была расценена как отступление от не подлежащей переоценке точки зрения на Письмо Белинского к Гоголю, которое Ленин считал одним "из лучших произведений... демократической печати, сохранившим громадное живое значение и по сию пору".

С 1858 г. в "Отечественных Записках" много места уделя-

лось подготовке к крестьянской реформе. Через год журнал из учено-литературного ежемесячника преобразовался в политически ориентированный журнал. В нем, одном из первых русских печатных органов, началась полемика с Герценом, разрешенная цензурой. В постоянном отделе "Современная хроника России" публиковались царские манифесты, указы, правительственные распоряжения, законодательные постановления и другие официальные материалы.

В середине 60-х гг. в критическом отделе журнала публикуются обзорные и переводные статьи информационного характера, авторами которых были Н. В. Альбертини, академик, историк К. Бестужев-Рюмин (создатель знаменитых Высших Женских Курсов), член-кор. Академии Наук, философ-идеалист и публицист Н. П. Страхов, публицист С. С. Громека. Однако, журнал не удалось удержать на прежнем уровне, и он начал тускнеть. Были и другие причины потери подписчиков. В 1865 г. было решено перевести "Отечественные Записки" на двухнедельный выпуск. А 1866 году умер Дудышкин и перед издателем Краевским встал вопрос о том, кому передать ведение журнала. В середине 1866 г. был закрыт "Современник", Некрасов и Салтыков остались не у дел. Зная их издательский опыт и имея в виду с их приглашением получить подписчиков закрытого "Современника", Краевский, не считаясь с тем, что новые редакторы могут изменить политическое лицо журнала, решил передать его ведение Некрасову. В течение десяти лет, до самой своей смерти 8 января 1878 г. Некрасов возглавлял "Отечественные Записки" в сотрудничестве с Салтыковым-Щедриным и Г. З. Зайцевым. После смерти Некрасова в редакцию вошел Н. К. Михайловский. Краткая Литературная Энциклопедия уверяет, что в это время "Отечественные Записки" становятся лучшим демократическим журналом.

В отделе критики у руководства недолго стоял Д. И. Писарев (ум. в июле 1868 г.), потом — А. М. Скабичевский и критик-народник Чернышевский, в публицистике — Г. З. Елисеев, С. Н. Кривенко и другие представители народничества, сторонники утилитарного направления, противники эстетической критики.

В беллетристике тон задавали представители критического

реализма, натуралистической школы, писатели-народники. Из крупных писателей печатались Шедрин, Островский, Г. Успенский, А. Плещеев, и в последние годы существования журнала — Д. Н. Мамин-Сибиряк, поэт Надсон, поэт-революционер П. Ф. Якубович. Тираж "Отечественных Записок" в 60-е годы составлял свыше 4,5 тыс., максимальный тираж — 5,9 тыс. экземпляров в 1877 г. (второе место после "Вестника Европы").

В апреле 1884 г. "Отечественные Записки" были закрыты правительством, так как журнал "не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ".

Три раза в русской журналистике всплывало название журнала "Русский Вестник". В 1808-1834 гг. под этим названием выходил журнал, бывший монархическо-патриотическим органом. Вторым "Русским Вестником" был журнал, который выпускал в 1841-1844 гг. в Петербурге Н. Греч в тесном сотрудничестве с Н. Полевым. Направление "Русского Вестника" было тогда уверенно-монархическим.

В 1855 г. профессор Московского Университета, М. Н. Катков, издававший в Университете газету "Московские Ведомости", возбудил ходатайство о предоставлении ему права издавать журнал "Русский Вестник". С января 1856 г. начался выпуск этого журнала как двухнедельного издания (4 номера — том, 6 томов в год). Редакцию составляли сотрудники Каткова по "Московским Ведомостям" — журналист, профессор греческой словесности П. М. Леонтьев, общественный деятель и историк П. Н. Кудрявцев, проф. Е. Ф. Корш.

С 1861 г. "Русский Вестник" стал толстым ежемесячником с двумя отделами: научно-литературным и хроникально-политическим ("Современная Летопись"). В первом помещались статьи на исторические, экономические, литературоведческие темы, а главное место занимала художественная литература. "Современная Летопись" имела свой титульный лист и свою пагинацию. В ней печатались политические новости, внутренняя хроника, рецензии на исторические, научные и литературные произведения.

Программа "Русского Вестника" вначале была умеренно-

либеральной, антикрепостнической и по своему направлению удовлетворяла взглядам многих известных русских писателей. Поэтому с первых же номеров на страницах журнала появились имена тех из них, кто не разделял идеологии революционных демократов и ушел из "Современника" и "Отечественных Записок", как только эти журналы дали резкий крен влево. Среди этих писателей — И. Гончаров, гр. А. Толстой, гр. Л. Толстой, Я. Полонский, И. Тургенев, А. Фет. Сотрудниками "Русского Вестника" стали также Ф. Достоевский, Н. Лесков, В. Курочкин, Д. Минаев, А. Плещеев, Марко Вовчок (М. Маркевич), Д. Григорович, М. Михайлов, Н. Огарев, А. Островский, А. Писемский, П. Мельников-Печерский и др.

На страницах "Русского Вестника" в шестидесятые годы появляются крупнейшие произведения русских классиков. Тургенев после разрыва с "Современником" печатает у Каткова "Накануне" (1860), "Отцы и дети" (1862), "Дым" (1867), рассказ "История лейтенанта Ергунова" (1868), рассказ "Несчастливая" (1869). Сотрудничество Тургенева с Катковым прервалось к началу 1870 г., когда Катков занял крайне националистическую позицию, а также и по некоторым личным мотивам Тургенева.

Лев Толстой опубликовал в "Русском Вестнике" "Семейное счастье" (1858-1859), "Казачи" (закончены в 1863), "Поликушка" (1863); в 1865-1866 в журнале были напечатаны две первые части "Войны и мира" под названием "1805 год"; в 1875 начался печатанием роман "Анна Каренина", но, ввиду разногласий Толстого с Катковым по вопросу о сербской войне, окончание романа не попало в "Русский Вестник".

Достоевский оставался верным "Русскому Вестнику" до конца. Почти в течение всего 1868 г. на страницах этого журнала печатался "Идиот"; в 1871-72 гг. — "Бесы". Достоевский пообещал дать Некрасову "Подростка" для "Отечественных Записок", но самый крупный и последний свой роман — "Братья Карамазовы" — он снова отдал Каткову для "Русского Вестника".

Из приведенного списка произведений русских классиков, появившихся на страницах журнала, видно, что их лучшие романы 60-70-х гг. опубликовал Катков. И даже Салтыкову-Щедрину пришлось отдать в 1857 г. "Губернские очерки" своему политическому врагу — так высоко стоял престиж этого жур-

нала в те годы.

Революционный нигилизм 60-70-х гг. не мог не вызвать ответной волны. Лучшие антинигилистические романы появились в "Русском Вестнике". Их публикацию открывает "Взбаламученное море" А. Писемского (1863), "Марево" В. П. Ключникова (1864), "Панургово стадо" Вс. Крестовского (1869) и "На ножах" Лескова (1870-71). Первый антинигилистический роман Лескова "Некуда" был опубликован в "Библиотеке для чтения" в 1864 г. Близкими по направлению, но ниже по художественному уровню были последующие антинигилистические романы, опубликованные в "Русском Вестнике" — Д. Аверкиева, В. Авсеенко, Б. Маркевича (середина 70-х гг.).

Постоянного и широкого критического отдела в "Русском Вестнике" не было. Критические статьи писал сам Катков, периодически печатались П. Анненков, В. Боткин, А. Галахов, в 80-е гг. — К. Леонтьев и Лев Тихомиров. В отделе "Современная Летопись" помещались, главным образом, краткие рецензии на литературу по широкому кругу вопросов — история, политэкономия, естественные науки, аграрные и экономические издания; публиковались отклики на художественную литературу и издания по искусству.

После смерти Каткова в 1887 издание "Русского Вестника" продолжала его вдова С. П. Шаликова при редакторстве Д. И. Церетелева. В том же году Ф. Н. Берг откупил издание журнала и перевел его в Петербург. В 1896 г. редактором был Д. И. Стахеев, вскоре передавший журнал сыну Каткова, который снова перевел журнал в Москву. С 1902 г. "Русский Вестник" опять в Петербурге, где его редактировал В. В. Комаров. После смерти Каткова-отца журнал потерял былые позиции в русской журналистике и постепенно захирел, закрывшись в 1906 г.

Одним из значительных журналов первой половины XIX в., оставившим заметный след в истории русской периодической печати, вне сомнения, был "Вестник Европы", основанный в 1802 г. Н. М. Карамзиным. Журнал просуществовал до 1830 г. Историк и писатель Карамзин редактировал его два года, после него занимал редакторское кресло М. Каченовский. Он вел журнал 15 лет. В "Вестнике Европы" были опубликованы первые

стихотворения Пушкина, в разное время помещали свои произведения Жуковский, Г. Державин, П. Вяземский, К. Батюшков, Н. Гнедич.

Профессор Петербургского Университета в отставке М. М. Стасюлевич, решив издавать новый журнал, воспользовался названием когда-то популярного "Вестника Европы". Как раз в это время подходило столетие со дня рождения основателя прежнего "Вестника Европы" Карамзина. Наметив для начала сравнительно узкую историческую программу, Стасюлевич в обращении в Главное Управление по Делах Печати заверял, что будет следовать правительственным основаниям. Журнал начал выходить в 1866 г.; его успех позволил значительно расширить и дополнить первоначальную программу, выпускать журнал не раз в три месяца, а ежемесячно. С 1868 г. "Вестник Европы" стал толстым журналом с двумя отделами: первый отдел — художественная литература, статьи и очерки научного характера; второй отдел — сообщения и обзоры на темы внутренней и зарубежной жизни, политические статьи, комментарии к текущим событиям. В конце каждого номера прилагался библиографический листок.

Второй "Вестник Европы" оказался одним из "долгожителей" в русской периодической печати: он просуществовал свыше полувека (до 1918 г.) и прекратил свое существование, будучи приостановлен постановлением советского правительства. Его редактор, М. М. Стасюлевич, просидев 42 года в редакторском кресле, оказался Мафусаилом журналистики. В конце 1908 г. больной 82-летний Стасюлевич передал издательство М. М. Ковалевскому, журнал редактировал Арсеньев. С 1913 г. редактор-издатель — Д. Н. Овсяннико-Куликовский.

"Вестник Европы" занимал определенное и ясное положение в русской периодической печати второй половины XIX и начала XX века.

Г. А. Савенков в своей статье о "Вестнике Европы" (во 2-м томе "Очерков по истории русской журналистики и критики", ЛГУ, 1965 г.) дает вдумчивую и объективную оценку журнала: "Вестник Европы", признававший Манифест 1861 г. "величайшим историческим актом", стоял за продолжение политики реформ, видя в этом залог "расцвета и благосостояния страны" и одно из

средств "успокоения умов". Объединив вокруг себя сторонников конституционного строя, журнал организовал стойкую оппозицию так называемому "попятному движению" — от реформы к крепостному праву... Отрицательно относясь к революционным методам борьбы, "Вестник Европы" в то же время выступал за такие реформы, которые превратили бы Россию в конституционно-монархическое государство. Журнал поддерживал преобразования в области просвещения, науки, культуры, искусства. Много места публицисты "Вестника Европы" уделяли земской реформе, положению малых народностей России. Они критиковали, оперируя частными примерами, отдельные несообразности русского законодательства, приводили некоторые факты административного произвола".

"Вестник Европы" играл большую роль в общественной жизни страны, никогда не уклоняясь от обсуждения самых острых проблем, волновавших в те годы русскую общественность, таких, например, как вопрос о пути, по которому должна пойти Россия в будущем. С самого начала своего существования журнал открыто проявил отрицательное отношение к революционным методам борьбы. Журнал враждебно относился к марксизму, к русским марксистам и социал-демократии.

Следует отметить, что журнал поддерживал только те правительственные реформы, которые расширяли рамки свободы и служили "европеизации" и демократизации государственного устройства. Эта позиция журнала заставляла правительство настроенно относиться к выступлениям журнала по вопросам внутренней политики. А. Савенков приводит выдержку из архивных материалов министерства внутренних дел за 1878 г., касающуюся направления журнала: "Вестник Европы", имеющий многочисленных читателей, преимущественно высшего и образованного класса общества, является одним из весьма влиятельных органов нашей периодической печати. Большинство серьезных статей "Вестника Европы" пишется людьми талантливыми и специально изучившими свой предмет, почему мнения, выражаемые ими, не могут проходить бесследно для общества. Как в этих серьезных статьях, так равно и в беллетристике и в прочих отделах издания, взгляды редакции проводятся весьма осторожно. Тем не менее, взгляды эти совершенно ясны

для постоянных читателей. "Вестник Европы" при всяком удобном случае стремится выставить неудовлетворительность существующего устройства России и преимущество представительного образа правления. Большая часть законодательных и правительственных распоряжений, особенно по министерству народного просвещения, находят в нем весьма строгую и в большинстве случаев небеспристрастную оценку. Подкладкою всему, что пишется в этом журнале, служит... благоговение перед всем западноевропейским".

С 1870-х гг. постоянными подписчиками "Вестника Европы" становятся, наряду с читателями из широких слоев интеллигенции, также и представители профессуры, крупные чиновники, занимающие высокое положение в правительственных кругах. И. С. Тургенев, поздравляя 1/13 января 1880 г. Стасюлевича с русским новым годом, между прочим, писал ему из Парижа: "Кстати, угадайте, кто на днях говорил со мною о "Вестнике Европы" и его направлении в самых лестных выражениях?.. Великий князь Николай Николаевич, с которым я... охотился у Гюнцибурга на фазанов".

Большое место уделялось в журнале очеркам, исследованиям и прозаическим произведениям на темы и сюжеты русской и мировой истории. Авторами были известные историки и критики Н. И. Костомаров, А. Д. Галахов, К. К. Арсеньев, М. П. Погодин, А. Ф. Кони, А. Н. Пыпин, С. М. Соловьев, Д. Л. Мордовцев и сам М. Стасюлевич. К названным именам следует присоединить еще сотрудников отдела "Внутреннее обозрение" и "Общественная хроника" — К. Д. Кавелина, В. Д. Спасовича, Л. П. Гроссмана, В. С. Соловьева, Ю. Г. Жуковского (критика марксизма и учения К. Маркса, в частности), Е. И. Утина.

Очень удачно велся отдел художественной литературы. Тургенев, после ухода из "Русского Вестника" Каткова, все свои произведения неизменно публиковал в "Вестнике Европы". На страницах этого журнала были опубликованы: "Бригадир" (1868, № 1), "Воспоминания о Белинском" (1869, № 4), "Вешние воды" (1872, № 1), "Пунин и Бабурин" (1874, № 4), "Часы" (1876, № 1), "Новь" (1877, № 1), "Песнь торжествующей любви" (1881, № 11), "Стихотворения в прозе" (1882, № 12), "Клара Милич" (1883,

№ 1).

Из классиков в "Вестнике Европы", кроме Тургенева, печатался Гончаров ("Обрыв", "Мильон терзаний"), А. Н. Островский ("Василиса Мелентьевна", "Снегурочка", "Дикарка"). В 80-е гг. Салтыков, оставшийся не у дел после закрытия "Отечественных Записок", был принят Стасюлевичем, который, впрочем, не разделял его взглядов. Салтыков опубликовал в "Вестнике Европы" "Пестрые письма", "Мелочи жизни", "Пошехонскую старину". П. Боборыкин вошел в редакцию в конце 1873 г. и сотрудничал в нем десятки лет. Здесь им были опубликованы "Перевал", "Полжизни", "Китай-город" и др., обработана переписка П.-Ж. Прудона.

Из других писателей, пользовавшихся успехом у читателей, в "Вестнике" печатались Г. Данилевский ("Девятый вал", "Мирович"), А. Потехин (комедия "Выгодное предприятие", повести "Хворая", "На миру", "Побеги", роман "Около денег" и др.). Надо упомянуть также Д. Мамина-Сибиряка, Н. В. Успенского и А. И. Эртеля.

Поэзия в журнале была представлена стихотворениями Я. Полонского, Вл. С. Соловьева, А. К. Толстого, А. Плещеева, первых декадентов — З. Гиппиус, Н. Минского.

Большое литературно-историческое значение имела публикация в журнале мемуаров И. И. Панаева, П. В. Анненкова, Ф. И. Буслаева, Софии Ковалевской. Из литературоведов, более или менее регулярно публиковавшихся в "Вестнике Европы", следует отметить академика Александра Н. Веселовского и его брата Алексея Н. Веселовского, А. Н. Пыпина, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, Н. Котляревского, М. И. Семевского.

В. В. Стасов, игравший большую роль в общественной жизни страны, долгие годы выступал на страницах "Вестника Европы" со статьями о музыке, живописи, скульптуре, о композиторах и художниках.

Благодаря стараниям И. С. Тургенева читатели журнала могли познакомиться в переводах с произведениями французских писателей. Не только романы Золя переводились журналом. Редакция пригласила писателя к публицистическому сотрудничеству. Регулярно печатались его письма-обзоры.

“Вестник Европы” поместил подробное изложение романа братьев Гонкур “Жермини Лясертэ”. Тургенев перевел для журнала два произведения Флобера “Легенду о св. Юлиане Милостивом” (под заглавием “Католическая легенда о св. Юлиане Милостивом”) и “Иродиаду”.

Упомянув имена русских ученых И. Мечникова, И. Сеченова и К. Тимирязева, Савенков пишет, что их выступления в журнале свидетельствовали о высоком уровне развития отечественной науки, общественной мысли. Возможность печататься в издании, выходящем многотысячным тиражом, позволила крупнейшим русским ученым широко популяризировать достижения русской и иностранной науки. Действительно, тираж “Вестника Европы” по тем временам был очень высок. К середине 70-х гг. он достигал 8 тысяч экземпляров.

После февральской революции “Вестник Европы” поддерживал Временное правительство и вел активную борьбу с большевистским влиянием. В 1918 г. его постигла судьба всех либеральных и даже умеренно-революционных и демократических журналов — в Советском Союзе не было места для свободы печати.

5 марта 1879 г. проситель В.М. Лавров (хлеботорговец и меценат) и будущий редактор С.А. Юрьев получили разрешение Главного Управления по Делах Печати на издание журнала “Русская Мысль”. Первый номер журнала вышел в свет в январе 1880 г. Закончила свое существование “Русская Мысль” в 1918 г., на второй год существования советского строя.

В прошлом Юрьев редактировал славянофильский журнал “Беседа” (1871 — 1872). Он привлек в редакцию “Русской Мысли” бывших сотрудников “Беседы” во главе с А.И. Кошелевым и членов московского профессорского кружка, в который входили такие видные ученые, как историк В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров и др. Славянофильские идеи не имели особенного успеха и уже в 1881 г. в редакцию приглашаются народник Н. Н. Златовратский (бывший сотрудник “Отчественных Записок”), либеральные публицисты А. Головачев, В. Ю. Скалон, барон Н.А. Корф и др.

С 1882 г. меняется структура журнала по образцу, общепринятому для толстых журналов. “Русская Мысль” выходит как

ежемесячный научный, исторический, политический и литературный журнал.

С 1886 г. состав публицистов журнала пополнился революционером-демократом Н. Шелгуновым, ранее сотрудничавшим в закрытых цензурой "Современнике", "Русском Слове" и "Веке", где он выступал преимущественно как экономист и социолог. В 60-70-х гг. он критиковал антинигилистические романы, был сторонником утилитарного искусства, критиковал И. Тургенева, Л. Толстого и даже Салтыкова-Щедрина. В течение пяти лет сотрудничества в "Русской Мысли" вел "Очерки русской жизни", опубликовал там же воспоминания "Из прошлого и настоящего" (1885-86).

Статьи Шелгунова и некоторых других публицистов дали повод К. Н. Леонтьеву, бывшему в 80-х гг. цензором Московского Цензурного комитета, определить направление "Русской Мысли" как "либерально-социалистическое" или "мирно-революционное". Фактически, направление журнала никак нельзя было назвать революционным; в его руководстве стояли лица, далекие от революции — искренние либералы, такие, как конституционалист по убеждению Б. А. Гольцев, ставший после ухода Юрьева в 1885 г. одним из официальных руководителей "Русской Мысли".

Журнал много внимания уделял крестьянскому вопросу, который рассматривался в статьях историков В. О. Ключевского, В. И. Семевского, историка народнической ориентации И. И. Иванюкова. Гольцев писал, что великое государство создано "неустанною и тяжелою работою русского мужика" и "пора государству поработать на мужика", а для этого власти необходимо опереться на "здоровые силы русской интеллигенции". В журнале регулярно печатались земско-статистические исследования.

Популярность журнала быстро росла и число подписчиков особенно возросло с 1884 г. после закрытия "Отечественных Записок". При посредничестве Салтыкова, согласившегося сотрудничать в "Русской Мысли", в журнал перешло 4,5 тыс. подписчиков из 7,0 тыс., ранее получавших "Отечественные Записки". Передан был и весь имевшийся там литературный материал.

Со второй половины 80-х гг. значительно расширился литературно-художественный и критический отдел журнала. Больше стало публиковаться статей по искусству, культурной жизни страны. Из видных писателей и поэтов публиковались Лев Толстой, В. М. Гаршин, Д. Григорович, А. Майков, В. Г. Короленко, Д. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, Г. Успенский, беллетрист-народник Н. Е. Каронин-Петропавловский. А. Чехов поместил в журнале "Мужиков", "Палату № 6", "Дом с мезонином", "Остров Сахалин" (1893-94), М. Горький — "Супругов Орловых". В 1890-1900-х годах в "Русской Мысли" сотрудничали П. Боборыкин, Вас. Немирович-Данченко, Н. Г. Гарин-Михайловский, И. Н. Потапенко, Д. С. Мережковский. Польские писатели — Г. Сенкевич и Э. Ожешко были представлены на страницах этого журнала. Критический отдел в разное время вели Н. Михайловский, А. М. Скабичевский и С. А. Венгеров. В 1910-е годы литературным отделом руководил В. Я. Брюсов, критическим — З. Гиппиус. После революции 1905 г. журнал стал органом кадетов и редакцию возглавили А. А. Кизеветтер и П. Б. Струве. После закрытия журнала советской властью бывшие его сотрудники, выехавшие за границу, выпускали его в 20-30-х гг. в Софии, Праге, Париже, Белграде. Издавал "Русскую Мысль" П. Б. Струве.

Следует упомянуть еще один толстый журнал, который просуществовал свыше полувека "Русское Богатство" (1876 — 1918). Журнал был органом писателей народнического направления, в нем сотрудничали Н. Н. Златовратский, С. Атава (Терпигорев), В. Гаршин, Г. Успенский, Л. Трефолев, А. М. Скабичевский. С 1892 г. легальные народники публиковали там статьи о положении в деревне, о внутренней политике правительства. "Русское Богатство" критиковало консервативную печать и вело полемику с социал-демократами и марксистами. В 90-е гг. журнал не признавал "чистого искусства" и требовал от литературы служения обществу. Активными сотрудниками "Русского Богатства" были Гарин-Михайловский, А. Шеллер-Михайлов, Станюкович, Мамин-Сибиряк, Н. И. Наумов, И. Бунин, Л. Андреев, А. Куприн, В. Вересаев, Короленко, Горький. Журнал отрицательно относился к декадентам, не одобрял натурализма П. Боборыкина, И. Ясинского. Главным крити-

ком был Н. Михайловский.

После революции 1905 г. во главе редакции стояли А. В. Пешехонов, В. Я. Мякотин, Н. Ф. Анненский, так называемые народные социалисты, противники революционного подполья и террора, сторонники демократического пути. С 1914 по 1917 гг. журнал носил название "Русские Записки" и в 1918 г. был закрыт декретом советского правительства как противник диктатуры пролетариата.

Нельзя пройти мимо журнала "Русский Архив", который не был типичным толстым журналом-универсалом, но по объему и содержанию мало отличался от него. "Русский Архив" выходил как ежемесячный исторический и историко-литературный журнал. В нем публиковались мемуары, корреспонденция, документы, в том числе — сочинения и переписка Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, Карамзина, кн. П. Вяземского, некоторых славянофилов.

В этом же ряду стояла "Русская Старина" (1870-1918) — ежемесячный научно-исторический журнал, в котором публиковались материалы по русской истории, истории русской литературы и искусства. С 1879 г. к книжкам журнала прилагались гравированные портреты и фотографии русских писателей, ученых, художников, общественных и государственных деятелей, а также репродукции картин. В "Русской Старине" публиковались разнообразные материалы по русской истории XVIII-XIX веков, записки некоторых декабристов (М. А. Бестужева, Д. Завалишина и др.), записки и дневник А. В. Никитенко, дневники В. К. Кюхельбекера, воспоминания Т. П. Пассек, А. Ф. Кони и др., записки А. Болотова. Публиковались также не печатавшиеся ранее произведения И. Крылова, К. Батюшкова, К. Рыльева, Е. Баратынского, А. Дельвига, В. Жуковского, А. Одоевского, М. Лермонтова, А. К. Толстого и др.

В течение 14 лет (1885 - 1898) в Петербурге выходил ежемесячный литературно-научный и политический журнал "Северный Вестник", в который перешли сотрудники закрытых в 1884 г. "Отечественных Записок" С. Н. Южаков, А. Плещеев, Г. Елисеев, В. Воронцов, В. Лесевич, А. Скабичевский и другие писатели и публицисты, близкие к народникам. "Северный Вестник" — обычный толстый журнал, но, в отличие от "Вестни-

ка Европы”, “Русского Вестника”, он был подцензурным журналом, что влияло на его деятельность.

За короткий срок трижды менялось руководство и общественно-литературная программа. В 1885-1889 гг. во главе редакции стояла А. М. Евреинова, получившая в Германии ученую степень доктора юридических наук. Негласно принимал участие Н. К. Михайловский, который трижды покидал редакцию. Два года журнал вели пайщики, одно время редактором был Короленко. В 1892 - 1898 гг. редакцию возглавляли Л. Я. Гуревич, А. Волинский (А. Л. Флексер). При них журнал пропагандировал творчество символистов, идеалистическую эстетику.

В публицистике преобладали политические и экономические темы. На страницах журнала, наряду с постоянными сотрудниками, печатались провинциальные публицисты и земские деятели. Особенное внимание обращалось на положение окраин государства — Сибири, Кавказа и Прибалтики. В литературном отделе постоянно печатались Г. Успенский и Короленко, с 1888 г. — А. Чехов, а также помещали свои произведения Гаршин, Златовратский, Н. Каронин-Петропавловский, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Ф. Нефедов, П. Боборыкин, Вас. и Вл. Немирович-Данченко, К. С. Баранцевич, В. Микулич, А. Шеллер-Михайлов, Г. А. Мачтет, И. В. Шпажинский, А. С. Шабельская, Н. П. Вагнер. Читатели журнала могли познакомиться с русскими и иностранными символистами — А. Волинским, Н. Минским, Д. Мережковским, З. Гиппиус, Ф. Сологубом, К. Бальмонтом, М. Метерлинком, П. Верленом, Г. Д’Аннунцио и др. Уделялось внимание переводам иностранной прозы, главным образом — французской — Э. Золя, Г. де Мопассана, А. Доде.

У “Северного Вестника” не было твердого направления, единой программы. Представители либерального народничества — С. Н. Кривенко, А. М. Скабичевский, П. В. Засодимский, Н. А. Рубакин постепенно вытеснялись сторонниками символизма — Волинским, Мережковским, Минским, Гиппиус. Популярности “Северного Вестника” способствовало то, что его поддерживали Н. С. Лесков и особенно Лев Толстой, который в 90-е гг. свои произведения помещал, главным образом, в этом журнале. Здесь был напечатан его рассказ “Хозяин и работник”, статьи “Неделание”, “Религия и нравственность” (под заголовком “Про-

тиворечия эмпирической нравственности") и др. Взаимоотношения редакции с символистами были очень сложными: их художественные произведения печатали, но их теоретических работ не принимали.

"Северный Вестник" уделял серьезное внимание проблемам культуры, просвещения и самообразования. Много места отводилось воспоминаниям крупных личностей, их дневникам и переписке. Были опубликованы воспоминания П. Чайковского, С. Ковалевской, Ф. Ницше, письма Тургенева, Герцена и др. Несмотря на широту и разнообразие программы, она не была достаточно четкой, что сказывалось на тираже журнала. К финансовым трудностям добавлялись и цензурные затруднения. Редакция не смогла добиться бесцензурного выпуска и в конце концов журнал закрылся.

Особо следует остановиться на журналах братьев М. М. и Ф. М. Достоевских — "Время" и "Эпоха". История этих журналов подробно освещена в книгах В. С. Нечаевой: "Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских "Время", 1861 - 1863" (изд. "Наука", М. 1972) и "Журнал "Эпоха", 1864 - 1865". Всего вышло в свет 28 книжек "Времени" и 13 книжек "Эпохи"; Последняя закрылась на февральском номере. Федор Михайлович в своем журнале напечатал "Униженных и оскорбленных", "Записки из мертвого дома" и др. произведения. Во "Времени" постоянно сотрудничали поэты и писатели А. Майков, А. Апухтин, Л. А. Мей, Д. Минаев, Я. Полонский, В. В. Крестовский, А. Григорьев, философ и критик Н.Н. Страхов. На страницах журналов братьев Достоевских встречаются имена Д. В. Аверкиева, А. С. Афанасьева, И. Тургенева, Н. Некрасова, Н. Лескова, А. Плещеева, А. Писемского, Н. Г. Помяловского, Салтыкова-Щедрина.

Основная идея издания — проповедь "почвенничества", призыв к сближению высшего общества с народом, с "почвой". Достоевский писал: "Наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, народную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал... Характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Евро-

па в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности” (из объявления о подписке).

Журнал “Время” полемизировал с “Современником”, отрицал революционный путь преобразования общества, отстаивал мирный путь развития. Журнал был закрыт за публикацию статьи Страхова “Роковой вопрос”, которую не поняли и посчитали за философское оправдание польского восстания (апрель 1863).

После длительных хлопот Ф. М. Достоевскому удалось получить право на издание нового толстого журнала под названием “Эпоха”, где писатель продолжал свою “почвенническую” линию. Михаил Достоевский скончался в июле 1864 г. и Федор Михайлович еще продолжал выпускать журнал до конца года, а в 1865 г. издал два номера “Эпохи”. Но отсутствие настоящей деловой сноровки, создавшаяся большая задолженность за предыдущее время и недостаточное число подписчиков вынудили Ф. Достоевского прекратить издание “Эпохи”, так как для дальнейшего выпуска журнала не было никакой перспективы.

А. Натов

ПОНЯТИЕ "РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ"

Слово интеллигенция происходит от латинского слова *intellegere*, (от *inter* и *legere*), что значит "читать между, среди, промеж", т. е. за видимым буквенным знаком слова (графемой) распознавать его внутренние смыслы (симемы). Родственными значениями этого слова следует считать следующие: *различать, замечать, отдавать себе отчет, сознавать, познавать, постигать, опознавать, понимать, разуметь*. Приведем несколько характерных определений интеллигенции, выбрав их из множества других.

Словарь *Даля* определяет интеллигенцию, как разумную, образованную, умственно развитую часть жителей.

"Интеллигенция, — читаем мы в *"Американской Университетской Энциклопедии"*, — это класс или группа лиц, обладающих, или думающих, что они обладают, особым знанием в области взглядов и принципов".

В словаре *Ожегова* интеллигенция определяется как социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, обладающих образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники, культуры (сразу же отметим, что этого рода "интеллигенцию" А. И. Солженицын метко назвал "образованщиной").

А. Федосеев, подменяя, по существу, понятие "интеллигенции" понятием "элиты", как социальной прослойки, противопоставляемой "народу", различает три ее вида. "Одну часть 'элиты', — пишет Федосеев, — я назвал бы 'управляющей элитой'. Это та часть работников аппарата управления обществом, которая определяет основные свойства ("почерк") государственной

власти. Другую часть я назвал бы 'научно-технической элитой'. Не принимая прямого участия в управлении, она, несомненно, на управление воздействует, осознавая и формулируя материально-технические задачи и пути их решения. Третья часть — это 'духовная элита'. Это все те активные люди, которые тоже воздействуют на аппарат управления, но в области, главным образом, духовных задач и ценностей"¹.

Н. А. Бердяев определил интеллигенцию, как "некий духовный орден", а *Г. Федотов*, как "группу, движение и традицию, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей"².

И, наконец, самое общее определение, данное *А. И. Солженицыным*: "Интеллигенция — вся масса тех, кто себя так называет" (присовокупим от себя — "или кого кто-либо к этой массе по тем или иным признакам причисляет")³.

Если мы сравним, например, определения Федотова и Ожегова, то увидим, что при том же самом субъекте (правда, у Федотова более специфицированном) у них совершенно различные предикаты. Как это возможно?

Поясним это на следующем, более конкретном, примере.

На вопрос: Что такое Киев? — вам естественно будет услышать ответ: Это город. Если же вы будете настаивать на дальнейшем уточнении, вам скажут: Киев — это город, столица Украинской Советской Социалистической Республики. В дальнейшем вам могут продолжать уточнять: бывшая столица Малороссии, древняя столица Руси, "мать городов русских", город, лежащий на берегу Днепра, на таком-то расстоянии от Черного моря, на такой-то географической широте и долготе, занимающий такую-то площадь с таким-то населением. Если мы добавим еще энное количество предикативных эпитетов, то и тогда мы не исчерпаем всего необъятного богатства содержания, в которое объективировался, объективируется и будет объективироваться *genius loci*, носящий имя Киева. Ибо Киев был Киевом еще до того, как стал столицей Руси, его население и занимаемая им площадь все время изменяются, его архитектурный облик имеет множество ликов. Одно представление о Киеве имеет его коренной житель, другое — случайный турист. Все эти восприятия, представления, а следовательно, и субъективно по-

строенные "понятия" Киева частично истинны, частично же ложны, ибо все они фрагментарны, а мы знаем из логики, что суждения *pars pro toto* (о целом по частям) — несоравны сущности целого.

Точно так же обстоит дело и с определением русской интеллигенции, явление которой "самоподобно". О времени, когда она родилась, мнения расходятся. Одни полагают, что ее начало надо вести от сороковых годов прошлого столетия; другие определяют более долгий период: от Петра I до революции 1917 г. Мы же рискуем гипотезой, что, наподобие того, как органическая клеточка запрограммирована и в филогеническом, и в онтогеническом порядке, так и русская интеллигенция существовала в генетическом коде русского народа с того момента, как он приобрел черты некой этнической сверхсистемы. В каждом организме имеются гены активные и гены "молчащие"; последние активизируются при соответственном стечении обстоятельств. Поэтому мы предлагаем расширить границы истории русской интеллигенции в обе стороны: в допетровскую Русь, и в Россию пореволюционную.

Бердяев, напротив, считает, что в истории русского народа были такие разрывы, что об органическом единстве русского народа и его культуры говорить не приходится⁴. Так, он считает, что было пять различных "Россий": Киевского периода, татарского ига, Московского царства, имперского периода и теперешнего, "эсэсэровского".

Прот. Георгий Флоровский заглядывает в историю еще глубже. Прочитав его, так как то, о чем он говорит, на наш взгляд, объясняет многое в характере русской интеллигенции:

"История русской культуры начинается с Крещения Руси. Языческое время остается за порогом истории. Это совсем не значит, будто не было языческого прошлого. Оно было, и побледневшие, а иногда и очень яркие следы его и воспоминания надолго сохраняются и в памяти народной, и в быту, и в самом народном складе".

Разделяя точку зрения Вл. Соловьева, что Крещение Руси Владимиром было национальным самоотречением, перерывом или разрывом национальной традиции, о. Георгий продолжает:

"Язычество не умерло и не было обессилено сразу. В смут-

ных глубинах народного подсознания, как в каком-то историческом подпольи, продолжалась своя, уже потаенная, жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная. И в сущности, слагались две культуры: дневная и ночная. Носителем "дневной" культуры было, конечно, меньшинство, — впрочем, ведь так всегда бывает, и уравнение духовных потенциалов не есть свидетельство жизнедеятельности и жизнеспособности исторических формаций. Заимствованная византино-христианская культура не стала "общенародной" сразу, а долгое время была достоянием и стяжанием книжного или культурного меньшинства. Это было неизбежной и естественной стадией процесса. Однако, нужно помнить, история этой дневной христианской культуры во всяком случае не исчерпывает всей полноты русской духовной судьбы... В подпочвенных слоях развивается "вторая культура", слагается новый и своеобразный синкретизм, в котором местные языческие "переживания" сплавляются с бродячими мотивами древней мифологии и христианского воображения. Эта вторая жизнь протекает под спудом и не часто прорывается на историческую поверхность. Но всегда чувствуется под нею, как кипящая и бурная лава... Грань между этими двумя социально-духовными слоями всегда была подвижной и, скорее, расплывчатой. Ее постоянно размывало осмотическими процессами, которые шли с двух сторон. Но не в полной независимости раздельных слоев. Важнее различие духовных и душевных установок. Это различие в данном случае можно так определить: "дневная" культура была культурой духа и ума, это была и "умная" культура; а "ночная" культура есть область мечтания и воображения [...]. Болезненность древнерусского развития можно усмотреть прежде всего в том, что "ночное" воображение слишком долго и слишком упорно укрывается и ускользает от "умного" испытания, проверки и очищения"⁵.

Христианская культура, правда, пришла в прямом смысле из Византии, но уже непосредственно до Крещения были сильные влияния "болгарского христианства", так называемого Кирилло-Мефодиевского наследства. Некоторые историки (Н. К. Никольский) считали, что "на самой заре русского христианства сталкиваются два религиозных идеала или две доктрины, и побеждает не то радостное Евангельское христиан-

ство, которым зажегся и возгорелся Владимир Святой, но какая-то иная и "мрачная религиозная доктрина" — т. е. богомильство⁶.

Так или иначе, после принятия христианства культурная жизнь в Киеве значительно возросла: появилась, хотя и тонкая, прослойка "церковной интеллигенции". Татарское иго сдвинуло культурный очаг из южного Киева на Северо-Восточные и Западные земли; впоследствии, после брака Ивана III с воспитанницей Рима — Софией Палеолог, началось влияние Запада. Оно усилилось при Василии III. Влияние это шло сперва из Италии, затем, в конце XV, в XVI веке, со стороны протестантствующей Европы. Часть "церковной интеллигенции" встала в своего рода оппозицию, разрывшись еретическими толками "стригольников", "жидовствующих": это можно было бы назвать началом интеллигентского вольнодумства. Следующим расколом среди "церковной интеллигенции" было разделение на два спорящих лагеря "ософлян" и "заволжцев": это было столкновение двух, антиномически противостоящих мировоззрений.

Здесь не место углубляться в суть этого спора. Но уже до того, в XV веке, в правление Ивана III, возникла концепция "Москвы — Третьего Рима", концепция, имеющая характер *идеи*, притом идеи *беспочвенной*, т. е., согласно определению Федотова, концепция чисто интеллигентская*.

В нашем контексте под словом "идея" мы разумеем словесно сформулированную цель, к которой должно стремиться (осознанная и принятая в качестве призвания целепричина). Сама идеология "Третьего Рима" представляет собой заимствованный, но переплавленный в русском горниле сплав. В этом сплаве имеются следующие ингредиенты: *религиозные* - хилиазм,

*Мы никоим образом не хотим сказать, что идея "Москвы-Третьего Рима" *осталась* беспочвенной. Идее государственного гегемонизма и абсолютизации царской власти, как бы *снисходящей* к народу, пошла навстречу *восходящая* из народа идея "Святой Руси" (конец XVI в.), с христианских позиций освящая языческий апофеоз мирской власти. И хотя, на практике, эта идеологическая амальгама не была осуществлена, тем не менее, в качестве путеводной звезды, она существует в несколько модифицированных разновидностях, и поныне (концепция "воссоздания Св. Руси" А. В. Карташева или же идеология ВСХСОНа).

апокалиптика, православие, и *секулярные* - борьба за государственное существование, национализм, экспансионизм. Такого рода идеологии в том или ином сочетании этих ингредиентов мы встречаем уже на Древнем Востоке, в византийском цезарепапизме (Юстиниан), а также и на Западе, в папоцезаризме (Иннокентий III). *Идея* "Москвы-Третьего Рима" была *беспочвенной* в том смысле, что собственно народ понятия не имел (да и не мог иметь из-за неграмотности) ни о "Первом" Риме, ни о "Втором"... Старец Филофей, затем Геннадий Новгородский или Иосиф Волоцкий развивавшие эту идею, были тогдашней "церковной интеллигенцией", если употребить термин прот. Георгия Флоровского. Историк русской церкви А. В. Карташев пишет об этом: "Ряд *московских публицистов* (выделено нами — и. Г.) высокого литературного достоинства, с вдохновением, возвышающимся до пророчества, с красноречием подлинно художественным не пишет, а поет ослепительные гимны русскому правоверию, "белому царю" Московскому и "белой пресветлой России"⁷.

"Церковными интеллигентами" допетровской России были не обязательно духовные лица, но в тематике, волновавшей тогда умы, переплетались интересы религиозно-церковные с проблемами государственной историософии. Интеллигенция сменила свой сословный облик с того времени, когда Петр I положил начало русской бюрократии, рекрутировавшейся из различных сословных пластов, а еще более со времен Екатерины II, в ранний период царствования которой народился *русский либерализм*.

Если мы теперь обратимся ко второй "границе" истории русской интеллигенции после революции 1917 года, то увидим, что, несмотря на физическое уничтожение большинства ее представителей и на трагическую метаморфозу выживших и приспособившихся к новым условиям существования, русская интеллигенция жива и на родине, и в зарубежье. Можно смело сказать, что история русской эмиграции — это история интеллигенции. А "образованщина" — это явление переходное. Из этой же самой "образованщины", при благоприятных обстоятельствах, возродится и интеллигенция там, где она теперь находится под политическим или же бытовым спудом. Так, "из-под глыб" про-

растает побеги и диссидентов, и правозащитников, и религиозных оппозиционеров.

Наиболее насыщенной жизнью русская интеллигенция жила в XIX веке; если взять этот период в качестве "эпицентрического" и вести отсчет в прошлое (Московское царство, Киевское великое княжество и т. д.) и в будущее (с начала XX века и по революцию, а затем внутри страны и эмиграции), то мы увидим, что жизнь русского народа, как нации, тесно связана с тем, какова ее интеллигенция в данное конкретное время.

Если мы теперь отрешимся от внешних, пространственно-временных аспектов русской интеллигенции и попытаемся определить ее внутреннюю сущность, то увидим, что такая попытка — дело безнадежное. Ибо, если взять какой-нибудь аспект, какой-нибудь атрибут ее, какую-нибудь конкретную черту, то можно быть уверенным, что в характере интеллигенции можно найти и нечто противоположное, соответствующий антипод, так сказать. Интеллигенция есть некое "сочетание противоположностей", попеременно выступающих в разные периоды. Одно время интеллигенция была церковной и религиозной, затем впадала в атеизм и антитеизм⁸. В одно время она шла с правительством (времена Петра I, Екатерины II, Александра I и Александра II, частично, и Николая II), в другое время она была революционной и анархической. Были в ней "почвенники" и "беспочвенники"; консерваторы, радикалы и либералы; были патриоты и интернационалисты; были законопослушники и были террористы; были люди просвещенные, были и "образованцы"... и таким противоположностям несть числа! Были периоды, когда преобладала какая-нибудь одна тенденция (люди сороковых годов, шестидесятники, семидесятники); были времена, когда интеллигенция состояла из противоборствующих лагерей; многие интеллигенты прошли эволюцию от левых к правым, или наоборот, — из правых становились левыми. Менялись не только политические взгляды, но и этика: достаточно ознакомиться со сравнительным анализом того, за что ратовали авторы сборника "Вехи" и "этикой" образованщины в статье Солженицына (в сборнике "Из-под глыб"). Политико-этическая пестрота русской интеллигенции в ее историческом развитии хорошо представлена и авторами статей, напечатанных в "Вест-

нике" РХД № 97 (1970 г.).

Заканчивая эту статью хотелось бы хотя бы попытаться дать объяснение такому сложному социо-культурному явлению, как "русская интеллигенция". Предлагаем на суд читателя три тезиса.

1) Если исходить из Платона, то следовало бы признать, что в царстве вечных идей различного ранга существует и *идея русской интеллигенции*, парадигма, различные модусы объективации которой мы наблюдаем в истории.

2) Следуя учениям философов психологии, в частности, Юнга, отметим, что кроме индивидуального "бессознательного" существует "сознательное" и более высоких рангов: семьи, рода, класса, нации, человечества. А с этим связана концепция Юнга об "архетипах", которые объективируются в среде именно этих "бессознательных". "Архетипы" сами по себе бессодержательны, чисто формальны, их можно сравнить с системой осей какого-нибудь кристалла, которая до известной степени преформирует образование кристалла в маточном растворе, сама не обладая вещественным существованием". "Сосредоточенная в архетипе психическая энергия нейтральна относительно всех определений добра и зла: архетип сам по себе не морален и не имморален, не прекрасен и не безобразен, не осмыслен, и не враждебен смыслу, но в нем заложены открытые возможности для предельных проявлений добра и зла". По мере того, как архетипы становятся более отчетливыми, они сопровождаются все возрастающими эмоциональными тонами... они способны впечатлять, внушать, увлекать"⁹.

Русская интеллигенция, заключим, имеет свой особый "архетип".

3) Если современная наука говорит о "поведении" электронов (Нилс Бор), а философия о том, что субстанциальные деятели даже самого низшего ранга обладают "психоидной" жизнью (Н. О. Лосский) и если, вдобавок, принять определение *организма* как существа, действующего по целям (Б. П. Выше-славцев), то, с сохранением пропорций, можно сказать, что и народ (нация) есть некий сложный организм, состоящий из "человеческих субстанциальных деятелей", сгруппированных в различного ранга органических (социальных) системах. Не идя

так далеко, чтобы называть нацию "личностью", ибо это было бы в противоречии с христианской антропологией, мы попробуем назвать ее *собирательным человеческим организмом*, в котором различные социальные прослойки исполняют функции, аналогичные (метафорически!) функциям отдельных органов, тканей и желез в индивидуальном человеке. Получится: правительство есть мозг, управляющий соответствующими органами (армия, администрация, политика); различные организации — это внутренние органы, самостоятельно или по приказу действующие для сохранения нормальных жизненных функций; народ — это тело нации-государства, а интеллигенция — это *душа* его. А если кто-нибудь нам возразит, что как же душа может быть столь изменчива, противоречива и иногда даже склонна к самоубийственным волеизъявлениям, то мы на это ответим, что нет ни одного свойства или качества, присущего интеллигенции, которое бы мы не отыскивали и в составе души отдельного человека¹⁰.

Не сказал ли апостол Павел о человеческой душе: "...Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю ... желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю ... Ибо во внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек!" (Римл. гл. 7).

Не так ли, трагически, бывало и с русской интеллигенцией в то или иное время, в тех или иных обстоятельствах?

Игумен Геннадий Эйкалович

Примечания:

1. А. Федосеев. "*Народ, вожди, элита, демократия*" — "Новый Журнал", 150, стр. 279.
2. Г. П. Федотов. "*Лицо России*", Имка-Пресс, 1967, стр. 79.
3. А. И. Солженицын. "*Из-под глыб*", 1974 г., стр. 217.
4. Н. А. Бердяев. "*Истоки и смысл русского коммунизма*". Имка-Пресс.
5. Прот. Г. Флоровский. "*Пути русского богословия*", Имка-Пресс. 1981 г., стр. 2-3.
6. Там же.

7. А. В. Карташев. *"Воссоздание Св. Руси"*, Париж, 1956, стр. 36.

8. *Атеизм* мы приравниваем к агностицизму, а *антитеизм* - к *богоборчеству*.

9. Цит. по С. Аверинцеву: *"Аналитическая психология"*, К. Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. — Сборник *"Религия и культура"*, "Эрмитаж", 1981, стр. 103-104.

10. См. кингу С. Л. Франка *"Душа человека"*, или, в психологически-литературном объеме, все то, что написал на эту тему Ф. М. Достоевский.

ТРОЦКИИ О СТАЛИНЕ*

(Публикация Ю. Фельштинского)

ТРОЦКИЙ И "СТАЛИН"

У каждой книги своя судьба. Многие из них остаются недописанными. У каждого автора своя жизнь. Не все они умирают своей смертью. Но не каждого автора убивают во время работы над его рукописью. И не каждому биографу проламывают голову альпийской киркой по приказу героя его книги. Так было с Троцким, убитым по приказу Сталина 21 августа 1940 года. И с книгой Троцкого "Сталин", оставшейся незаконченной.

Трудно представить себе отношения более драматические, нежели отношения между Троцким и Сталиным. Лишенный власти, сосланный в Алма-Ату, а позднее высланный за границу, преследуемый агентами ГПУ, переживший не одно покушение, потерявший всех своих детей и друзей — частью предавших его, частью убитых Сталиным, — Троцкий начал писать о Сталине книгу. 14 апреля 1938 г., вскоре после смерти последнего своего сына Льва Седова, отравленного, по подозрениям Троцкого, ГПУ, Троцкий пишет в редакцию издаваемого им журнала "Бюллетень оппозиции": "В ближайшие два-три месяца вы не должны ждать от меня новых больших статей. Я обязался в течение ближайших 18 месяцев написать книгу о Сталине и закончить книгу о Ленине. Все мое время, по крайней мере в течение ближайших месяцев, будет посвящено этой работе... Для книги о Сталине мне нужна будет ваша помощь. Послезавтра я вышлю вам список всей литературы по

*На русском языке публикуется впервые. Составитель Ю. Фельштинский и редакция "Нового Журнала" выражают свою благодарность Рукописному отделу библиотеки Houghton Гарвардского университета, любезно предоставившему рукопись для публикации.

Испытывая глубокое отвращение как к личности, так и к кровавой деятельности Л. Троцкого, редакция "Нового Журнала" все же печатает выдержки из книги Л. Троцкого "Сталин" как ценный исторический документ.

Сталину, которая у меня имеется. Уже сейчас могу сказать, что у меня нет книги Барбюса. Не знаю, не было ли в архиве Льва специальных папок, касающихся Сталина. Книга будет носить исторический, биографический и психологический характер, а не теоретико-полемический. Может быть, вы сами выскажете какие-либо предложения или предложите какие-либо материалы?”

15 мая Троцкий вновь упоминает в письме о своей работе над книгой:

“Теперь о самом главном, т. е. о вашем возможном содействии моей работе по Сталину. Так как американские товарищи тоже занимаются розысками и подбором материала, то я предлагаю установить хотя бы грубое разделение труда именно по хронологической линии: американцы будут подбирать материалы главным образом до 1925 года, а парижане с 1925 до сегодняшнего дня. Разумеется, это не исключает того, что вы сможете мне доставлять материалы, относящиеся к первому периоду, если эти материалы вам более доступны, чем американцам. Что касается последнего периода, т. е. после 1925 года, то мне нужны наиболее важные факты, статьи, речи или, по крайней мере, важнейшие цитаты, характеризующие все этапы и зигзаги политики Сталина”.

Затем 26 мая: “По поводу книги о Сталине. Обращаться к Суварину вряд ли удобно. Скорее можно было бы обратиться к Николаевскому, если есть связь с ним. То, что мне особенно необходимо, это речи и статьи Сталина, начиная с 1925-го года, даже с 1923-ьего. У Николаевского имеются, насколько знаю, все вырезки. Если, однако, вам удобнее взять материалы у Суварина, то я возражать не буду при условии, однако, чтоб обращение к нему исходило не от меня... Если ту или иную статью или речь Сталина нельзя достать во временное пользование (не больше, как на шесть недель, включая и пересылку), то, может быть, можно было бы сделать выписки в Париже. Разумеется, трудность — в выборе наиболее характерных мест. Но я не сомневаюсь, что вы и товарищ Этьен хорошо разрешили бы эту задачу. Весь вопрос только в расходовании времени и сил. То же самое относится к статьям во французской периодической печати, особенно в больших журналах. Разумеется, необходимые расходы на это будут покрыты. Рукопись книги я должен сдать не позже, чем через пять месяцев. Это значит, что материалы должны быть в моих руках через два месяца. Особенно важно просмотреть в библиотеке комплекты “Правды” и “Известий”, начиная с 1925 года. Как вам, разумеется, ясно, меня особенно

интересуют этапы политики Сталина в разных вопросах, зигзаги и повороты”.

С тех пор буквально каждый месяц в том или ином своем письме в Париж Троцкий упоминает о работе над книгой о Сталине. 27 мая он пишет: ”Дорогой тов. Коган. Я получил Ваши записки... которые очень интересны... Имеете ли Вы вообще комплект ”Красной Нови”? В таком случае было бы хорошо, если бы Вы просмотрели его с точки зрения политической эволюции Сталина, вернее, его зигзагов и методов борьбы с оппозицией. За всякую справку такого рода буду Вам очень благодарен, так как у меня здесь очень мало литературы, а книгу о Сталине я должен закончить в течение ближайших пяти месяцев”.

14 июня: ”Дорогой тов. Коган ...Присланное Вами конспективное изложение статьи Стецкого великолепно и окажет мне большую услугу... Мне нужны точные даты, точные и характерные цитаты, относящиеся к борьбе Сталина с оппозицией, к его общей политике, к его противоречиям с самим собой, и проч. Очень важны, в частности, факты, характеризующие и зигзаги международной политики как по линии советской дипломатии, так и по линии Коминтерна”. 26 июня: ”Мне в высшей степени пригодились выписки из Иремашвили. Я считаю его воспоминания заслуживающими, в основном, полного доверия. Суварин обошел его с недоверием. Не потому ли просто, что Суварин не знает немецкого языка? Иремашвили на пять лет раньше рассказал то, что официальные мемуаристы и биографы подтвердили потом прямо или косвенно, чаще всего путем красноречивых умолчаний. Что вам известно о Иремашвили? Почему вы считаете его незаслуживающим доверия? Только потому, что этот бывший меньшевик стал национал-социалистом? Сообщите, пожалуйста, на этот счет все, что вы знаете. Я очень благодарен Николаевскому за его готовность оказать содействие и на этот раз. Со своей стороны, я был бы очень рад быть ему полезным в каком-либо отношении. Может быть, ему нужны какие-нибудь американские книги, журналы и справки? Я охотно сделаю все, что смогу... При выписке из речей и статей Сталина очень важно обратить особое внимание на следующие вопросы:

- а) китайская революция
- б) англо-русский комитет
- в) программа Коминтерна
- г) Третий период (”близнецы” и проч.)

Нет надобности переписывать статьи целиком, достаточно выбрать

центральный пункт, точно указав дату и прочее (выписки из Иремашвили сделаны великолепно)".

В письме от 4 июля 1938 г. Троцкий продолжает: "Я нашел юридическое подтверждение того, что Сталин в молодости был тесно связан с Иремашвили. Это обстоятельство имеет огромное значение для первых глав моей книги. Я начинаю с беспокойством спрашивать себя, все ли выписано из книги Иремашвили, что представляет интерес? Из Вашего письма видно, что вы отнеслись к автору с недоверием и поэтому могли оставить без внимания те или другие детали. Между тем, я считаю его вообще самым основательным и правдивым из всех авторов воспоминаний о молодости Сталина. Я бы очень просил еще раз просмотреть книжку и выписать то, что было опущено при первом просмотре. Простите за беспокойство, но дело очень важно". 18 июля: "Я получил снова большой пакет выписок чрезвычайно важных и ценных. Я вижу, какой огромный труд проделывает ваша маленькая группа". 27 августа: "На днях пришлю общего характера статью о межд. конф. ...Ничего другого сейчас дать не могу: полностью поглощен книгой".

Группа, действительно, работала, как могла. 9 августа сотрудниками Троцкого в Европе был составлен "Дополнительный список книг, нехватящих у Николаевского". Это был уже третий по счету список, дополнительный. В тот же день Троцкому из книг Николаевского были посланы три: Протоколы совещания расширенной редакции "Пролетария" (1934), Сталин, "Марксизм и национально-колониальный вопрос" и книга, написанная с участием И. Иремашвили "Stalin und die tragedie Georgiens". Следующая посылка с книгами была послана Троцкому 12 августа, и еще одна — 16-го.

"Сталиным" Троцкий был увлечен чрезвычайно, ни на что больше не хотел отвлекаться. А отвлекаться было на что. Из Парижа писали: "Сув[арин] мне без конца повторяет о том, что Л. Д. не может не ответить на книгу Цилиги, что эта книга произвела большое впечатление, что это единственный живой свидетель, бывший раньше троцкистом, потом разочаровавшимся, что все ему верят и т. п.". 27 августа Троцкий сухо ответил: "На-днях пришлю общего характера статью о межд. конф.... Ничего другого сейчас дать не могу: полностью поглощен книгой".

Все это время Троцкому продолжали делать выписки, высылать книги и материалы. В отправленном 2 сентября из Парижа письме, например, указывалось: "По вопросу о Сулиашвили мне пока что уда-

лось выяснить только немного. При сем прилагаю выписку о той книге, на которую, очевидно, ссылается Берия. В других справочниках он не числится. Вообще личность совершенно неизвестная. Просмотрю еще воспоминания Пятницкого о Лейпцигском периоде, но, судя по указателю имен, там не упоминается ни Сулиашвили, ни Давиташвили. Книжки Сулиашвили у Н[иколаев]ского нет. Может быть, она имеется в Венсене — поищу еще, но сомневаюсь, так как мне было показано все, что относится к вопросу о Сталине и среди этих книг такого названия не было. О прокламациях Тифлисского комитета напишу Вам в следующем письме. Мы были так заняты Бюллетенем, что не имели ни минуты свободного времени, чтобы заняться этим делом”.

19 сентября 1938 г. “[...] Посылаем Вам сегодня продолжение библиографии по “Правде”. Закончили уже 1935 год и теперь нам остается только 1936 г., так как с 1937 Вы писали, что имеете “Правду”. Может быть даже удастся приложить уже часть 1936 г. Нужно очень торопиться, так как война может разразиться с минуты на минуту и тогда вряд ли вообще можно будет посылать что-нибудь и пр. В “Правде” за 1935 год нашлось много интересного, поэтому нам пришлось сделать много выписок. Статьи Енукидзе, Радека и др.: много интересного...”.

Время от времени Троцкий отвечал своим единомышленникам, благодарил их за работу, просил о новых книгах и выписках. 29 сентября он ответил очередным письмом: “Большое спасибо за материалы к “Сталину”. Итак, Ц. вспоминает, что Сталин в 1904 году был большевиком. Думаю, что он ошибается в хронологии: это самая обычная ошибка во всех мемуарах. В ноябрьской конференции большевиков 1904 года, как ясно вытекает из книги Берия (третье издание у нас есть), Сталин не участвовал, в созданное конференцией бюро не вошел, в Третьем съезде большевиков (апрель 1905 г.) не участвовал и проч. — все это было бы абсолютно невозможным, если бы он был в 1904 г. сколько-нибудь видным большевиком на Кавказе, особенно в Тифлисе, где большевики числились единицами. Во всяком случае, период, кончающийся 1906-м годом можно ликвидировать, я работаю теперь над периодом 1907-1917. По вопросу об участии Сталина во всяких экспроприациях и в боевых действиях нет решительно никакого материала. Возможно, впрочем, что его и вообще нельзя найти”.

10 октября 1938 г.: “Дорогие друзья! Есть брошюра Ольминского: “Из эпохи “Звезды” и “Правды”. В Соединенных Штатах достать ее не

удалось. Мне было бы крайне важно знать, что Ольминский говорит о Сталине, какое место он ему отводит в "Заре" и в "Правде", кому именно он приписывает инициативу создания этих газет, определения их направления и пр. Нельзя ли сделать необходимые выписки в Париже?"

8 ноября: "Получил биографию Сталина, написанную "татариним Имамом". Думаю, что сей татарин есть Беседовский (может быть в союзе с Кривицким или Барминым?)*. Большое спасибо за книгу. Получил сегодня вырезки..."

31 ноября 1938 г.: "Дорогие друзья! Вы прислали мне, в числе многих других ценных материалов, библиографию по вопросам о гражданской войне. В сущности, это единственный вопрос, в области которого я остаюсь плохо вооружен. В "Истории коммунистической партии", которую вы мне прислали (большое спасибо), есть по поводу гражданской войны целый ряд новых, совершенно фантастических легенд и вымыслов. Мне придется посвятить гражданской войне большую главу, если не две. Было бы крайне желательно, чтоб вы сами прочитали те главы "Истории", которые относятся к гражданской войне, отметили наиболее выдающиеся вымыслы и подобрали опровергающие их материалы. Я понимаю большие размеры этой работы. Но другим путем я совершенно не могу справиться с задачей. Думаю, что это — *последнее* поручение, которое я позволяю себе дать вам. По всем остальным главам у меня подобран достаточный материал. В вашем библиографическом справочнике есть такие указания по поводу книг и статей, посвященных гражданской войне: "ничего о Сталине", "очень много о Троцком". Желательно было бы из этого "очень многого" дать хоть кое-что. Крепко жму руку. Ваш Л. Д."

1 декабря 1938 г.: "Дорогие друзья! Из книги Ольминского "Общий очерк эпохи" (из эпохи "Звезды" и "Правды"), изданной в 1921 г., у меня есть следующая цитата: "... в № 47 "Правды" напечатана статья И. Сталина: "Обязанностью сознательных рабочих является возвысить голос против раскольниковских попыток внутри фракций, откуда бы они не исходили". К этому примечание: "И. Сталин, Я. М. Свердлов появились в Петербурге в разное время после побега из ссылки в Сибири. Пребывание обоих в Петербурге до нового ареста было коротко, но успевало существенно отразиться на работе газет, фракций и пр." Это напечатано будто бы в сборнике Ольминского 1921 г., на стр. 61. Я

*Все трое — невозвращенцы — Ю. Ф.

получил из Парижа сообщение, что в книге Ольминского о Сталине ничего нет. Между тем, эта цитата имеет исключительное значение. Она показывает, видимо, что Сталин вел борьбу против раскола фракции и требовал сопротивления попыткам Ленина расколоть фракцию. № 47 "Правды", на который ссылается моя выписка, вышел тогда, когда Сталин находился *в ссылке*. Правильна ли, в таком случае, эта цитата вообще? Или же Сталин прислал свою статью из ссылки? Разъяснение этого эпизода имеет для меня чрезвычайное значение. Может быть, впрочем, № 47 относится не к 1912 г., когда "Правда" возникла, а к 1913 г. В таком случае этот номер приходится на середину февраля. Сталин тогда, после периода работы в Петербурге, выехал за границу. Прошу как можно более тщательно со всех сторон выяснить весь этот эпизод. Крепко жму руку".

22 декабря: "Я с большим огорчением убедился, что у меня нет книжки Шумяного "Туруханка" (очерки из жизни ссыльных Туруханского края 1908-1916 годов). Книжка вышла, должно быть, в 1925 или 1924 годах. У меня есть только выписка из рецензии об этой книжке, но выписок из самой книжки нет, а между тем, по всей видимости, она представляет большой интерес. Нельзя ли разыскать ее в Нью-Йорке или в Париже? Буду очень благодарен, дело крайне спешное... Я еще не заключил договора с Гразсет на "Сталина". Если заключу, то хотел бы дать право на "[...]"* Паульсену и Денис Навиль (вместе). Я был бы очень рад, если б обе согласились. Тогда был бы контроль над переводчиком".

31 января 1939 г.: "Крайне важно было бы просмотреть протоколы съездов, начиная с 7-го, и выделить выступления Сталина, полемику других против Сталина, вообще его участие в съездах и его роль в партии, поскольку она выясняется из этих съездов. В частности, я помню следующий эпизод на 10-м съезде. Сталин выступал по вопросу о советско-польской войне и пытался переложить ответственность поражения на Смилгу. Помнится, я также принял участие в этой полемике, а затем и Ленин. Цитаты этой полемики следовало бы собрать... Может быть, можно разделить эту работу так: Протоколы съездов VII-XII будут просмотрены в Нью-Йорке. Протоколы съездов XIII-XVII — в Париже".

17 февраля 1939 г.: "В высшей степени важный и трудный вопрос, это "наступление термидора", смена настроений в глубоких массах и в

*пропуск в тексте. — Ю. Ф.

партийном и советском аппарате. Эта глава представит наибольшие трудности. Кое-что я по этому поводу сказал в своей автобиографии*. Но там я опирался на личные впечатления и общие соображения. Этого мало. В своей "Истории революции"*** я пытался охарактеризовать различные этапы в развитии массы в процессе революции. Теперь следовало бы дать развертывание фильма в обратном порядке, т. е. снижение, упадок революционных настроений, впадение масс в индифферентизм, пробуждение старых, непереваренных идеологий, с одной стороны, а с другой — рост консервативных, термидорианских тенденций в правящем слое. Определенных книг и статей по этому поводу нет или почти нет. Но отдельные данные, штрихи, намеки, факты, эпизоды рассеяны в разного рода статьях и книгах. Подумайте, что можно на этот счет собрать в Париже? Тут даже отдельные мелочи могут послужить в высшей степени важной опорой для характеристики всего этого периода в целом".

По воспоминаниям жены Троцкого Н. И. Седовой, Троцкий заключил контракт с издательством в надежде быстро написать ходовую книжку и получить за нее деньги. Но начав работу над "Сталиным", он настолько увлекся биографией своего врага, что один за другими пропускал намеченные издательством сроки окончания работы. Затруднения возникли именно со второй частью книги. Американские издатели соглашались ждать. Но русским троцкистам не терпелось издать книгу на русском как можно скорее, а лучше — "к ближайшему празднику" — 7 ноября, годовщине октябрьского переворота. 5 августа 1939 г. Троцкий дает принципиальное согласие на издание "Сталина" на русском в двух томах, с тем, чтобы первая часть рукописи, уже готовая, шла в набор, как только Троцкий будет написано предисловие:

"Сегодня послал Вам, после колебаний, телеграмму о согласии на два тома. Колебания вызывались следующим обстоятельством. Я предполагал сделать в первом томе для иностранных изданий значительные изменения, главным образом, выделить более детальный анализ в отдел примечаний. Но думаю, для русского издания, т. е. для более осведомленных читателей, в этом нет надобности; первый том

*Л. Троцкий. *Моя жизнь, Опыт автобиографии*, изд. Гранит, Берлин, 1930.

**Л. Троцкий. *История русской революции*, в трех томах, изд. Гранит, Берлин, 1931, 1933.

может, следовательно, набираться немедленно в том виде, как написан. Поправки будут очень небольшие, в двух-трех главах. Однако, не написано еще *большое предисловие*, вернее, введение, без которого выпустить первый том нельзя. Я постараюсь предисловие обработать поскорее. Однако, о выпуске книги до 7 ноября, по-моему, не может быть и речи. Да и надобности в этом особой нет. Иностранные издания выйдут лишь весной следующего года. Спешить в ущерб делу нет основания. Введение абсолютно необходимо. Насчет срока выпуска русского издания я в договорах ничем не связан”.

Троцкий не спешил. В самом конце года, 30 декабря, он выслал Чарлзу Маламуту, своему переводчику, “окончание главы о 1917 г.” для перевода на английский. В том же письме Троцкий сделал приписку: “Глава о гражданской войне (большая) — через две недели”. Но эта глава Маламуту так и не была выслана. Непостижимо, но до августа 1940 г. Троцкий так и не дописал ее. Всего, таким образом, к 20 августа Троцким были написаны первые семь глав биографии Сталина, доведшие повествование до 1917 года. Вторая часть рукописи находилась в стадии, далекой от завершения. Она представляла собой многометровые склеенные ленты бумаги, где исписанные рукой Троцкого отрывки перемешивались с выписками-документами. Готовых отрывков в одну-две-три страницы во второй части крайне мало. Приведем два таких отрывка. Первый касается формулы “Ленин-Сталин”, воспринимаемой Троцким (по праву считавшим более естественной формулу “Ленин-Троцкий”), очень болезненно.

”28-го января 1924 года, т. е. вскоре после смерти Ленина, Сталин произносил посвященную памяти Ленина речь на вечере кремлевских курсантов. И момент и аудитория были глубоко знаменательны. Кремлевские курсанты составляли военную охрану Кремля, гвардию центрального комитета и правительства. В качестве военной части они подчинены были военному ведомству во главе которого я тогда стоял. Задача Сталина состояла в том, чтоб познакомить курсантов с собой, открыть себе путь к ним, и в то же время сделать некоторые намеки, которые могли бы быть истолкованы его агентами в частных беседах против меня. Речь Сталина литературно перерабатывалась и совершенствовалась им несколько раз для новых изданий. Мы имеем дело не со стенограммой, а с законченным продуктом сталинского пера.

Именно в этой речи впервые рассказано о том апокрифическом письме от Ленина, которое Сталин получил будто бы еще в Сибири, в

конце 1903 года. Далее следует рассказ о действительной встрече с Лениным в декабре 1905 года на конференции большевиков в Таммерфорсе, в Финляндии. "Я надеялся увидеть, — рассказывает Сталин, — горного орла нашей партии, великого человека, великого не только политически, но если угодно, физически, и тов. Ленин рисовался в моем воображении в виде великана, статного и представительного".

Горный орел, который превращается в статного великана есть типичный образец сталинского стиля. Раздел речи, который мы цитируем, носит подзаголовок "скромности". Между тем, образ горного орла, как символа Ленина, проходит через всю речь. Вряд ли кто-либо приводил орла, как символ скромности. Но это все относится к сфере литературы, а цель речи была совсем не литературная. "Каково же было мое разочарование, — продолжает Сталин с деланной наивностью, — когда я увидел самого обыкновенного, ниже среднего роста, ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных...". Здесь Сталин явно говорит не о Ленине, а о себе, его затаенная мысль может быть выражена так: я вам кажусь серым, незначительным, но и Ленин мне показался таким же в первый раз. Однако, это была ошибка.

Дальше оратор изображает с осторожной иронией, как члены собрания ждут обыкновенно великого человека "с замиранием сердца", как "перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: "Цс... тише... он идет". Это изображение было направлено против тех, кто пользовался столь недостававшей Сталину популярностью. "Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу...". Все это противопоставление насквозь фальшиво, дело шло о нелегальной конференции в Таммерфорсе, где собралось два десятка делегатов, о какой-либо парадности или об овациях не могло, разумеется, быть и речи. Но Сталину нужно сказать своим молодым слушателям, что если его самого на массовых собраниях встречают без внимания, не выделяют из толпы, то это потому, что он принадлежит к той же категории, что и Ленин.

"Только впоследствии я понял, — поясняет он, — что эта простота и скромность тов. Ленина... представляет одну из самых сильных сторон... нового вождя новых масс". Так свою незаметность, отсутствие популярности Сталин объясняет курсантам своей простотой и скромностью.

Вся речь построена по тому же камертону. Характеризуя эпоху

реакции (1909-1911 год) и растерянность вождей, Сталин отмечает: "Ленин был тогда единственным, который не поддался общему поветрию". Этой фразой Сталин исключает из числа не-растерявшихся и самого себя, но он вряд ли замечал это. Тогда формула «партия Ленина-Сталина» никому еще даже не снилась. Сам Сталин еще не заходил и в самых затаенных мечтах так далеко, чтоб говорить о себе, как о вожде, особенно по отношению к прошлому. Прежде, чем отважиться думать присоединить свое имя к имени Ленина, ему нужно было разъединить другие имена. Вот откуда эта фраза о Ленине, как единственном вожде, который не поддался общему поветрию.

Сталин передает свои воспоминания — все крайне скупое, конспективно, без единой живой черты. Вот что он пишет о том критическом моменте в ноябре 1917 года, когда тогдашний главнокомандующий, генерал Духонин, отказался приступить к переговорам о перемирии. Ленин, Сталин и Крыленко стояли у прямого провода. "После некоторой паузы у провода лицо товарища Ленина озарилось каким-то необычайным светом. Видно было, что он уже принял решение. Пойдем на радиостанцию, она нам сослужит пользу: мы сместим в специальном приказе генерала Духонина, назначим на его место главнокомандующим тов. Крыленко и обратимся к солдатам через голову командного состава с призывом — окружить генералов, прекратить военные действия, связаться с австро-германскими солдатами, взять дело мира в свои собственные руки".

Эпизод передан здесь несомненно правильно, вплоть до света, который озарил лицо Ленина. В будущем этот эпизод, как и два-три подобных, будет использован для доказательства того, что Ленин не ступал без Сталина и шага, что в самые критические моменты он совещался с ним и проч. На самом деле, Сталин был с Лениным у провода потому, что другие члены политбюро были заняты более ответственной самостоятельной работой. Действительное соотношение между Сталиным и Лениным лучше всего передано в словах: "видно было, что *он уже принял решение*".

Второй отрывок — о самом Сталине: "Несомненно, что Сталину свойственна личная физическая жестокость, то, что называется обычно садизмом. Во время заключения в бакинской тюрьме сожитель Сталина по камере предался однажды мечтам о революции. "Крови тебе захотелось?" — спросил неожиданно Сталин, который тогда еще назывался

Коба. Он вынул спрятанный за голенищем сапога нож, высоко поднял штанину и нанес себе глубокий порез: "Вот тебе кровь". У себя на даче, уже став высоким советским сановником, он развлекался тем, что резал лично баранов или обливал в парке керосином муравейники и поджигал их. Таких рассказов о нем, исходящих от непосредственных наблюдателей, существует очень много. Но людей с такими склонностями на свете немало. Понадобились особые исторические условия, чтобы эти темные инстинкты природы нашли столь чудовишное развитие. Нужны были исключительные исторические обстоятельства, чтобы такие второстепенные и отчасти сомнительные преимущества его натуры, как хитрость, переходящая в коварство, холодная настойчивость, беспощадная к чужим интересам, — чтобы по существу второстепенные качества получили первостепенное значение.

Сталин систематически развращал аппарат. В ответ аппарат разнудывал своего вождя. Те черты, которые позволили Сталину организовать величайшие в человеческой истории подлоги и судебные убийства, были, конечно, заложены в его природе. Но понадобились годы тоталитарного всемогущества, чтобы придать этим преступным чертам поистине апокалиптические размеры.

Несомненно, что с тех пор, как он оказался на вершине власти, им владеет неуверенность, ему вообще несвойственная, но все усиливающаяся. Он сам слишком хорошо знает свое прошлое, несоответствие между амбицией и личными ресурсами, ту третьестепенную роль, которую он играл во все ответственные критические периоды и собственное его возвышение кажется ему, не может не представляться ему результатом не только собственных упорных усилий, но и какого-то странного случая, почти исторической лотереи. Самая необходимость в этих гиперболических похвалах, в постоянном нагромождении лести есть безошибочный признак неуверенности в себе. В повседневной жизни в течение лет он мерил себя в соприкосновении с другими людьми, он не мог не чувствовать их перевеса над собой во многих отношениях, а иногда и во всех. Та легкость, с какой он справился со своими противниками, могла в течение известного короткого периода создать у него преувеличенное представление о собственной силе, но в конце концов должна была при встрече с новыми затруднениями казаться ему необъяснимой и загадочной. На лицах всех представителей старого поколения большевиков он видел или чувствовал ироническую улыбку, здесь — одна из причин его ненависти к старой больше-

вистской гвардии. Он живет [с опасением], не появится ли какой-либо новый, неожиданный комплекс обстоятельств со знаком минус, который сбросит его вниз. С известного момента его возвышения обнаруживается загадочный и тревожный автоматизм”.

Из этой незаконченной Троцким второй части рукописи американские издатели уже после убийства Троцкого скомпоновали еще пять глав, которые, очевидно, так и не были бы никогда закончены Троцким. Дело в том, что уже в начале 1940 года Троцкий приготовился к своей смерти. Он как бы ожидал ее. Он не работал более над биографией своего убийцы. А в феврале-марте 1940 г. написал завешание — своеобразный эпилог к незаконченной рукописи:

”Высокое (и все повышающееся) давление крови обманывает окружающих насчет моего действительного состояния. Я активен и работоспособен, но развязка, видимо, близка. Эти строки будут опубликованы после моей смерти.

Мне незачем здесь еще раз опровергать глупую и подлую клевету Сталина и его агентуры: на моей революционной чести нет ни одного пятна. Ни прямо, ни косвенно я никогда не входил ни в какие закулисные соглашения или хотя бы переговоры с врагами рабочего класса. Тысячи противников Сталина погибли жертвами подобных же ложных обвинений. Новые революционные поколения восстановят их политическую честь и воздадут палачам Кремля по заслугам.

Я горячо благодарю друзей, которые оставались верны мне в самые трудные часы моей жизни. Я не называю никого в отдельности, потому что не могу назвать всех.

Я считаю себя, однако, вправе сделать исключение для своей подруги, Натальи Ивановны Седовой. Рядом со счастьем быть борцом за дело социализма судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также и дни счастья.

Сорок три года своей сознательной жизни я оставался революционером; из них сорок два года я боролся под знаменем марксизма. Если б мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать

тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности.

Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире, чтобы воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу яркозеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне.

27 февраля 1940 г. Койоакан. Л. Троцкий.

Все имущество, какое останется после моей смерти, все мои литературные права (доходы от моих книг, статей и пр.) должны поступить в распоряжение моей жены Натальи Ивановны Седовой. 27 февр. 1940 г. Л. Троцкий.

В случае смерти нас обоих... *

3 марта 1940 г.

Характер моей болезни (высокое и повышающееся давление крови) таков, что — насколько я понимаю — конец должен наступить сразу, вернее всего — опять-таки, по моей личной гипотезе — путем кровоизлияния в мозг. Это самый лучший конец, какого я могу желать. Возможно, однако, что я ошибаюсь (читать на эту тему специальные книги у меня нет желания, а врачи, естественно, не скажут правды. Если склероз примет затяжной характер и мне будет грозить длительная инвалидность (сейчас, наоборот, благодаря высокому давлению крови, я чувствую скорее прилив духовных сил, но долго это не продлится), — то я сохраняю за собою право самому определить срок своей смерти. "Самоубийство" (если здесь это выражение уместно) не будет ни в коем случае выражением отчаяния или безнадежности. Мы не раз говорили с Наташей, что может наступить такое физическое состояние, когда лучше самому сократить свою жизнь, вернее, свое слишком медленное умирание...

Каковы бы, однако, не были обстоятельства моей смерти, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в чело-

* На этом месте запись от 27.11. обрывается — Ю. Ф.

века и его будущее дает мне и сейчас такую силу сопротивления, какого не может дать никакая религия. Л. ТР."

Судьба определила Троцкому другую смерть. В 1941 году "Сталин" вышел в английском переводе Ч. Маламута. Но русский оригинал рукописи, проданный вместе со всеми архивами Троцкого Гарвардскому университету так никогда и не был опубликован. Настоящая публикация включает в себя несколько глав рукописи, полностью законченных Троцким до его убийства.

Ю. Фельштинский

Несомненно, что Сталину свойственна такая физическая жестокость, что, что называется ^{обитием} садизмом. Во время задержания в Берлинской тюрьме ^{содержимый} ~~заключенный~~ Сталина по которому проходили однажды перлы о революции. «Кровь тебе не чужда?» спросил нежданный Сталин, который тогда еще казался Коба. Он встал срезанный до плечиков сапога нож, ^{вскочил} поднял штанину и нанес себе глубокий порез. «Вот тебе кровь.» У себя на даче, уже став великим советским ^{новатором}, он разрезал тем, что резал много Захаров или обивая в ~~этом~~ порезе коростями муравьиными и поднимал их. Такие рассказы о нем, полученные от непосредственных наблюдателей, существуют очень много

Автограф отрывка о Сталине

ТРОЦКИЙ О СТАЛИНЕ

Завещание.

Насколько (и все прибывающее) далека кровь наша
кажется ~~отсталой~~ ^{отсталой} /нашей/ моего феодально-капиталистического общества,
и активнее и работоспособнее, — но разведка, видимо
близка. Эти слова будут опубликованы после моей
смерти.

Мне не удалось еще раз сформулировать программу и
подать критику Сталину и его агентуре: но моей
революционной партии нет ни одного члена. Не
просто ни копейки не вышло из бюджета ни в ко-
пейку не вышло из бюджета ни ^{долга} /переговора/ с врагами
или законными соглашениями ^{или} /переговора/ с врагами
работы наших. Многие противники Сталина после
их действий ^{подняли их} /подняли их/ обвинения: Новое ^{революционные} /революционные/ во-
становить их политическую партию и вводить на
после Кремль на вооружение.

Я горю благодарю ^{всех} /всех/ друзей, которые о-
тказались ^{или} /или/ в самые трудные часы моей жизни

Первая страница завещания Троцкого

СТАЛИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с гораздо большей подробностью, как увидит читатель, оставался на формировании Сталина в подготовительный период, чем на его политической роли в настоящее время. Факты последнего периода известны каждому грамотному человеку. Критику политики Сталина я давал в разных работах. Цель этой политической биографии — показать, каким образом сформировалась такого рода личность, каким образом она завоевала и получила право на столь исключительную роль. Вот почему [жизнь и развитие Сталина в тот период, когда о нем никто или почти никто не знал,] автор занимается тщательным анализом отдельных, хотя и мелких фактов и свидетельских показаний. Наоборот, при переходе к последнему периоду он ограничивается симфизическим изложением, предполагая факты, по крайней мере важнейшие, известными читателю.

Критики, состоящие на службе Кремля, заявят и на этот раз, как они заявляли по поводу "Истории русской революции", что отсутствие библиографических ссылок делает невозможным проверку утверждений автора. На самом деле библиографические ссылки на сотни и тысячи русских газет, журналов, мемуаров, сборников и пр. очень мало дали бы иностранному критику или читателю, а только загромодили бы текст. Что касается русских критиков, то в их распоряжении есть аппарат государственных архивов и библиотек. Если бы в моих писаниях были бы фактические ошибки, неправильные цитаты, неправильное использование материалов, то на это было бы указано давным давно. На самом деле я не знаю ни в одной антитроцкистской литературе ни одного указания на неправильное использование мною указанных источников. Этот факт, смею думать, дает серьезную гарантию и иностранному читателю.

В своей "Истории" я всячески устранял элементы мемуаров и

опирался только на те данные, которые были опубликованы и потому подлежат проверке, в том числе и на свои собственные показания, которые никем не были оспорены в прошлом. В этой биографии автор считает возможным отступить от этого слишком сурового метода. Главная ткань повествования опирается и здесь на документы, мемуары и другие объективные источники. Но в тех случаях, где ничто не может заменить показания памяти самого автора, я считал себя вправе приводить те или другие эпизоды, личные воспоминания, ясно оговаривая каждый раз, что выступаю в данном случае не только как автор, но и как свидетель.

Автор следовал в этой биографии тому же методу, какому он следовал в своей "Истории Русской революции". Многочисленные противники признали, что книга опирается на факты, сгруппированные научным методом. Правда, обозреватель "New York Times" отверг книгу, как пристрастность. Но любая строка его статьи показывает, что он возмущен русской революцией и переносит свое возмущение на ее историка. Это обычная aberrация у всякого рода либеральных субъективистов, находящихся в разладе с ходом классовой борьбы. Недовольные результатом исторического процесса, они осуждают тот научный анализ, который обнаруживает неизбежность этого результата.

Будут ли выводы автора признаны объективными — все или часть их, в конце концов, не так существенно. Гораздо важнее оценка методов. Здесь автор не опасается критики. Он прошел через работу, опираясь на факты и в полной солидарности с документами. Могут, разумеется, встретиться те или другие частичные, второстепенные погрешности или ошибки. Но чего в этой работе никто не найдет, это недобросовестного отношения к фактам, игнорирования документов или произвольных выводов, основанных только на личных пристрастиях. Автор не оставил в стороне ни одного факта, документа, свидетельства, направленного в пользу героя этой книги. Если внимательное, тщательное и добросовестное собирание фактов, даже мелких эпизодов, проверка свидетельских показаний при помощи приемов исторической и биографической критики, наконец, включение фактов личной жизни [...] исторического процесса, — если все это не есть объективность, то остается спросить, в чем же собственно она состоит?

Новое время принесло новую политическую мораль.

Но, странное дело, красный ветер возвращает нас во многих отношениях к эпохе Возрождения, или даже далеко превосходит ее по

масштабу своих жестокостей и зверства. Объявляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает грандиозный характер. [...] Законы политической механики, которые формулировал Макиавелли, в течение долгого времени считались выражением предельного цинизма. Макиавелли рассматривает задачи, борьбу за власть, как шахматную теорему. Вопросы морали не существуют для него, как они не существуют для шахматиста, как они не существуют для бухгалтера; задача состоит в том, чтобы сделать наиболее целесообразное в данном положении и объяснить, как провести в обнаженно беспощадной степени [...]. В течение 19 века, который был веком парламентаризма, либерализма и социальных реформ (если закрыть глаза на войны и на гражданские войны), Макиавелли считался давно позади. Честолюбие было введено в парламентские рамки и, вместе с тем, — разграблено. Дело шло уже не о том, чтоб захватить власть одному лицу полностью и целиком, а о том, чтоб захватить мандаты в избирательном округе, портфель министерский. Макиавелли казался идеологом далекого прошлого. Новое время принесло новую, более высокую политическую мораль.

Но, поразительное дело, 20 век возвращает нас во многих отношениях к методам эпохи Возрождения и даже далеко превосходит их по масштабу своих жестокостей и зверств. Появляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает личный характер и грандиозный масштаб. Принципы Макиавелли, которые всегда, даже в период процветания либерализма и реформ, составляли основу политической механики, получают теперь снова открытое и циничное выражение. Этот рецидив наиболее жестокого макиавеллизма кажется непонятным тому, кто до вчерашнего дня исходил из уверенности, что человеческая история движется по восходящей линии материального и культурного прогресса. Но мы можем сказать теперь: ни одна эпоха прошлого не была так жестока, беспощадна, цинична, как наша эпоха. Политическая мораль вовсе не поднялась по сравнению с эпохой Возрождения или с другими, еще более отдаленными эпохами.

Эпоха Возрождения была эпохой борьбы двух миров; социальные антагонизмы достигли крайнего напряжения. Отсюда напряжение политической борьбы, которая не допускала роскоши прикрываться или ограничивать себя моральными принципами... Во второй половине 19-го века политическая мораль так высоко поднялась над материализмом, или воображение господ политиков, только потому, что социаль-

ные антагонизмы на время смягчились, политическая борьба разменялась на мелкую монету, а основой этого был рост благосостояния и некоторые улучшения положения верхов трудящихся. Наш период, наша эпоха похожа на эпоху Возрождения в том смысле, что мы живем на грани двух миров: буржуазного, капиталистического, который переживает агонию, и того нового мира, который идет ему на смену. Социальные противоречия снова достигли исключительной остроты. Политическая борьба сконцентрировалась и не может позволить себе роскоши прикрываться правилами морали [...].

Политическая власть, как и мораль, вовсе не совершенствуются непрерывно, как думали в конце прошлого и в первое десятилетие нынешнего столетия. Политика и мораль имеют в высшей степени сложную и противоречивую орбиту. Политика, как и мораль, находится в прямой зависимости от классовой борьбы; как общее правило, можно сказать, что чем острее и напряженнее классовая борьба, чем глубже социальный кризис, — тем более напряженный характер получает политика, тем концентрированнее и беспощаднее становится государственная власть и тем откровеннее она сбрасывает с себя покровы морали. [...]

Некоторые из моих друзей обращали мое внимание на то, что слишком большое место в моей работе занимают ссылки на источники и критика источников. Я отдавал и отдаю себе ясный отчет в неудобствах такого метода изложения. Но у меня не оставалось выбора. Никто не обязан верить автору, столь близко заинтересованному, столь непосредственно участвующему в борьбе с тем лицом, биографию которого он оказался вынужденным писать. Наша эпоха есть эпоха лжи по преимуществу. Я не хочу этим сказать, что другие эпохи человечества отличались большей справедливостью. Ложь вытекает из противоречий, из борьбы, из столкновения классов, из подавления личности обществом; в этом смысле она составляла аккомпанимент всей человеческой истории. Но бывают периоды, когда социальные противоречия принимают исключительную остроту, когда ложь поднимается над средним уровнем, ложь приходит в соответствие с остротой социальных противоречий. Такова наша эпоха. *Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной [степени] похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина, причем одной из главных работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии.*

[...]

Гитлер особенно настаивает на том, что только живое устное слово характеризует вождя. Никогда, по его словам, статья не может повлиять на массы так, как речь. Во всяком случае, не может создать постоянной живой связи между вождем и его миллионами последователей. Суждение Гитлера определяется, вероятно, в значительной мере тем, что он не умеет писать. Маркс и Энгельс приобрели миллионы последователей, не прибегая за всю свою жизнь к ораторскому искусству. Правда, им для приобретения влияния понадобились многие годы. Искусство писателя в конце концов выше, ибо оно позволяет соединять глубину с высокой формой. Те политические деятели, которые были только ораторами, отличались всегда поверхностностью. Оратор не создает писателей. Наоборот, великий писатель может вдохновить тысячи ораторов. Но верно то, что для непосредственной связи с массой необходима живая речь. [...]

Ленин стал главой могущественной и влиятельной партии, прежде чем ему удалось обратиться к массам с живым словом. Его публичные выступления в 1905 году были малочисленны и прошли незамеченно. Как массовый оратор, Ленин появляется на арене только в 1917 году и то на короткий срок, в течение апреля, мая и июля. Он приходит к власти не как оратор, а прежде всего как писатель, инструктор, пропагандист, воспитавший кадры, в том числе и кадры ораторов.

Сталин представляет в этом отношении явление совершенно исключительное. Он не мыслитель, не писатель и не оратор. Он завладел властью до того, как массы научились отличать его фигуру от других во время торжественных шествий по Красной Площади. Сталин завладел властью не при помощи личных свойств, а при помощи безличного аппарата. И не он создал аппарат, а аппарат создал его. Этот аппарат со своей силой и со своим авторитетом явился результатом длинной, долгой и героической работы большевистской партии, которая сама выросла из идей. Аппарат был носителем этой идеи, прежде чем он стал самоцелью. Сталин возглавил аппарат с того момента, когда он отрезал пуповину идеи и стал вещью в себе. Ленин создавал аппарат путем постоянного общения с массой если не устным словом, то печатным, если не непосредственно, то через посредство своих учеников. Сталин не создавал аппарата, а овладел им. Разумеется, не всякий может овладеть аппаратом. Для этого нужны были исключительные и особые качества, которые не имеют, однако, ничего общего с качествами исторического

инициатора, мыслителя, писателя или оратора. Аппарат вырос в свое время из идей. Сталину нужно было презрительное отношение к идее. Идея имела...*

ПЕРИОД РЕАКЦИИ

Личная жизнь подпольных революционеров была отодвинута на задний план и придушена, но она существовала. Как пальмы на пейзажах Диего Ривера, любовь из-под тяжелых камней прокладывала себе дорогу к солнцу. Чаще всего, почти всегда, она была связана с революцией. Единство идей, борьбы, опасностей, близость в изолированности от остального мира создавали крепкие связи. Пары соединялись в подполье, разъединялись тюрьмою и снова находили друг друга в ссылке. О личной жизни молодого Сталина мы знаем мало, но тем более ценно это малое для характеристики человека.

"В 1903 г. он женился, — рассказывает Иремашвили. — Его брак был, как он понимал его, счастливым. Правда, равноправия полов, которое он выдвигал как основную форму брака в новом государстве, в его собственном доме нельзя было найти. Да это и не отвечало совсем его натуре — чувствовать себя равноправным с кем-нибудь. Брак был счастливым потому, что его жена, которая в развитости не могла следовать за ним, глядела на него как на полубога, и потому, что она, как грузинка, выросла в священной традиции, обязывающей женщину служить". Сам Иремашвили, хотя и считавший себя социал-демократом, сохранил в почти незатронутом виде культ традиционной грузинской женщины, по существу, семейной рабыни. Жену Кобы он рисует теми же чертами, что и его мать, Кеке. "Эта истинно грузинская женщина... всей душой заботилась о судьбе своего мужа. Проводя неисчислимые ночи в горячих молитвах, ждала своего Сосо, когда он участвовал в тайных собраниях. Она молилась о том, чтобы Коба отвернулся от своих богопротивных идей ради мирной семейной жизни в труде и довольстве".

*Здесь обрывается запланированное Троцким "большое предисловие", так никогда не отредактированное и не дописанное им. 20 августа 1940 г. он был смертельно ранен ударом альпийской кирки в голову, нанесенным ему в тот момент, когда он склонился над чтением рукописи, принесенной убийцей. Через сутки, 21 августа 1940 г., Троцкий умер.

Не без изумления узнаем мы из этих строк, что у Кобы, который сам уже в 13 лет отвернулся от религии, была наивно и глубоко верующая жена. Это обстоятельство может показаться заурядным в устойчивой буржуазной среде, где муж считает себя агностиком или развлекается франк-масонским ритуалом, в то время как жена, после очередного адюльтера, исповедуется у католического священника. В среде русских революционеров эти вопросы стояли неизмеримо острее. Не анемичный агностицизм, а воинствующий атеизм составлял необходимый элемент их революционной философии. И где им было взять личной терпимости к религии, неразрывно связанной со всем тем, против чего они боролись среди постоянных опасностей? В рабочей среде при ранних браках можно было встретить, правда, немало случаев, когда муж, уже после женитьбы, становился революционером, а жена упорно сохраняла старые верования. Однако, это вело обычно к драматическим коллизиям. Муж скрывал от жены свою новую жизнь и отходил от нее все дальше. В других случаях муж отвоевывал жену на свою сторону от ее родни. Молодые рабочие часто жаловались, что трудно найти девушек, свободных от старых суеверий. В среде учащейся молодежи выбор подруги был гораздо легче. Почти не было примеров, чтоб революционный интеллигент женился на верующей. Не то чтобы на этот счет существовали какие-либо правила. Но это просто не отвечало нравам, взглядам, чувствам среды. Коба представлял несомненно редкое исключение.

Из различия взглядов не возникло, видимо, никакой драмы. "Внутренне столь беспокойный человек, который на каждом шагу и при каждом действии чувствовал себя наблюдаемым и преследуемым царской тайной полицией, мог находить любовь только в убогом очаге своей семьи. Из того презрения, которое он источал по отношению ко всем людям, он исключал только свою жену, свое дитя и свою мать". Идиллическая семейная картина, которую рисует Иремашвили, как бы подсказывает вывод о мягкой терпимости Кобы к верованиям близкого ему существа. Но это слишком мало вяжется с тиранической натурой этого человека. На самом деле терпимостью выглядит здесь нравственное безразличие. Коба не искал в жене друга, способного разделить его взгляды или хотя бы амбиции. Он удовлетворялся покорной и преданной женщиной. По взглядам он был марксистом; по чувствам и духовным потребностям — сыном осетина Бесо из Диди-Лило. Он не требовал от жены больше того, что его отец нашел в безропотной Кеке.

Хронология Иремашвили, не безупречная вообще, в делах личного характера надежнее, чем в области политики. Возбуждает, однако, сомнение дата женитьбы: 1903 год. Коба был арестован в апреле 1902 г. и вернулся из ссылки в феврале 1904 г. Возможно, что венчание состоялось в тюрьме — такие случаи были нередки. Но возможно и то, что женитьба произошла лишь после побега из ссылки, в начале 1904 г. Церковное венчание в этом случае представляло, правда, для "нелегального" трудности; но при первобытных нравах того времени, особенно на Кавказе, полицейские препятствия можно было обойти. Если женитьба произошла после ссылки, то это отчасти может объяснить политическую пассивность Кобы в течение 1904 г.

Жена Кобы — мы не знаем даже ее имени — умерла в 1907 г., по некоторым сведениям, от воспаления легких. К этому времени отношения между двумя Сосо успели утратить дружеский характер. "Его резкая борьба, — жалуется Иремашвили, — направлялась отныне против нас, его прежних друзей. Он нападал на нас во всех собраниях, дискуссиях самым ожесточенным и низменным образом и пытался всюду сеять против нас яд и ненависть. Если б у него была возможность, он бы нас искоренил огнем и мечом... Но подавляющее большинство грузинских марксистов оставалось с нами. Этот факт еще больше усиливал его злобу". Политическая отчужденность не помешала Иремашвили посетить Кобу по случаю смерти жены, чтоб принести ему слова утешения: такую силу сохраняли еще традиционные грузинские нравы. "Он был очень печален и встретил меня, как некогда, по-дружески. Бледное лицо отражало душевное страдание, которое причинила смерть верной жизненной подруги этому столь черствому человеку. Его душевное потрясение... должно было быть очень сильным и длительным, так как он не способен был более скрывать его перед людьми".

Умершую похоронили по всем правилам православного ритуала. На этом настаивали родственники жены, и Коба не сопротивлялся. "Когда скромная процессия достигла входа на кладбище, — рассказывает Иремашвили, — Коба крепко пожал мою руку, показал на гроб и сказал: "Сосо, это существо смягчало мое каменное сердце; она умерла, и вместе с ней — последние теплые чувства к людям". Он положил правую руку на грудь: "здесь внутри все так опустошено, так непередаваемо пусто!". Эти слова могут показаться театрально-патетическими и неестественными; но они вполне похожи на правду, и не только потому, что дело идет о молодом человеке, которого постиг первый

личный удар: мы и в дальнейшем встретим у Сталина склонность к сухой патетике, нередкой у черствых натур. Угловатую стилистику для выражения своих чувств он почерпал из внушений семинарской гомиетики.

Жена оставила Кобе мальчика с мелкими и нежными чертами лица. В 1919-20 годах он учился в тифлисской гимназии, где Иремашвили состоял преподавателем. Вскоре отец перевел Яшу в Москву. Мы еще встретимся с ним в Кремле. Вот и все, что мы знаем об этом браке, который во времени (1903-1907) довольно точно укладывается в рамки первой революции. Такое совпадение неслучайно: ритмы личной жизни революционеров слишком тесно бывали связаны с ритмами больших событий. "Начиная с того дня, когда он похоронил свою жену, — настаивает Иремашвили, — он утратил последний остаток человеческих чувств. Его сердце наполнилось невыразимо злобной ненавистью, которую уже его безжалостный отец начал сеять в детской душе сына. Он подавлял сарказмом все более редко подымавшиеся моральные сдержки. Беспощадный по отношению к самому себе, он стал беспощадным и по отношению ко всем людям". Таким он вступил в период реакции, которая надвинулась тем временем на страну.

Начало массовых стачек во второй половине 90-х годов означало приближение революции. Среднее число стачечников не составляло, однако, еще и 50 тысяч в год. В 1905 г. это число сразу поднялось до 2.3/4 миллиона; в 1906 г. оно снижается до 1 миллиона; в 1907 г. — до 3/4 миллиона, считая, конечно, и повторные стачки. Таковы цифры революционного трехлетия: мир не знал еще подобной стачечной волны! В 1908 г. открывается период реакции: число стачечников сразу падает до 174 тысяч, в 1909 г. — до 64 тысяч, в 1910 г. — до 50 тысяч. Но в то время, как пролетариат столь быстро свертывает свои ряды, разбуженные им крестьяне еще продолжают и даже усиливают свое наступление. В месяцы первой Думы особенно широко развернулись разгромы помещичьих гнезд. Прокатился ряд солдатских волнений. После подавления попыток Свеаборгского и Кронштадтского восстаний (июль 1906 г.) монархия делается смелее, вводит военно-полевые суды, фальсифицирует, при помощи сената, выборное право, но не достигает на этом пути нужных результатов: вторая Дума оказывается радикальнее первой.

Политическое положение в стране Ленин характеризует в феврале 1907 г. следующими словами: "Самый дикий, самый бесстыдный произ-

вол... Самый реакционный избирательный закон в Европе. Самый революционный в Европе состав народного представительства в самой отсталой стране!". Отсюда вывод: "впереди — новый, еще более грозный... революционный кризис". Вывод оказался ошибочным. Революция была еще достаточно сильна, чтобы дать знать о себе на арене царского псевдо-парламента. Но она была уже разбита. Ее конвульсии становились все слабее.

Параллельный процесс происходил и в социалдемократической партии. По числу членов она еще продолжала расти. Но ее влияние на массы падало. Сто социалдемократов уже не способны были вывести на улицу столько рабочих, сколько год назад выводили десять социалдемократов. Различные стороны революционного движения. — как исторического процесса в целом, как живого развития вообще — не равномерны и не гармоничны. Рабочие и даже мелкие буржуа пытались за поражение в открытом бою мстить царизму левым голосованием; но на новое восстание они уже не были способны. Лишившись аппарата советов и непосредственной связи с массами, быстро впадавшими в мрачную апатию, более активные рабочие почувствовали потребность в революционной партии. Так полевение Думы и рост социалдемократии оказалось на этот раз симптомами не подъема, а упадка революции.

Ленин, несомненно, и в те дни уже допускал такую возможность. Но пока окончательная проверка не была дана опытом, он продолжал строить политику на революционном прогнозе. Таково было основное правило этого стратега. "Революционная социалдемократия, — писал он в октябре 1906 г. — первой должна стновиться на путь наиболее решительной и наиболее прямой борьбы и последней принимать более обходные способы борьбы". Под прямой борьбой надо понимать: забастовки, демонстрации, всеобщую стачку, схватки с полицией, восстание. Под обходными способами: использование легальных возможностей, в частности парламентаризма, для собирания сил. Эта стратегия неизбежно заключала в себе опасность применения боевых методов в такой момент, когда объективные условия для них уже исчезли. Но на весах революционной партии этот тактический риск весил неизмеримо менее стратегической опасности: отстать от событий и упустить революционную ситуацию.

Пятый съезд партии, заседавший в Лондоне в мае 1907 г., отличался чрезвычайным многочисленностью: в зале "социалистической" церкви насчитывалось 302 делегата с решающими голосами (один

делегат на 500 членов партии), около полусотни — с совещательными и немало гостей. Большевиков было 90, меньшевиков — 85. Национальные делегации располагались между флангами, как "центр". На прошлом съезде, как мы помним, представлены были 13.000 большевиков и 18.000 меньшевиков (один делегат на 300 членов партии). За двенадцать месяцев между Стокгольмским и Лондонским съездами русская часть партии возросла с 31.000 до 77.000 членов, т. е. в два с половиной раза. Обострение фракционной борьбы неизбежно вздувало цифры. Но остается неоспоримым, что передовые рабочие за последний год продолжали притекать к партии. Значительно быстрее усиливалось при этом левое крыло. В Советах 1905 г. меньшевики преобладали; большевики составляли скромное меньшинство. В начале 1906 г. силы обоих течений в Петербурге приблизительно сравнялись. В период между Первой и Второй думой большевики стали брать верх. Во время Второй думы они уже завоевали полное преобладание среди передовых рабочих. Стокгольмский съезд по характеру принятых решений был меньшевистским, Лондонский — большевистским.

Власти внимательно следили за этим сдвигом партии влево. Незадолго до съезда департамент полиции разъяснял своим отделениям на местах, что "меньшевистские группы по настроению их в настоящий момент не представляют столь серьезной опасности, как большевики". В очередном докладе о ходе съезда, представленном департаменту полиции его заграничным агентом, заключается следующая оценка: "Из ораторов в дискуссии выступали в защиту крайней революционной точки зрения Станислав (большевик), Троцкий, Покровский (большевик), Тышко (польский национал-демократ); в защиту же оппортунистической точки зрения Мартов, Плеханов" (вожди меньшевиков). "Ясно намечается, — продолжает охранник, — поворот социал-демократов к революционным методам борьбы... Меньшевизм, расцветший благодаря Думе, с течением времени, когда Дума показала свою импотентность, вымирает и снова дает простор большевистским или, вернее, крайне революционным течениям". На самом деле, как уже сказано, внутренние сдвиги в пролетариате были сложнее и противоречивее: передовой слой, под влиянием опыта, сдвинулся влево; массы, под влиянием поражений, сдвинулись вправо. Дыхание реакции уже носилось над съездом. "Наша революция переживает трудные времена, — говорил Ленин на заседании 12 мая. — Нужна вся сила воли, вся выдержанность и стойкость сплоченной пролетарской партии, чтобы

уметь противостоять настроениям неверия, упадка сил, равнодушия, отказа от борьбы”.

”В Лондоне, — пишет французский биограф, — Сталин в первый раз видел Троцкого, но последний вряд ли заметил его; вождь Петербургского Совета не был человеком, который легко завязывает знакомства и сближается с кем-либо без действительного духовного сродства”. Верно ли это или нет, но факт таков, что только из книги Суварина я узнал о присутствии Кобы на Лондонском съезде и нашел затем подтверждение этого в официальных протоколах. Как и в Стокгольме, Иванович* принимал участие не в числе 302 делегатов с решающим голосом, а в числе 42 с совещательным. Так слаб оставался большевизм в Грузии, что Коба не мог собрать в Тифлисе 500 голосов! ”Даже в родном городе Кобы и моем, в Гори, — пишет Иремашвили, — не было ни одного большевика”. Полное господство меньшевиков на Кавказе засвидетельствовал в прениях съезда Шаумян, один из руководящих кавказских большевиков, соперник Кобы и будущий член ЦК. ”Кавказские меньшевики, — жаловался он, — пользуясь своим подавляющим численным перевесом и официальным господством на Кавказе, принимают все меры к тому, чтобы не дать быть избранными большевикам”. В заявлении, подписанном тем же Шаумяном и Ивановичем, читаем: ”Кавказские меньшевистские организации состоят почти сплошь из городской и сельской мелкой буржуазии”. Из 18.000 кавказских членов партии насчитывалось не более 6.000 рабочих; но и те в подавляющем числе шли за меньшевиками.

Наделение Ивановича совещательным голосом сопровождалось не лишенным интереса инцидентом. В качестве очередного председателя съезда Ленин предложил без прений утвердить предложение мандатной комиссии о предоставлении совещательного голоса четырем делегатам, в том числе Ивановичу. Неутомимый Мартов крикнул с места: ”Я просил бы выяснить, кому дается совещательный голос, кто эти лица, откуда и т. д.”. Ленин: ”*Действительно, это неизвестно*, но съезд может довериться единогласному мнению мандатной комиссии”. Весьма вероятно, что у Мартова были уже какие-либо закулисные сведения о специфическом характере работы Ивановича, — об этом вскоре будет речь, — и что именно поэтому Ленин поспешил отвести опасный

*”Иванович”, ”Коба”, ”Нижерадзе”, ”Чижиков”, — псевдонимы Сталина.

намек ссылкой на единогласие мандатной комиссии. Во всяком случае, Мартов считал возможным характеризовать "этих лиц", как неизвестных: "кто они, откуда и т. д."; с своей стороны, Ленин не только не оспорил, но подтвердил эту характеристику. В 1907 г. Сталин оставался совершенно еще неизвестной фигурой не только для широких кругов партии, но и для 300 делегатов съезда. Предложение комиссии было принято при значительном числе воздержавшихся.

Однако, самое замечательное состоит в том, что Иванович ни разу не воспользовался представленным ему совещательным голосом. Съезд длился почти три недели, прения были крайне обильны. Но в списке многочисленных ораторов мы ни разу не встречаем имени Ивановича. Только под двумя короткими письменными заявлениями, внесенными кавказскими большевиками по поводу их домашних конфликтов с меньшевиками, значится на третьем месте его подпись. Других следов его присутствия на съезде нет. Чтоб понять значение этого обстоятельства, надо знать закулисную механику съезда. Каждая из фракций и национальных организаций собиралась в перерывах между официальными заседаниями особо для выработки своей линии поведения и назначения ораторов. Таким образом, в течение трехнедельных дебатов, в которых выступали все сколько-нибудь заметные члены партии, большевистская фракция не нашла нужным поручить ни одного выступления Ивановичу.

Под конец одного из последних заседаний съезда говорил молодой петербургский делегат. Все спешили покинуть места, почти никто не слушал. Оратор оказался вынужден встать на стул, чтоб обратить на себя внимание. Несмотря на крайне невыгодную обстановку, ему удалось добиться того, что вокруг него стали сосредоточиваться делегаты, и зал притих. Эта речь сделала дебютанта членом Центрального Комитета. Обреченный на молчание Иванович отметил успех молодого незнакомца, — Зиновьеву было всего 25 лет — вероятно, без сочувствия, но вряд ли без зависти. Решительно никто не замечал честолюбивого кавказца с совещательным голосом. Один из рядовых участников съезда, большевик Гандурин, рассказывал в своих воспоминаниях: "Во время перерывов мы обычно окружали одного или другого из крупных работников, забрасывая вопросами". Гандурин упоминает в числе делегатов Литвинова, Ворошилова, Томского и других сравнительно малоизвестных тогда большевиков; но ни разу не называет Сталина. А между тем воспоминания написаны в 1931 г., когда Сталина

было уже гораздо труднее забыть, чем вспомнить.

В число членов нового Центрального Комитета от большевиков были выбраны: Мешковский, Рожков, Теодорович и Ногин; в качестве кандидатов: Ленин, Богданов, Красин, Зиновьев, Рыков, Шанцер, Саммер, Лейтайзен, Таратута, А. Смирнов. Наиболее видные руководители фракции попали в число кандидатов по той причине, что на передний план были выдвинуты лица, которые могли работать в России. Но ни в число членов, ни в число кандидатов Иванович не попал. Было бы неправильно искать причины этого в кознях меньшевиков: на самом деле каждая фракция сама выбирала своих кандидатов. Из числа большевистских членов ЦК некоторые, как Зиновьев, Рыков, Таратута, А. Смирнов, по возрасту принадлежали к тому же поколению, что Иванович, и были даже моложе его.

На последнем заседании большевистской фракции, уже после закрытия съезда, был избран тайный большевистский центр, так называемый "БЦ" в составе 15 членов. В их числе мы находим тогдашних и будущих теоретиков и литераторов: Ленина, Богданова, Покровского, Рожкова, Зиновьева, Каменева, как и наиболее выдающихся организаторов: Красина, Рыкова, Дубровинского, Ногина и других. Иванова и в этой коллегии нет. Значение этого факта слишком очевидно. Сталин мог не войти в ЦК, не будучи известен *всей* партии или — допустим на минуту — вследствие особенно острой вражды к нему кавказских меньшевиков. Но если бы он имел вес и влияние внутри собственной фракции, он непременно вошел бы в состав большевистского Центра, который нуждался в авторитетном представителе Кавказа. Сам Иванович не мог не мечтать о месте в "БЦ". Но такого места для него не нашлось.

Зачем же вообще Коба приезжал при таких условиях в Лондон? Он не мог поднимать руку, как делегат. Он оказался не нужен, как оратор. Он явно не играл никакой роли на закрытых заседаниях большевистской фракции. Невероятно, чтоб он приехал только для того, чтоб послушать и посмотреть. У него были, очевидно, иные задачи. Какие именно?

Съезд закончился 19 мая. Уже 1 июня премьер Столыпин предъявил Думе требование немедленно исключить 55 социал-демократов и дать согласие на арест 16 из них. Не дожидаясь согласия, полиция приступила в ночь на 2-е июня к арестам. 3-го июня Дума уже объявлена распушенной, и, в порядке государственного переворота,

опубликован новый избирательный закон. Повсеместно произведены заранее подготовленные массовые аресты, в частности, среди железнодорожников — в предупреждение всеобщей забастовки. Попытки восстановления в Черноморском флоте и в одном из киевских полков закончились неудачей. Монархия торжествовала. Когда Столыпин гляделся в зеркало, он находил там Георгия Победоносца, поразившего насмерть дракона.

Очевидный упадок революции вызвал ряд новых кризисов в партии и в самой большевистской фракции, которая повально становится на бойкотистскую позицию. Это была почти инстинктивная реакция против насилия правительства и, вместе, попытка прикрыть радикальным жестом собственную слабость. Отдыхая после съезда в Финляндии, Ленин всесторонне обдумал положение и решительно выступил против бойкота. Его положение в собственной фракции оказалось нелегким, ибо нелегко вообще переход от революционных праздников к мрачным будням. "За исключением Ленина и Рожкова, — писал Мартов, — все видные представители большевистской фракции (Богданов, Каменев, Луначарский, Вольский и др.) высказались за бойкот". Цитата интересна, в частности, тем, что, включая в число "видных представителей" не только Луначарского, но и давно забытого Вольского, не упоминает Сталина. В 1924 г., когда официальный исторический журнал в Москве воспроизвел свидетельство Мартова, редакции не пришлось еще в голову поинтересоваться тем, как голосовал Сталин.

Между тем Коба был в числе бойкотистов. Помимо прямых свидетельств на этот счет, правда, исходящих от меньшевиков, имеется одно косвенное, но наиболее убедительное: ни один из нынешних официальных историков не упоминает ни одним словом о позиции Сталина по отношению к выборам в III Государственную Думу. В вышедшей вскоре после переворота брошюре "О бойкоте III Думы", где Ленин защищал участие в выборах, точку зрения бойкотистов представлял Каменев. Кобе тем лучше удалось сохранить свое инкогнито, что никому не могло в 1907 г. придти в голову предложить ему выступить со статьей. Старый большевик Пирейко вспоминает, как бойкотисты "громили товарища Ленина за его меньшевизм". Можно не сомневаться, что и Коба в тесном кругу не скупился на крепкие грузинские и русские слова. С своей стороны, Ленин требовал от своей фракции готовности и способности глядеть действительности в глаза. "Бойкот есть объявление прямой войны старой власти, прямая атака на нее. Вне широкого

революционного подъема... не может быть и речи об успехе бойкота". Много позже, в 1920 г., Ленин писал: "Ошибкой... был уже бойкот большевиками Думы в 1906 г." Ошибкой он был потому, что после декабрьского поражения нельзя было ожидать близкого революционного штурма; неразумно было, поэтому, отказываться от думской трибуны для собирания революционных рядов.

На партийной конференции, собравшейся в июле в Финляндии, оказалось, что из 9 делегатов-большевиков все, кроме Ленина, стояли за бойкот. Иванович на конференции не участвовал. Бойкотисты выставили докладчиком Богданова. Положительное разрешение вопроса об участии в выборах прошло соединенными голосами "меньшевиков, бундистов, поляков, одного из латышей и одного большевика", — пишет Дан. Этим "одним большевиком" был Ленин. "В маленькой дачке горячо защищал свою позицию Ильич, — вспоминает Крупская. — Подъехал на велосипеде Красин и постоял у окна, внимательно слушая Ильича. Потом, не входя в дачу, задумчиво пошел прочь...". Красин отошел от окна больше, чем на десять лет. Он вернулся в партию лишь после Октябрьской революции, да и то далеко не сразу. Постепенно, под влиянием новых уроков большевики переходили на позицию Ленина, хотя, как увидим, не все. Бесшумно отказался от бойкотизма и Коба. Его кавказские статьи и речи в пользу бойкота великодушно преданы забвению.

1-го ноября начала свою бесславную деятельность III Государственная Дума, в которой за помещиками и крупной буржуазией было заранее обеспечено большинство. Открылась самая мрачная полоса в жизни "обновленной" России. Рабочие организации подверглись разгрому, революционная печать была задушена, в хвосте карательных экспедиций шли военно-полевые суды. Но страшнее внешних ударов была внутренняя реакция. Дезертирство приняло повальный характер. Интеллигенция уходила от политики в науку, искусство, религию, эротическую мистику. Эпидемия самоубийств дополняла картину. Переоценка ценностей направлялась прежде всего против революционных партий и их вождей. Резкая смена настроений нашла яркое отражение в архивах департамента полиции, где тщательно перлюстрировали подозрительные письма, сохраняя наиболее интересные для истории.

Из Петербурга писали Ленину в Женеву: "Тихо наверху и внизу, но внизу тишина отравленная. Под покровом тишины зреет такое озлоб-

ление, от которого взвоят кому выть надлежит. Но пока от этого озлобления плохо приходится и нам". Некий Захаров писал своему приятелю в Одессу: "Абсолютно утеряна вера в тех, кого раньше так высоко ставили... Помилуйте, в конце 1905 г. Троцкий всерьез говорил, что вот-де закончился полным успехом политический переворот, и за ним сейчас же начнется переворот социальный... А чудесная тактика вооруженного восстания, с которой большевики носились... Да, изверился я окончательно в наших вождах и вообще в так называемой революционной интеллигенции". Либеральная и радикальная пресса не щадила, с своей стороны, сарказма по адресу побежденных.

Корреспонденции местных организаций в Центральном Органе партии, перенесенном снова за границу, не менее красноречиво отражали процесс разложения революции. "В последнее время, за отсутствием интеллигентных работников, окружная организация умерла", — пишут из центрального промышленного района. "Наши идейные силы тают, как снег", — жалуются с Урала. "Элементы,... примкнувшие к партии лишь в момент подъема... покинули наши партийные организации". И все в том же роде. Даже в каторжных тюрьмах герои и героини восстаний и террористических актов враждебно отворачивались от собственного вчерашнего дня и употребляли такие слова, как "партия", "товарищ", "социализм", не иначе, как в ироническом смысле.

Дезертировали не только интеллигенты, не только "рышари на час", временно примкнувшие к движению, но и передовые рабочие, годами связанные с партией. "В партийных комитетах стало пусто, безлюдно", — вспоминал Войтинский, ушедший позже от большевиков к меньшевикам. Среди отсталых слоев рабочего класса усилились, с одной стороны, религиозность, с другой — алкоголизм, карточные игры и т. д. В верхнем слое стали задавать тон рабочие-индивидуалисты, стремившиеся, в стороне от масс, к повышению личного культурного и бытового уровня. На эту тоненькую прослойку аристократии, главным образом металлистов и печатников, опирались меньшевики. Рабочие среднего слоя, которых революция приучила к чтению газеты, проявляли большую устойчивость. Но, войдя в политическую жизнь под руководством интеллигентов и сразу предоставленные самим себе, они оказались парализованы и выжидали.

Не все дезертировали. Но революционеры, не желавшие сдаваться, наталкивались на непреодолимые трудности. Для нелегальной организации нужны сочувствующая среда и постоянно обновляющиеся ре-

зервы. В обстановке упадочных настроений было трудно, почти невозможно соблюдать необходимые меры конспирации и поддерживать революционные связи. "Подпольная работа шла вяло. В течение 1909 г. были арестованы партийные типографии в Ростове на Дону, Москве, Тюмени, Петербурге"... и пр. и пр.; "склады прокламаций в Петербурге, Белостоке, Москве; архив Центрального Комитета в Петербурге. При всех этих арестах партия теряла хороших работников". Так, почти в тоне огорчения, повествует отставной жандармский генерал Спиридович.

"Людей у нас вообще нет, — пишет Крупская химическими чернилами в Одессу, в начале 1909 г., — все по тюрьмам и ссылкам". Жандармы проявили невидимый текст письма и — увеличили население тюрем. Малочисленность революционных рядов неизбежно влекла за собой снижение уровня комитетов. Недостаток выбора открывал возможность секретным агентам подниматься по ступеням подпольной иерархии. Одним движением пальца провокатор обрекал на арест революционера, который становился на его пути. Попытка очистить организации от сомнительных элементов немедленно приводила к массовым арестам. Атмосфера взаимного недоверия и подозрительности душила всякую инициативу. После ряда хорошо рассчитанных арестов во главе Московской Окружной организации становится в начале 1910 г. провокатор Кукушкин. "Осуществляется идеал Охранного Отделения, — пишет активный участник движения, — во главе всех московских организаций стоят секретные сотрудники". Немногим лучше обстояло дело в Петербурге. "Верхи оказались разгромленными, казалось, не было возможности их восстановить, провокация разъедала, организации разваливались"... В 1909 г. в России оставалось еще пять-шесть действующих организаций, но и они быстро замирали. Число членов в Московской Окружной организации достигало к концу 1908 г. 500, в середине следующего года оно упало до 250, еще через полгода — до 150; в 1910 г. организация перестала существовать.

Бывший думский депутат Самойлов рассказывает, что распалась к началу 1910 г. Иваново-Вознесенская организация, недавно еще столь внушительная и активная. Вслед за ней зачахли и профессиональные союзы. Зато подняли голову черносотенные банды. На текстильных фабриках постепенно восстанавливались дореволюционные порядки: пониженная плата, суровые штрафы, увольнения и пр. "Рабочий молчал и терпел". И все же возврата к старому уже не могло быть. Ленин

ссылался за границей на письма рабочих, которые, рассказывая о возобновившихся притеснениях и издевательствах фабрикантов, прибавляли: "Погодите, придет опять 1905 год!"

Террор сверху дополнялся террором снизу. Разгромленное восстание еще долго продолжало конвульсивно биться в виде отдельных локальных вспышек, партизанских набегов, групповых и индивидуальных террористических актов. Статистика террора замечательно ярко характеризует кривую революции. В 1905 г. было убито 233 человека; в 1906 г. — 768; в 1907 г. — 1.231. Число раненых изменялось в несколько иной пропорции, так как террористы научились более метко стрелять. Кульминации своей террористическая волна достигла в 1907 г. "Бывали дни, — писал либеральный обозреватель, — когда несколько крупных случаев террора сопровождалось положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации... Мастерские бомб открываются во всех городах, бомбы рвут самих мастеров по неосторожности"... и пр. Алхимия Красина сильно демократизировалась. Взятое в целом, трехлетие 1905-1907 годов резко выделяется как в отношении террористических актов, так и в отношении стачек. Но различие между этими двумя рядами цифр бросается в глаза: в то время как число стачечников из года в год быстро падает, число террористических актов, наоборот, столь же быстро поднимается. Вывод ясен: индивидуальный террор нарастает по мере ослабления массового движения. Однако, усиление террора не могло идти без конца. Толчок, данный революцией, должен был неизбежно израсходоваться и в этой области. Если в 1907 г. убитых — 1.231, то в 1908 — около 400, в 1909 г. — около 100. Возросший процент раненых показывает, что стреляют теперь случайные люди, преимущественно зеленая молодежь.

На Кавказе, где еще очень живы были романтические традиции разбоя и кровной мести, партизанская война нашла бесстрашных кадры исполнителей. За годы первой революции в одном Закавказьи совершено было свыше тысячи террористических актов всякого рода. Большой размах действия боевых дружин получили также на Урале под руководством большевиков, и в Польше под знаменем ППС ("Польской Социалистической Партии"). 2-го августа 1906 г. на улицах Варшавы и других городов края были убиты и ранены десятки полицейских и солдат. Эти атаки имели задачей, по объяснению вождей, "поддержать революционное настроение пролетариата". Вождем этих вождей был Иосиф Пилсудский, будущий "освободитель" Польши и ее угне-

татель. В связи с событиями в Варшаве, Ленин писал: "Мы советуем всем многочисленным боевым группам нашей партии прекратить свою бездеятельность и предпринять ряд партизанских действий"... "И эти призывы большевистских лидеров, — замечает генерал Спиридович, — несмотря на противодействие Центрального Комитета (меншевистского), не оставались безрезультатными".

Большую роль в кровавых схватках боевиков с полицией играл вопрос о деньгах, нерве всякой войны, в том числе и гражданской. До конституционного манифеста 1905 г. революционное движение финансировалось главным образом либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией. Это относится также и к большевикам, на которых либеральная оппозиция глядела тогда лишь как на более смелых революционных демократов. Перенеся свои надежды на будущую Думу, буржуазия стала видеть в революционерах помеху на пути соглашения с монархией. Эта перемена фронта резко ударила по финансам революции. Локауты и безработица приостановили приток денег со стороны рабочих. Между тем революционные организации успели развернуть большой аппарат, со своими типографиями, издательствами, кадрами агитаторов и, наконец, боевыми отрядами, которые требовали вооружения. Насильственный захват денежных средств казался в этих условиях единственным средством дальнейшего финансирования революции. Инициатива, как почти всегда, пришла снизу. Первые экспроприации производились довольно мирным путем, нередко при молчаливом соглашении между "экспроприаторами" и служащими экспроприруемого учреждения. Рассказывали случаи, когда чиновники страхового общества "Надежда" успокаивали бледных боевиков словами: "Не волнуйтесь, товарищи!" Однако, идиллический период длился недолго. Вслед за буржуазией отходит от революции интеллигенция, включая и банковских чиновников. Полицейские меры усиливаются. Растет число жертв с обеих сторон. Лишенные поддержки и сочувствия, "боевые организации" быстро сгорают или столь же быстро загнивают.

Типическую картину разложения даже наиболее дисциплинированных дружин дает в своих воспоминаниях уже цитированный выше Самойлов, бывший депутат Думы от Ивано-Вознесенских ткачей. Дружина, действовавшая первоначально "по директивам партийного центра", во второй половине 1906 г. начала "пошаливать". Когда дружина предложила партии часть ограбленных ею на фабрике денег

(кассир был при этом убит), комитет наотрез отказался и призвал дружинников к порядку. Но они уже быстро катились вниз и скоро докатились до "разбойных нападений обыкновенного уголовного типа". Имея постоянно крупные деньги, боевики начали заниматься кутежами, причем часто попадались во время кутежей в руки полиции. Так вся дружина нашла себе постепенно бесславный конец. "Надо, однако, признать, — пишет Самойлов, — что в ее рядах было немало... беззаветно преданных делу революции товарищей, иногда с кристально чистой душой"...

Первоначальное назначение боевых организаций состояло в том, чтобы встать во главе восставших масс, помогая им овладевать оружием и наносить врагу удары в наиболее чувствительные места. Главным, если не единственным теоретиком в этой области был Ленин. После поражения декабрьского восстания возник вопрос: что делать боевым организациям? На Стокгольмский съезд Ленин явился с проектом резолюции, которая, признавая партизанские действия неизбежным продолжением декабрьского восстания и подготовкой новой большой битвы с царизмом, допускала так называемые экспроприации денежных средств "под контролем партии". Большевики сняли, однако, свою резолюцию под влиянием разногласий в собственной среде. Большинством 64 голосов против 4 при 20 воздержавшихся принята была резолюция меньшевиков, которая совершенно запрещала "экспроприации" у частных лиц и учреждений и допускала захват государственных средств только в случае образования органов революционной власти в данной местности, т. е. в непосредственной связи с народным восстанием. 24 делегата, которые воздержались или голосовали против, составляли ленинскую, непримиримую половину большевистской фракции.

В обширном печатном докладе о Стокгольмском съезде Ленин совершенно обходит резолюцию о боевых выступлениях, ссылаясь на то, что он не присутствовал на прениях: "Да и вопрос этот, конечно, не принципиальный". Вряд ли отсутствие Ленина было случайным: он попросту не хотел связывать себе рук. Точно так же и через год, на Лондонском съезде, Ленин, вынужденный в качестве председателя присутствовать на прениях по поводу экспроприаций, уклонился от участия в голосовании, несмотря на яростные возгласы с меньшевистских скамей. Лондонская резолюция категорически воспрещала экспроприации и постановила распустить "боевые организации" партии.

Дело шло, разумеется, не об абстрактной морали. Все классы и все партии подходят к вопросу об убийстве не с точки зрения библейской заповеди, а с точки зрения тех исторических интересов, какие они представляют. Папа и его кардиналы благословляли оружие Франко, и никто из консервативных государственных людей не предлагал посадить его в тюрьму за подстрекательство к убийствам. Официальные моралисты отрицают насилие тогда, когда дело идет о революционном насилии. Наоборот, кто борется против классового гнета, тот не может не признавать революцию. Кто признает революцию, признает гражданскую войну. Наконец, "партизанская борьба есть неизбежная форма борьбы... когда наступают более или менее крупные промежутки между большими сражениями в гражданской войне" (Ленин). С точки зрения общих принципов классовой борьбы, все это было совершенно неоспоримо. Разногласия начинались с оценки конкретных исторических обстоятельств. Когда две большие битвы гражданской войны отделены друг от друга двумя-тремя месяцами, этот интервал неизбежно будет заполнен партизанскими ударами по врагу. Но там, где "перерыв" затягивается на годы, партизанская война перестает быть подготовкой новой битвы, а является простыми конвульсиями после поражения. Определить момент перелома, разумеется, нелегко.

Вопросы о бойкотизме и о партизанских действиях оказываются тесно связаны между собой. Бойкотировать представительные учреждения можно лишь в том случае, если массовое движение достаточно могущественно, чтоб опрокинуть их или пройти мимо них. Наоборот, когда массы отступают, тактика бойкота теряет революционный смысл. Ленин понял и объяснил это лучше других. Уже в 1906 г. он отказался от бойкота Думы. После переворота 3-е июня 1907 г. он повел решительную борьбу против бойкотистов именно потому, что прилив явно сменился отливом. Но совершенно очевидно, что в тех условиях, когда приходилось пользоваться ареной царского "парламентаризма" для подготовительной мобилизации масс, партизанские действия стали анархизмом. В разгар гражданской войны они дополняли и питали движение масс; в период реакции они пытались заменить его, а на деле лишь компрометировали и разлагали партию. Ольминский, один из заметных соратников Ленина, критически освещал тот период уже в советские дни: "немало хорошей молодежи — писал он — успело погибнуть на виселицах; другие развратились; третьи разочаровались в революции. А население стало смешивать революционеров с уголовными

грабителями. Позже, когда началось возрождение революционного рабочего движения, это возрождение всего медленнее шло в тех городах, где было больше всего увлечения "эксами".

Содержание революционной работы Кобы в годы первой революции выступает столь незначительным, что невольно порождает вопрос: неужели это все? В вихре событий, которые проходили мимо него, Коба не мог не искать таких средств действия, которые позволяли бы ему показать, чего он стоит. Участие Кобы в террористических актах и экспроприациях несомненно. Однако, определить характер этого участия не легко.

"Главным вдохновителем и генеральным руководителем... боевой работы, — пишет Спиридович, — был сам Ленин, которому помогали близкие, доверенные люди". Кто они были? Бывший большевик Алексинский, который со времени войны стал специалистом по разоблачению большевиков, рассказывал в заграничной печати, что в составе Центрального Комитета был еще "малый комитет, существование которого было скрыто не только от глаз царской полиции, но также и от членов партии. Этот малый комитет, в который входили Ленин, Красин и еще третье лицо... особенно занимался финансами партии". Под занятием финансами Алексинский понимает руководство экспроприациями. Неназванное "третье лицо" — уже знакомый нам естественник, врач, экономист и философ Богданов. У Алексинского не могло быть никаких побуждений умалчивать об участии Сталина в боевых операциях. Если он ничего не рассказал на этот счет, значит, он ничего не знает. Между тем Алексинский не только стоял в те годы близко к большевистскому центру, но и встречался со Сталиным. По общему правилу этот разоблачитель рассказывает больше, чем знает.

О Красине в примечаниях к "Сочинениям" Ленина сказано: "руководил боевым техническим бюро при ЦК". "Партийцы знают теперь, — пишет, в свою очередь, Крупская, — ту большую работу, которую нес Красин во время революции "Пятого года" по вооружению боевиков, по руководству подготовкой боевых снарядов и пр. Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалась в это дело масса энергии. Владимир Ильич больше, чем кто-либо, знал эту работу Красина и с тех пор всегда очень ценил его". Войтинский, бывший во время первой революции видным большевиком, пишет: "У меня осталось отчетливое впечатление, что Никитич (Красин) был в большевистской организации единственным человеком, к которому Ленин относился с настоящим

уважением и с полным доверием". Правда, Красин сосредотачивал свои усилия главным образом в Петербурге. Но если бы Коба руководил на Кавказе операциями того же типа, Красин, Ленин и Крупская не могли бы не знать об этом. Между тем Крупская, которая, для доказательства своей благонадежности, старается называть Сталина как можно чаще, совершенно не упоминает о его роли в боевой работе партии.

3-го июля 1938 г. московская "Правда" неожиданно упомянула, что "небывало могучий размах революционного движения на Кавказе" в 1905 г. связан с "руководством впервые созданных здесь непосредственно тов. Сталиным наиболее боевых организаций нашей партии". Но единственное официальное признание причастности Сталина к "наиболее боевым организациям" относится к началу 1905 г., когда вопрос об экспроприациях еще не возникал; оно не дает никаких сведений насчет действительной работы Кобы; наконец, оно сомнительно по существу, ибо в Тифлисе большевистская организация возникла лишь во второй половине 1905 г.

Попробуем выслушать Иремашвили. Говоря с негодованием о террористических актах, эсках и пр., он заявляет: "Коба был инициатором совершенных большевиками в Грузии преступлений, которые служили реакцией". После смерти жены, когда Коба утратил "последний остаток человеческих чувств", он стал "ревностным защитником и организатором... злонамеренного, систематического убийства князей, священников и буржуа". Мы уже имели случаи убедиться, что показания Иремашвили становятся тем менее надежными, чем более отходят от личной жизни к политике, и от детства и юношества — к более зрелым годам. Политическая связь между друзьями юности прекратилась уже в начале первой революции. Только случайно 17-го октября, в день опубликования конституционного манифеста, Иремашвили видел на улице в Тифлисе, — только видел, но не слышал, — как Коба с железного фонаря говорил толпе речь (в этот день все взбирались на фонари). Будучи меньшевиком, Иремашвили мог узнавать о террористической деятельности Кобы только из вторых и третьих уст. Его показания, поэтому, явно ненадежны. Иремашвили приводит два примера: знаменитую тифлисскую экспроприацию 1907 г., о которой нам придется еще говорить, и убийство грузинского национального писателя князя [Ильи] Чавчавадзе. По поводу экспроприации, которую он ошибочно относит к 1905 г., Иремашвили замечает: "полицию Кобе удалось обмануть и на этот раз; у нее не было даже достаточных данных,

чтобы заподозрить его инициативу в этом жестоком покушении. Социал-демократическая партия Грузии исключила, однако, Кобу отныне уже и официально"... Ни малейших доказательств причастности Сталина к убийству князя Чавчавадзе Иремашвили не приводит, ограничиваясь ничего не говорящим замечанием: "косвенно также и Коба стоял за убийство; он был подстрекателем ко всем преступлениям, этот исполненный ненависти агитатор". Воспоминания Иремашвили в этой части интересны лишь постольку, поскольку освещают репутацию Кобы в рядах политических противников.

Осведомленный автор статьи в немецкой газете (*Volksstimme Mannheim*, 2 сентября 1932 г.), вероятно, грузинский меньшевик, подчеркивает, что друзья и враги чрезвычайно преувеличивают террористические приключения Кобы. "Правильно, что Сталин обладал исключительной способностью и склонностью к организации нападения названного рода... Однако, в таких делах он обычно выполнял работу организатора, вдохновителя, руководителя, но не прямого участника". Совершенно неверно поэтому, когда некоторые биографы изображают его "бегающим с бомбами и револьверами и выполняющим самые сумасшедшие авантюры". Подобной же выдумкой является рассказ о прямом якобы участии Кобы в убийстве тифлисского военного диктатора генерала Грязнова 17 января 1906 г. "Это дело было выполнено согласно постановлению социал-демократической партии Грузии (меньшевиков) через специально назначенных для этого партийных террористов. Сталин, как и большевики вообще, не имел никакого влияния в Грузии и не принимал в этом деле ни прямого, ни косвенного участия". Свидетельство анонимного автора заслуживает внимания. Однако же, в положительной своей части, оно почти лишено содержания: признавая за Сталиным "исключительную способность и склонность" к экспроприациям и убийствам, оно не подтверждает этой характеристики никакими данными.

Старый грузинский большевик-террорист Катэ Цинцадзе, серьезный и надежный свидетель, рассказывает, что Сталин, недовольный медлительностью меньшевиков в деле покушения на генерала Грязнова, предложил ему, Катэ, составить для этой цели собственную дружину. Однако, меньшевики вскоре сами успешно справились с задачей. Тот же Катэ вспоминает, как он в 1906 г. пришел к мысли создать боевую дружину из одних большевиков для нападения на казначейства. "Наши передовые товарищи, в особенности Коба-Сталин, одобрили

мою инициативу". Это свидетельство интересно вдвойне: во-первых, оно показывает, что Цинцадзе смотрел на Кобу как на "передового товарища", т. е. как на местного вождя; во-вторых, оно позволяет сделать вывод, что Коба не шел в этих вопросах далее одобрения инициативы других. Отметим вскользь, что в 1930 г. Катэ умер в ссылке у "передового товарища Кобы-Сталина".

При прямом сопротивлении меньшевистского ЦК, но зато при активном содействии Ленина, боевым группам партии удалось в ноябре 1906 г. созвать в Таммерфорсе собственную конференцию, среди руководящих участников которой мы встречаем имена революционеров, игравших впоследствии крупную или заметную роль в партии: Красин, Ярославский, Землячка, Лалаянц, Трилиссер и др. Сталина в их числе нет, хотя он находился в то время на свободе в Тифлисе. Можно допустить, что он предпочитал не рисковать появлением на конференции по конспиративным соображениям. Однако же Красин, действительно стоявший во главе боевой работы и, ввиду своей известности подвергавшийся большему, чем кто-либо, риску, играл на конференции руководящую роль.

18-го марта 1918 г., т. е. через несколько месяцев после установления советского режима, вождь меньшевиков Мартов писал в своей московской газете: "Что кавказские большевики примазывались к разного рода удалым предприятиям экспроприаторского рода, хорошо известно хотя бы тому же г. Сталину, который в свое время был исключен из партийной организации за прикосновенность к экспроприациям". Сталин счел нужным привлечь Мартова к суду революционного трибунала. "Никогда в жизни, — говорил он пред судом при переполненном зале, — я не судился в партийной организации и не исключался, — это гнусная клевета". Об экспроприациях Сталин, однако, не упомянул. "С такими обвинениями, с какими выступил Мартов, можно выступать лишь с документами в руках, а обливать грязью на основании слухов, не имея фактов — бесчестно". В чем, собственно, политический источник негодования Сталина? Что большевики вообще были причастны к экспроприациям, не составляло тайны: Ленин открыто защищал экспроприации в печати. С другой стороны, исключение из меньшевистской организации вряд ли могло восприниматься большевиком как позорящее обстоятельство, тем более через десять лет. У Сталина не могло быть, следовательно, побудительных мотивов отрицать "обвинения" Мартова, если бы они соответствовали действительности. Да и вызывать

при таких условиях умного и находчивого противника в суд, значило бы рисковать доставить ему торжество. Значит ли это, что обвинения Мартова ложны? Увлекаемый темпераментом публициста и ненавистью к большевикам, Мартов, вообще говоря, не раз переходил ту черту, у которой должно было бы удержать его неоспоримое благородство его натуры. Однако же, на этот раз идет дело о суде. Мартов остается в своих утверждениях крайне категоричным. Он требует вызова свидетелей: "это, во-первых, известный грузинский социал-демократический общественный деятель Исидор Рамишвили, состоявший председателем революционного суда, установившего причастность Сталина к экспроприации парохода "Николай I" в Баку, Ной Жордания, большевик Шаумян и другие члены Закавказского Областного Комитета 1907-1908 гг. Во-вторых, группа свидетелей, во главе с Гуковским, нынешним комиссаром финансов, под председательством которого рассматривалось дело о покушении на убийство рабочего Жаринова, избличавшего перед партийной организацией бакинский Комитет и его руководителя Сталина в причастности к экспроприации". В своей реплике Сталин ничего не говорит ни об экспроприации парохода, ни о покушении на Жаринова, зато продолжает настаивать: "Никогда я не судился; если Мартов утверждает это, то он гнусный клеветник".

"Исключить" экспроприаторов, в юридическом смысле слова, нельзя было, так как они предусмотрительно сами заранее вышли из партии. Зато можно было постановить об их неприятии в организацию. Прямое исключение могло обрушиться лишь на тех вдохновителей, которые оставались в рядах партии. Но против Кобы, видимо, не было прямых улик. Возможно поэтому, что прав был до известной степени Мартов, когда утверждал, что Сталин был исключен; "в принципе" это было так. Но прав был и Сталин: индивидуально он не был судим. Разобраться во всем этом трибуналу было нелегко, особенно при отсутствии свидетелей. Против их вызова возражал Сталин, ссылаясь на трудность и ненадежность сношений с Кавказом в те критические дни. Революционный трибунал не вошел в рассмотрение дела по существу, признав, что клевета в печати ему неподсудна, но приговорил Мартова к "общественному порицанию" за оскорбление Советского правительства ("правительства Ленина—Троцкого", как иронически гласит отчет о суде в меньшевистском издании). Нельзя не остановиться в тревоге перед упоминанием о покушении на жизнь рабочего Жаринова за его протест против экспроприаций. Хотя мы ничего больше не знаем об этом эпи-

зоде, однако, он бросает от себя зловещий свет в будущее.

В 1925 г. меньшевик Дан писал, что такие экспроприаторы, как Орджоникидзе и Сталин на Кавказе, снабжали средствами большевистскую фракцию; но это лишь повторение того, что говорил Мартов и несомненно на основании тех же источников. Никто не сообщает ничего конкретного. Между тем недостатка в попытках приподнять завесу над романтическим периодом в жизни Кобы не было. Со свойственной ему почтительной развязностью Эмиль Людвиг попросил Сталина во время их беседы в Кремле рассказать ему "что-нибудь" из походов своей молодости, вроде, например, ограбления банка. Сталин в ответ вручил любознательному собеседнику брошюрку со своей биографией, где будто бы "все" сказано; на самом деле об ограблениях там не сказано ничего.

Сам Сталин нигде и никогда не обмолвился о своих боевых похождениях ни словом. Трудно сказать, почему. Автобиографической скромностью он не отличался. Что он считает неудобным рассказывать сам, то делают, по его заданию, другие. Со времени своего головокружительного возвышения он мог, правда, руководствоваться соображениями государственного "престижа". Но в первые годы после Октябрьского переворота такие заботы были ему совершенно чужды. И со стороны бывших боевиков ничего не проникло на этот счет в печать в тот период, когда Сталин еще не вдохновлял и не контролировал исторические воспоминания. Репутация его, как организатора боевых действий, не находит себе подкрепления ни в каких других документах: ни в полицейских актах, ни в показаниях предателей и перебежчиков. Правда, полицейские документы Сталин твердо держит в своих руках. Но если бы жандармские архивы заключали в себе какие-либо конкретные данные о Джугашвили, как экспроприаторе, кары, которым он подвергался, имели бы несравненно более суровый характер.

Из всех гипотез сохраняет правдоподобие только одна. "Сталин не возвращается и никому не позволяет возвращаться к террористическим актам, так или иначе связанным с его именем, — пишет Суварин, — иначе обнаружилось бы неизбежно, что в актах участвовали другие, он же руководил ими только издалека". Весьма возможно, к тому же, — это вполне в натуре Кобы, — что при помощи умолчаний и подчеркиваний он, где нужно было, осторожно приписывал себе те заслуги, которых на самом деле не имел. Проверить его в условиях подпольной конспирации было невозможно. Отсюда отсутствие у него в дальней-

шем интереса к раскрытию деталей. С другой стороны, действительные участники экспроприаций и близкие к ним люди не упоминают в своих воспоминаниях о Кобе только потому, что им нечего сказать. Сражались другие, Сталин руководил ими издалека.

"Из меньшевистских резолюций, — писал Иванович в нелегальной бакинской газете по поводу Лондонского съезда, — прошла только резолюция о партизанских выступлениях, и то совершенно случайно: большевики на этот раз не приняли боя, вернее, не захотели довести до конца, просто из желания дать хоть раз порадоваться меньшевикам". Объяснение поражает своей несуразностью. "Дать порадоваться меньшевикам" — такого рода человеколюбивая заботливость не была в политических нравах Ленина. Большевики "уклонились от боя" на самом деле потому, что против них были в этом вопросе не только меньшевики, бундовцы, латыши, но и ближайšie союзники, поляки. А главное, среди самих большевиков имелись острые разногласия насчет экспроприаций. Было бы, однако, ошибочно предполагать, что автор статьи просто сболтнул для красного словца, без какого-либо умысла. На самом деле ему необходимо было скомпрометировать стеснительное решение съезда в глазах боевиков. Это, конечно, не делает само объяснение менее бессмысленным. Но такова уж манера Сталина: когда ему нужно прикрыть свою цель, он не колеблется прибегать к самым грубым уловкам. И как раз своей нарочитой грубостью доводы его нередко достигают цели, освобождая от необходимости доискиваться более глубоких мотивов. Серьезный член партии мог только с досадой пожать плечами, прочитав, как Ленин уклонился от боя, чтоб доставить маленькую радость меньшевикам. Но примитивный боевик охотно соглашался с тем, что "совершенно случайное" запрещение экспроприаций не нужно брать всерьез. Для ближайшей боевой операции этого было достаточно.

12-го июня в 10 ч. 45 минут утра, в Тифлисе, на Эриванской площади, совершено было исключительное по дерзости вооруженное нападение на казачий конвой, сопровождавший экипаж с мешком денег. Ход операции был рассчитан с точностью часового механизма. В определенном порядке брошено было несколько бомб исключительной силы. Не было недостатка в револьверных выстрелах. Мешок с деньгами (241.000 рублей) исчез вместе с революционерами. Ни один из боевиков не был задержан полицией. На месте остались трое убитых из конвоя; около 50 человек были ранены, в большинстве легко. Главный

организатор предприятия, защищенный формой офицера, прогуливался по площади, наблюдая за всеми движениями конвоя и боевиков и в то же время ловкими замечаниями устраняя с места предстоящей операции публику, чтоб избежать лишних жертв. В критическую минуту, когда могло показаться, что все потеряно, мнимый офицер с поразительным самообладанием завладел денежным мешком и временно скрыл его в диване у директора обсерватории, той самой, где юный Коба служил одно время бухгалтером. Об этом начальнике, армянском боевике Петросяне, носившем кличку *Камо*, необходимо здесь вкратце рассказать.

Приехав в конце прошлого столетия в Тифлис, он попал в руки пропагандистов, в том числе Кобы. Почти не владевший русским языком, Петросян однажды переспросил Кобу: "Камо (вместо: кому) отнести?" Коба стал издеваться над ним: "Эх ты, — камо, камо!...". Из этой неделикатной шутки родилось революционное прозвище, которое вошло в историю. Так рассказывает Медведева, вдова Камо. Больше ничего об отношениях этих двух людей она не сообщает. Зато говорит о трогательной привязанности Камо к Ленину, которого он впервые навестил в 1906 г., в Финляндии. "Этот отчаянной смелости, непоколебимой силы воли, бесстрашный боевик, — пишет Крупская, — был в то же время каким-то чрезвычайно цельным человеком, немного наивным и нежным товарищем. Он страстно был привязан к Ильичу, Красину и Богданову... Подружился с моей матерью, рассказывал ей о тетке, о сестрах. Камо часто ездил из Финляндии в Питер, всегда брал с собой оружие, и мама каждый раз особенно заботливо увязывала ему револьверы на спине". Отметим, что мать Крупской была вдовой царского чиновника и рассталась с религией только на старости лет.

Незадолго до тифлисской экспроприации Камо снова посетил финляндский штаб. Медведева пишет: "Под видом офицера, Камо съездил в Финляндию, был у Ленина и с оружием и взрывчатыми веществами вернулся в Тифлис". Поездка совершена была либо накануне Лондонского съезда, либо сейчас же после него. Бомбы были получены из лаборатории Красина. Химик по образованию, Леонид, еще будучи студентом, мечтал о бомбах размером в орех. 1905 год дал ему возможность развернуть свои изыскания в этом направлении. Правда, он не достиг идеальных размеров ореха, но в лабораториях, действовавших под его руководством, изготовлялись бомбы большой сокрушительной силы. Боевики не в первый раз проверили их на площади

Тифлиса.

После экспроприации Камо вынырнул в Берлине. Здесь его арестовали по доносу провокатора Житомирского, занимавшего видное место в заграничной организации большевиков. При аресте прусская полиция захватила чемодан, в котором, как полагается, находились бомбы и револьверы. По сведениям меньшевиков (расследование вел будущий дипломат Чичерин), динамит Камо предназначался будто бы для нападения на банкирскую контору Мендельсона в Берлине. "Неверно, — утверждает осведомленный большевик Пятницкий, — динамит был приготовлен для Кавказа". Оставим назначение динамита под знаком вопроса. Камо просидел в немецкой тюрьме более 1,5 лет, симулируя все время, по совету Красина, буйное помешательство. В качестве неизлечимого больного он был выдан России и просидел в Тифлисе, в Метехском замке, еще около полутора лет, подвергаясь самым тяжким испытаниям. Окончательно признанный безнадежно помешанным, Камо был переведен в психиатрическую больницу, откуда бежал. "Потом нелегально, прячась в трюме, поехал в Париж потолковать с Ильичем". Это было уже в 1911 г. Камо страшно мучился тем, что произошел раскол между Лениным, с одной стороны, Богдановым и Красиным — с другой. "Он был горячо привязан ко всем троим", — повторяет Крупская. Далее следует идиллия: Камо попросил купить ему миндалю; сидел в кухне, заменявшей гостиную, ел миндаль, как на родном Кавказе, и рассказывал о страшных годах, о том, как притворялся сумасшедшим, о том, как в тюрьме приручил воробья. "Ильич слушал и остро-жалко ему было этого беззаветно смелого человека, детски-наивного, с горячим сердцем, готового на великие подвиги и не знающего после побега, за какую работу взяться".

Снова арестованный в России, Камо был приговорен к смерти. Манифест по поводу трехсотлетия династии (1913) принес неожиданную замену виселицы бессрочной каторгой. Через четыре года Февральская революция принесла неожиданное освобождение. Октябрьская революция принесла большевикам власть, но выбила Камо из колеи. Он походил на мощную рыбу, выброшенную на берег. Во время гражданской войны я пытался привлечь его к партизанской борьбе в тылу неприятеля. Но работа в поле, видимо, не была его призванием. К тому же и прожитые страшные годы не прошли бесследно. Камо задыхался. Он не для того рисковал своей и чужой жизнью десятки раз, чтоб стать благополучным чиновником. Катэ Цинцадзе, другая легендарная

фигура, погиб в ссылке у Сталина от туберкулеза. Сходный конец выпал бы, наверняка, и на долю Камо, если б он не был случайно убит летом 1922 г. при столкновении с автомобилем на одной из улиц Тифлиса. В автомобиле сидел, надо думать, кто-нибудь из новой бюрократии. Камо передвигался в темноте на скромном велосипеде: он не сделал карьеры. Самая гибель его имеет символический характер.

По поводу фигуры Камо Суварин с мало оправдываемым высокомерием пишет об "анахронистическом мистицизме", несовместимом с рационализмом передовых стран. На самом деле в Камо получили лишь предельное выражение некоторые из черт революционного типа, который вовсе не сошел еще с порядка дня и в странах "западной цивилизации". Недостаток революционного духа в рабочем движении Европы привел уже в ряде стран к торжеству фашизма, в котором "анахронистический мистицизм" — вот где это слово уместно! — находит свое наиболее отвратительное выражение. Борьба против железной тирании фашизма непременно воспитает в революционных борцах Запада все те черты, которые поражают скептического филистера в фигуре Камо. В своей "Железной Пяте" Джек Лондон предсказывал целую эпоху американских Камо на службе социализма. Исторический процесс сложнее, чем хотелось бы думать поверхностному рационализму.

Личное участие Кобы в тифлисской экспроприации издавна считалось в партийных кругах несомненным. Бывший советский дипломат Беседовский, наслушавшийся разных историй в бюрократических салонах второго и третьего класса, рассказывает, что Сталин, "согласно инструкции Ленина", непосредственного участия в экспроприации не принимал, но что он сам будто бы "впоследствии хвастал, что это именно он разработал план действий до мельчайших подробностей, и что первую бомбу бросил он же с крыши дома князя Сумбатова". Хвастал ли действительно Сталин когда-либо своим участием, или же Беседовский хвастает осведомленностью, решить трудно. Во всяком случае, в советскую эпоху Сталин не подтверждал этих слухов, но и не опровергал их. Он, видимо, не имел ничего против того, что трагическая романтика экспроприаций связывается в сознании молодежи с его именем. Еще в 1932 г. я лично не сомневался в руководящем участии Сталина в вооруженном нападении на Эриванской площади и упомянул об этом мимоходом в одной из статей. Более внимательное изучение обстоятельств того времени заставляет, однако, пересмотреть

традиционную версию.

В хронике, приложенной к XII тому "Сочинений" Ленина, под датой: 12 июня 1907 г., читаем: "Тифлисская экспроприация (341.000 руб.), организованная Камо-Петросяном". И только. В посвященном Красину сборнике, где много говорится о знаменитой нелегальной типографии на Кавказе и о боевой работе партии, Сталин ни разу не назван. Старый боевик, хорошо осведомленный в делах того периода, пишет: "Планы всех организованных последним (Камо) экспроприаций в Квирильском и Душетском казначействах и на Эриванской площади готовились и обсуждались им совместно с Никитичем (Красиным)". О Сталине ни слова. Другой бывший боевик утверждает: "такие экспроприации, как тифлисская и другие, происходили под непосредственным руководством Леонида Борисовича (Красина)". О Сталине опять ничего. В книге Бибинеишвили, где рассказаны все подробности подготовки и выполнения экспроприации, имя Сталина не упомянуто ни разу. Из этих умолчаний вытекает неоспоримо, что Коба не входил в непосредственные сношения с членами дружины, не инструктировал их, не был, следовательно, организатором дела в подлинном смысле слова, не говоря уже о прямом участии.

Съезд в Лондоне закончился 27 апреля. Экспроприация в Тифлисе произведена 12-го июня, через полтора месяца. У Сталина оставалось слишком мало времени между возвращением из заграницы и днем экспроприации, чтобы руководить подготовкой столь сложного предприятия. Вернее всего, боевики успели уже подобраться и спеться в ряде предшествующих опасных дел. Они могли ждать решения съезда. У некоторых могли быть сомнения, как посмотрит теперь на экспроприацию Ленин. Боевики ждали сигнала. Сталин мог привезти им сигнал. Шло ли его участие дальше этого? Об отношениях Камо и Кобы мы не знаем почти ничего. Камо умел привязываться к людям. Между тем никто не говорит об его привязанности к Кобе. Умолчание об их отношениях заставляет думать, что привязанности не было, что были, скорее, конфликты. Источником их могли быть попытки Кобы командовать Камо или приписывать себе то, что ему не принадлежало. В своей книге о Камо Бибинеишвили рассказывает следующий факт. В Грузии, уже в советский период, появился "таинственный незнакомец", который под фальшивым предлогом завладел корреспонденцией Камо и другими ценными материалами. Кому они нужны были и для чего? Документы, как и похититель, канули в бездну. Будет ли слишком по-

спешно допустить, что Сталин через своего агента вырвал из рук Камо те материалы, которые почему-либо тревожили его? Это не значит, однако, что между ними не могло быть тесного сотрудничества в июне 1907 г. Ничто не мешает допустить, что отношения испортились после тифлисского "дела", и что Коба мог быть советником Камо при выработке последних деталей. Советник мог создать заграницей преувеличенное представление о своей роли. Приписать себе руководство экспроприацией легче, чем — руководство Октябрьским переворотом. Сталин не остановился, однако, и перед этим.

Барбюс рассказывает, что в 1907 г. Коба отправился в Берлин и оставался там некоторое время "для бесед с Лениным". Для каких именно, автор не знает. Текст книги Барбюса состоит главным образом из ошибок. Но ссылка на поездку в Берлин заставляет тем более прислушаться, что в диалоге с Людвигом Сталин упомянул о своем пребывании в Берлине в 1907 г. Если Ленин специально приезжал для этого свидания в столицу Германии, то уж во всяком случае не ради теоретических "бесед". Свидание могло произойти либо непосредственно перед, либо, вернее, сейчас же после съезда, и почти несомненно посвящено было предстоящей экспроприации, способам доставки денег и пр. Почему переговоры велись в Берлине, а не в Лондоне? Весьма вероятно, что Ленин считал неосторожным встречаться с Ивановичем в Лондоне, на виду у других делегатов и многочисленных царских и иных шпионов, привлеченных съездом. Возможно также, что в совещаниях должны были принимать участие третьи лица, непричастные к съезду. Из Берлина Коба возвращается в Тифлис, но уже через короткое время переселяется в Баку, откуда, по словам Барбюса, "снова едет за границу на свидание с Лениным". Кто-либо из близко посвященных кавказцев (Барбюс был на Кавказе и записывал там немало рассказов, аранжированных Берия) упомянул, очевидно, о двух свиданиях Сталина с Лениным за границей, чтоб подчеркнуть их близость. Хронология этих свиданий очень многозначительна: одно предшествует экспроприации, другое непосредственно следует за ней. Этим достаточно определяется их цель. Второе свидание было, по всей вероятности, посвящено вопросу: продолжать или прекратить?

Иремашвили пишет: "Дружба Кобы-Сталина с Лениным с этого началась". Слово "дружба" здесь явно не подходит. Дистанция, отделявшая этих двух людей, исключала личную дружбу. Но сближение действительно началось, видимо, с того времени. Если верно предполо-

жение, что Ленин заранее сговаривался с Кобой о проекте экспроприации в Тифлисе, то совершенно естественно, что он должен был проникнуться чувством восторга к тому, в ком видел ее организатора. Прочитав телеграмму о захвате добычи без единой жертвы со стороны революционеров, Ленин вероятно воскликнул про себя, а может быть, и сказал Крупской: "Чудесный грузин!". Слова, которые мы встретим позже в одном из его писем Горькому. Увлечение людьми, проявившими решительность или просто удачно проведенными порученную им операцию, свойственно было Ленину в высшей степени до конца его жизни. Особенно он ценил людей действия. На опыте кавказских экспроприаций он, видимо, оценил Кобу, как человека, способного итти или вести других до конца. Он решил, что "чудесный грузин" пригодится.

Тифлисская добыча не принесла добра. Вся захваченная сумма состояла из билетов в 500 рублей. Столь крупные купюры невозможно было пускать в оборот. После огласки, какую получила трагическая схватка на Эриванской площади, попытаться разменять билеты в русских банках было немыслимо. Операция была перенесена за границу. Но участие в организации размена принимал провокатор Житомирский, который своевременно предупредил полицию. Будущий народный комиссар по иностранным делам Литвинов был арестован при попытке размена в Париже. Ольга Равич, ставшая позже женой Зиновьева, попала в руки полиции в Стокгольме. Будущий народный комиссар здравоохранения, Семашко, оказался арестован в Женеве, видимо, случайно. "Я был из тех большевиков, — пишет он, — которые тогда принципиально стояли против экспроприаций". История с разменом чрезвычайно увеличила число таких большевиков. "Швейцарские обыватели, — рассказывает Крупская, — были перепуганы насмерть. Только и разговоров было, что о русских экспроприаторах. Об этом с ужасом говорили за столом в том пансионе, куда мы с Ильичом ходили обедать". Отметим, что Ольга Равич, как и Семашко исчезли в последних советских "чистках".

Тифлисская экспроприация ни в каком случае не могла рассматриваться, как партизанская стычка между двумя сражениями гражданской войны. Ленин не мог не видеть, что восстание отодвинулось в неопределенное будущее. Задача состояла для него на этот раз просто в том, чтоб попытаться обеспечить партию денежными средствами за счет врага на надвигающийся черный период. Ленин не удержался от искуше-

ния, понадеялся на благоприятный случай, на счастливое "исключение". В этом смысле, надо прямо сказать, идея тифлисской экспроприации заключала в себе добрый элемент авантюризма, столь чуждого вообще политике Ленина. Другое дело Сталин. Широкие исторические соображения имели мало цены в его глазах. Резолюция Лондонского съезда была только неприятным клочком бумаги, который можно опровергнуть при помощи грубой уловки. Риск будет оправдан успехом. Суварин возражает на это, что неправильно переносить ответственность с вождя фракции на второстепенную фигуру. О перенесении ответственности нет и речи. Но во фракции большевиков большинство в этот период было уже в вопросе об экспроприациях против Ленина. Большевики, которые непосредственно соприкасались с боевыми дружинами, имели слишком убедительные наблюдения, которых Ленин, снова отброшенный в эмиграцию, был лишен. Без поправок снизу самый гениальный вождь будет неизбежно делать грубые ошибки. Остается фактом, что Сталин не был в числе тех, которые своевременно поняли недопустимость партизанских действий в обстановке революционного упадка. И это не случайность. Партия была для него прежде всего аппаратом. Аппарат требует денежных средств для существования. Денежные средства можно добыть при помощи другого аппарата, независимого от жизни и борьбы масс. Сталин был здесь на своем месте.

Последствия трагической авантюры, закончившей целую полосу в жизни партии, были достаточно тяжелы. Борьба вокруг тифлисской экспроприации надолго отравила отношения в партии и внутри самой большевистской фракции. С этого времени Ленин меняет фронт и все решительнее выступает против тактики экспроприаций, которая остается еще на известное время достоянием "левого" крыла большевиков. В последний раз тифлисское "дело" официально разбиралось в ЦК партии в январе 1910 г. по настоянию меньшевиков. Резолюция строго осудила экспроприации, как недопустимые нарушения партийной дисциплины, но признавала, что в намерения участников не входило причинение ущерба рабочему движению, и что ими "руководили лишь неправильно понятые интересы партии". Никто не был исключен. Никто не был назван по имени. В числе других и Коба был, таким образом, амнистирован в качестве лица, руководившегося "неправильно понятыми интересами партии".

Тем временем разложение революционных организаций шло полным

ходом. Еще в октябре 1907 г. литератор-меньшевик Потресов писал Аксельроду: "у нас полный распад и совершенная деморализация... Нет не то что организации, но даже и элементов для нее. И это небытие возводится еще в принцип"... Возведение распада в принцип стало вскоре делом большинства вождей меньшевизма, в том числе и Потресова. Они объявили нелегальную партию раз навсегда ликвидированной и стремление восстановить ее реакционной утопией. Мартов утверждал, что именно "скандальные истории, вроде размена тифлиских кредиток", вынуждали "наиболее преданные партии и наиболее активные элементы рабочего класса" сторониться от всякого соприкосновения с нелегальным аппаратом. В ужасающем развитии провокации меньшевики, получившие теперь кличку *ликвидаторов*, находили другой убедительный довод в пользу "необходимости" покинуть зачумленное подполье. Окапываясь в профессиональных союзах, образовательных клубах, страховых обществах, они вели работу не как революционеры, а как культурные пропагандисты. Чтоб сохранить свои посты в легальных организациях, чиновники из рабочих начали прибегать к покровительственной окраске. Они избегали стачечной борьбы, чтоб не компрометировать еле терпимые профессиональные союзы. Легальность во что бы то ни стало означала на практике отказ от революционных методов вообще.

В самые глухие годы ликвидаторы занимали авансцену. "Они меньше страдали от полицейских преследований, — пишет Ольминский. — У них было много литературных, отчасти лекторских и вообще интеллигентских сил. Они считали себя господами положения". Попытки большевистской фракции, ряды которой редели не по дням, а по часам, сохранить свой нелегальный аппарат, разбивались на каждом шагу о враждебные условия. Большевизм казался окончательно осужденным. "Все теперешнее развитие... — писал Мартов — делает образование сколько-нибудь прочной партии-секты жалкой реакционной утопией". В этом основном прогнозе Мартов и, с ним вместе, русский меньшевизм, жестоко ошиблись. Реакционной утопией оказались перспективы и лозунги "ликвидаторов". Для открытой рабочей партии в режиме 3-го июня не могло быть места. Даже партия либералов встретила отказ в регистрации. "Ликвидаторы стряхнули с себя нелегальную партию, — писал Ленин, — но и не выполнили обязательства основать легальную". Именно потому, что большевизм сохранял верность задачам революции в период ее упадка и унижения, он подготовил свой

небывалый расцвет в годы ее нового подъема.

На противоположном от ликвидаторов полюсе, именно на левом фланге большевистской фракции, сложилась тем временем экстремистская группировка, которая упорно не хотела признавать изменившуюся обстановку и продолжала отстаивать тактику прямого действия. Разногласия, возникшие по вопросу о бойкоте Думы, привели после выборов к созданию фракции "отзовистов", которая требовала отозвания социал-демократических депутатов из Думы. Отзовисты были несомненно симметричным дополнением ликвидаторства. В то время, как меньшевики, всегда и везде, даже в обстановке непреодолимого напора революции, считали необходимым участвовать во всяком, чисто эпизодическом "парламенте", октроированном царем, отзовисты думали, что бойкотируя парламент, установившийся в результате поражения революции, они смогут вызвать новый напор масс. Так как электрические разряды сопровождаются треском, то "непримиримые" пытались посредством искусственного треска вызвать электрические разряды.

Период динамитных лабораторий еще властно тяготел над Красиным: этот умный и пронизательный человек примкнул на время к секте отзовистов, чтоб затем на ряд лет отойти от революции. Отошел влево и другой ближайший сотрудник Ленина по секретной большевистской "тройке", Богданов. Вместе с тайным триумvirатом распалась старая верхушка большевизма. Но Ленин не дрогнул. Летом 1907 г. большинство фракции стояло за бойкот. Весной 1908 г. "отзовисты" оказались уже в меньшинстве в Петербурге и Москве. Перевес Ленина обнаружился с несомненностью. Коба своевременно учел это. Опыт с аграрной программой, когда он открыто выступил против Ленина, сделал его осторожнее. Он отошел от своих единомышленников-бойкотистов незаметно и молча. Оставаться на поворотах в тени и менять позицию без шума стало основным приемом его поведения.

Продолжающееся дробление партии на мелкие группы, ведшие жестокую борьбу в почти безвоздушном пространстве, породило в разных фракциях тенденцию к примирению, соглашению, единству во что бы то ни стало. Именно в этот период на первый план выдвинулась другая сторона "троцкизма": не теория перманентной революции, а партийное "примиренчество". Об этом необходимо вкратце сказать здесь в интересах понимания позднейшей борьбы между сталинизмом и троцкизмом. С 1904 г., т. е. с момента возникновения разногласий в оценке либеральной буржуазии, я порвал с меньшинством Второго

съезда и в течение последующих тринадцати лет оставался вне фракций. Моя позиция в отношении внутрипартийной борьбы сводилась к следующему: поскольку у большевиков, как и у меньшевиков, господство принадлежит революционной интеллигенции, и поскольку обе фракции не идут дальше буржуазно-демократической революции, раскол между ними ничем не оправдывается; в новой революции обе фракции под давлением рабочих масс все равно вынуждены будут, как и в 1905 г., занять одну и ту же революционную позицию. Некоторые критики большевизма и сейчас считают мое старое примиренчество голосом мудрости. Между тем глубокая ошибочность его давно вскрыта теорией и опытом. Простое примирение фракций возможно лишь на какой-либо "средней" линии. Но где же гарантия, что эта искусственно выведенная диагональ совпадет с потребностями объективного развития? Задача научной политики состоит в том, чтобы вывести программу и тактику из анализа борьбы классов, а не из параллелограмма таких второстепенных и преходящих сил, как политические фракции. Обстановка реакции вводила, правда, политическую деятельность всей партии в очень узкие пределы. Под углом зрения момента могло казаться, что разногласия имеют второстепенный характер и искусственно раздуваются эмигрантскими вождями. Но именно в период реакции революционная партия не могла воспитывать свои кадры без большой перспективы. Подготовка к завтрашнему дню входила важнейшим элементом в политику сегодняшнего дня. Примиренчество питалось надеждой на то, что ход событий сам подскажет необходимую тактику. Но этот фаталистический оптимизм означал на деле отказ не только от фракционной борьбы, но и от самой идеи партии. Ибо если "ход событий" способен непосредственно продиктовать массам правильную политику, к чему особое объединение пролетарского авангарда, выработка программы, отбор руководства, воспитание в духе дисциплины?

Мелкая и кропотливая — по масштабам, смелая — по размаху мысли, работа Ленина в годы реакции навсегда останется великой школой революционного воспитания. "Мы научились во время революции, — писал Ленин в июле 1909 г., — "говорить по-французски", т. е. ... поднимать энергию и размах непосредственной массовой борьбы. Мы должны теперь, во время застоя, реакции, распада, научиться "говорить по-немецки", т. е. действовать медленно, ...завоевывая вершок за вершком". Вождь меньшевиков Мартов писал в 1911 г.: "То, что 2-3 года назад деятелями открытого движения (т. е. ликвидаторами)

признавалось лишь принципиально — необходимость строить партию “по-немецки”... теперь повсюду признается как задача, к практическому решению которой можно уже приступать”. Хотя оба, и Ленин и Мартов, как будто заговорили “по-немецки”, но на самом деле они говорили на разных языках. Для Мартова говорить “по-немецки” значило приспособляться к русскому полуабсолютизму в надежде постепенно “европеизировать” его. Для Ленина то же выражение означало: при помощи нелегальной партии использовать скудные легальные возможности для подготовки новой революции. Как показало дальнейшее оппортунистическое вырождение германской социал-демократии, меньшевики вернее отражали дух “немецкого языка” в политике. Но Ленин неизмеримо правильнее понимал объективный ход развития России, как и самой Германии: эпохе мирных реформ шла на смену эпоха катастроф.

Что касается Кобы, то он не знал ни французского ни немецкого языка. Но все свойства его натуры толкали его на сторону ленинского решения. Коба не гонялся за открытой ареной, как ораторы и журналисты меньшевизма, ибо на открытой арене обнаруживались больше его слабые, чем сильные стороны. Ему прежде всего нужен был централизованный аппарат. Но в условиях контрреволюционного режима этот аппарат мог быть только нелегальным. Если Кобе нехватало исторического кругозора, зато он в избытке был наделен упорством. В годы реакции он принадлежал не к тем десяткам тысяч, которые покидали партию, а к тем немногим сотням, которые, несмотря ни на что, сохраняли верность ей.

Вскоре после Лондонского съезда молодой Зиновьев, выбранный в ЦК, превратился в эмигранта, как и Каменев, включенный в Большевистский Центр. Коба оставался в России. Впоследствии он вменял себе это в исключительную заслугу. В действительности, дело обстояло иначе. Выбор места и характера работы только в небольшой мере зависел от заинтересованного. Если б ЦК видел в Кобе молодого теоретика или публициста, способного за границей подняться на более высокую ступень, его несомненно оставили бы в эмиграции, и у него не было бы ни возможности ни желания отказаться. Но никто не звал его за границу. С тех пор, как на верхах партии вообще узнали о нем, его рассматривали, как “практика”, т. е. рядового революционера, пригодного преимущественно для местной организационной работы. Да и самого Кобу, смирившего свои силы на съездах в Таммерфорсе, Стокгольме и Лондоне, вряд ли тянуло в эмиграцию, где он был бы обречен на третьи

роли. Позже, после смерти Ленина, нужда была превращена в добродетель, и самое слово "эмигрант" стало в устах новой бюрократии звучать почти так же, как звучало некогда в устах консерваторов царской эпохи.

Ленин ушел в новое изгнание, по собственным словам, точно ложился в гроб. "Мы здесь страшно оторваны теперь... — писал он из Парижа осенью 1909 г. — Годы действительно адски трудные"... В русской буржуазной печати стали появляться уничижительные статьи об эмиграции, в которой как бы воплощалась разбитая и отвергнутая образованным обществом революция. В 1912 г. Ленин ответил на эти пасквилы в петербургской газете большевиков: "Да, много тяжелого в эмигрантской среде... В этой среде больше нужды и нищеты, чем в другой. В ней особенно велик процент самоубийств"... Однако, "в ней и только в ней ставились в годы безвременья и затишья важнейшие принципиальные вопросы всей русской демократии". В тягостных и изнуряющих боях эмигрантских групп подготавливались руководящие идеи революции 1917 г. В этой работе Коба не принимал никакого участия.

С осени 1907 г. до марта 1908 г. Коба ведет революционную работу в Баку. Установить дату его переселения сюда невозможно. Весьма вероятно, что он выехал из Тифлиса в тот момент, когда Камо заряжал последнюю бомбу: осторожность входила в мужество Кобы преобладающей чертой. Разноплеменный Баку, насчитывавший уже в начале столетия свыше 100 тысяч жителей, продолжал быстро расти, всасывая в нефтяную промышленность массы азербайджанских татар. На революционное движение 1905 г. царские власти не без успеха ответили натравливанием татар на более передовых армян. Однако, революция захватила и отсталых азербайджанцев. С запозданием по отношению ко всей стране они массами участвуют в стачках 1907 г.

Коба провел в Черном городе около восьми месяцев, из которых нужно вычесть время на поездку в Берлин. "Под руководством тов. Сталина, — пишет малоизобретательный Берия, — выросла, укрепилась и закалилась в борьбе с меньшевиками бакинская большевистская организация". Коба отправляется в те районы, где противники были особенно сильны. "Под руководством тов. Сталина большевики сломили влияние меньшевиков и эсеров" и т. д. Немногим больше мы узнаем от Аллилуева. Собрание большевистских сил после полицейского разгрома совершилось, по его словам, "под непосредственным руководством и при активном участии тов. Сталина... Его организаторские способности, подлинный революционный энтузиазм,

неистощимая энергия, твердая воля и большевистское упорство"... и т. д. К сожалению воспоминания тестя Сталина написаны в 1937 г. Формула: "под непосредственным руководством и при активном участии" безошибочно выдает мануфактуру Берии. Социалист-революционер Верещака, ведущий тогда же работу в Баку и наблюдавший Кобу глазами противника, признает за ним исключительные организаторские способности, но совершенно отрицает личное влияние на рабочих. "Его внешность, — пишет он, — на свежего человека производила плохое впечатление. Коба и это учитывал. Он никогда не выступал открыто на массовых собраниях... Появление Кобы в том или ином рабочем районе всегда было законспирировано, и о нем можно было догадаться только по оживившейся работе большевиков". Это больше похоже на правду. С Верещаком мы еще встретимся.

Воспоминания большевиков, написанные до тоталитарной эры, отводят первое место в бакинской организации не Кобе, а Шаумяну и Джапаридзе, двум выдающимся революционерам, расстрелянным англичанами во время оккупации Закавказья, 20 сентября 1918 г. "Из старых товарищей в Баку работали тогда, — пишет Каринян, биограф Шаумяна, — товарищи А. Енукидзе, Коба (Сталин), Тимофей (Спандарян), Алеша (Джапаридзе). Большевистская организация... имела широкую базу для работы в лице профессионального союза нефтепромышленных рабочих. Секретарем и фактическим организатором всей союзной работы был Алеша (Джапаридзе)". Енукидзе назван раньше Кобы, главная роль отведена Джапаридзе. И дальше: "Оба они (Шаумян и Джапаридзе) были любимейшими вождами бакинского пролетариата". Кариняну, писавшему в 1924 г., еще не приходит в голову причислить Кобу к "любимейшим вождям".

Бакинский большевик Стопани рассказывает, как он в 1907 г. ушел с головой в профессиональную работу, "самую злободневную для Баку того времени". Профессиональный союз находился под руководством большевиков. В союзе видную роль играли неизменный Алеша Джапаридзе и, меньшую, тов. Коба (Джугашвили), больше отдававший силы преимущественно партийной работе, которой он руководил"... В чем состояла "партийная работа", за вычетом "самой злободневной" работы по руководству профессиональным союзом, Стопани не уточняет. Зато он бросает очень интересное замечание о разногласиях среди бакинских большевиков. Все они стояли за необходимость организационного "закрепления" влияния партии на союз. Но

”относительно степени и форм этого закрепления были разногласия и внутри нас самих: была уже своя ”левая” (Коба-Сталин) и ”правая” (Алеша Джапаридзе и др., в том числе и я); разногласие было не по существу, а в отношении тактики или способов осуществления этой связи”. Намеренно туманные слова Стопани — Сталин уже был очень силен — позволяют безошибочно представить себе действительную расстановку фигур. Благодаря запоздалой волне стачечного движения, профессиональный союз выдвинулся на передний план. Вождями союза естественно оказались те, кто умел разговаривать с массами и вести их: Джапаридзе и Шаумян. Отодвинутый снова на второй план, Коба окопался в подпольном Комитете. Борьба за влияние партии на профессиональный союз означала для него подчинение вождей массы, Джапаридзе и Шаумяна, его собственному командованию. В борьбе за такого рода ”закрепление” личной власти Коба, как видно из слов Стопани, восстал против себя всех руководящих большевиков. Активность масс не благоприятствовала планам закулисного комбинатора.

Особенно острый характер приобрело соперничество Кобы с Шаумяном. Дело дошло до того, что после ареста Шаумяна рабочие, по свидетельству грузинских меньшевиков, заподозрили Кобу в доносе на своего соперника полиции и требовали над ним партийного суда. Кампания была прервана только арестом Кобы. Вряд ли у обвинителей были твердые доказательства. Но подозрение могло сложиться на основании ряда совпадающих обстоятельств. Достаточно, однако, и того, что товарищи по партии считали Кобу способным на донос по мотивам раздраженного честолюбия. Ни о ком другом не рассказывали подобных вещей!

Относительно финансирования бакинского Комитета во время участия в нем Кобы есть совпадающие, но отнюдь не бесспорные показания насчет ”экспроприаций” с оружием в руках; денежных контрибуций, налагавшихся на промышленников под угрозой смерти или поджога нефтяных источников; фабрикаций и сбыта фальшивых ассигнаций и пр. Приписывались ли все эти деяния, сами по себе несомненные, инициативе Кобы уже в те отдаленные годы, или же большую их часть связали с его именем лишь значительно позже, решить трудно. Во всяком случае, участие Кобы в столь рискованных предприятиях не могло быть прямым, иначе оно неизбежно обнаружилось бы. По всей видимости, боевыми операциями он руководил так же, как

пытался руководить профессиональным союзом: из-за кулис. Достоинно внимания, с этой точки зрения, что о бакинском периоде жизни Кобы известно очень мало. Регистрируются самые ничтожные эпизоды, если они служат к славе "вождя". Но о содержании его революционной работы нам сообщают лишь общие фразы. Фигура умолчания вряд ли имеет случайный характер.

"Социалист-революционер" Верещак еще совсем молодым попал в 1909 г. в бакинскую, так называемую баиловскую тюрьму, где провел 3,5 года. Арестованный 25 марта, Коба просидел в той же тюрьме полгода, покинул ее для ссылки, провел там девять месяцев, вернулся нелегально в Баку, был снова арестован в марте 1910 г. и снова оставался, бок о бок с Верещаком, около 6 месяцев в заключении. В 1912 г. товарищи по тюрьме столкнулись в Нарыме, в Сибири. Наконец, после Февральской революции, Верещак, в качестве делегата от тифлисского гарнизона, встретил старого знакомого на первом съезде советов в Петрограде. После политического возвышения Сталина Верещак подробно рассказал в эмигрантской газете о совместной жизни в тюрьме. Не все, может быть, в его повествовании достоверно, и не все его суждения убедительны. Так, Верещак утверждает, несомненно с чужих слов, будто Коба сам признавался в том, что "с революционными целями" выдал своих товарищей по семинарии; неправдоподобие этого рассказа было уже показано выше. Рассуждения народнического автора о марксизме Кобы крайне наивны. Но Верещак имел неоценимое преимущество наблюдать Кобу в такой обстановке, где поневоле отпадают навыки и условности культурного общежития. Расчитанная на 400 заключенных бакинская тюрьма содержала их в то время более 1.500. Арестанты спали в переполненных камерах, в коридорах, на ступеньках лестниц. При такой скученности не могло быть и речи об изоляции. Все двери, кроме дверей карцера, стояли настежь. Уголовные и политические свободно передвигались по камерам, корпусам и двору. "Невозможно было ни сесть ни лечь без того, чтобы другого не задеть". В этих условиях все наблюдали друг друга, а многие — и самих себя с совершенно неожиданных сторон. Даже сдержанные и холодные люди раскрывали такие черты своего характера, которые в обычных условиях удаётся держать под спудом.

"Развит был Коба крайне односторонне, — пишет Верещак, — был лишен общих принципов, достаточной общеобразовательной подготовки. По натуре своей всегда был малокультурным, грубым человеком.

Все это в нем сплеталось с особенно выработанной хитростью, за которой и самый пронизательный человек сначала не мог бы заметить остальных скрывающихся черт". Под "общими принципами" автор понимает, видимо, принципы морали: сам он, в качестве народника, принадлежал к школе "этического" социализма. Удивление Верещака вызывала выдержка Кобы. В тюрьме существовала жестокая игра, которая ставила задачей довести противника, какими угодно мерами, до умоисступления: это называлось "загнать в пузырь". "Кобу никогда не удавалось вывести из равновесия, — утверждает Верещак. — Ничто не могло его задеть"... Эта игра была совсем невинной по сравнению с другой игрой, которую вели власти. Среди заключенных находились лица, которые вчера или сегодня были приговорены к смерти и с часу на час ждали окончательного решения своей судьбы. "Смертники" ели и спали вместе со всеми остальными. На глазах арестантов их выводили ночью и вешали в тюремном дворе, так что в камерах были "слышны крики и стоны казненных". Всех заключенных трепала нервная лихорадка. "Коба крепко спал, — говорит Верещак, — или спокойно зубрил эсперанто (он находил, что эсперанто — это будущий язык интернационала)". Нелепо было бы думать, что Коба оставался безразличен к казням. Но у него были крепкие нервы. Он не переживал за других, как за себя. Такие нервы сами по себе представляли уже важный капитал.

Несмотря на хаос, казни, партийные и личные стычки, бакинская тюрьма была большой революционной школой. Среди марксистских руководителей выделялся Коба. В личных спорах он участия не принимал, предпочитая публичную дискуссию: верный признак того, что своим развитием и опытом Коба возвышался над большинством заключенных. "Внешность Кобы и его полемическая грубость делали его выступления всегда неприятными. Его речи были лишены остроумия и носили форму сухого изложения". Верещак вспоминает об одной "аграрной дискуссии", когда Орджоникидзе, сподвижник Кобы, "хватил по физиономии содокладчика, эсера Илью Карцевадзе, за что был жестоко эсерами избит". Это не выдуманно: склонность к физическим аргументам не в меру горячий Орджоникидзе сохранил и тогда, когда стал советским сановником. Ленин даже предлагал однажды исключить его за это из партии.

Верещак поражается "механизированной памятью" Кобы, маленькая голова которого "с неразвитым лбом" включала в себя будто бы весь

“Капитал” Маркса. “Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим... Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу по Марксу. На непросвещенных в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление”. К числу “непросвещенных” относился и сам Вершак. Молодому народнику, воспитавшемуся на истинно русской беллетристической социологии, марксистский багаж Кобы мог казаться чрезвычайно солидным. На самом деле, он был достаточно скромнен. У Кобы не было ни действительных теоретических запросов, ни усидчивости, ни дисциплины мысли. Вряд ли правильно говорить об его “механизированной памяти”. Она узка, эмпирична, утилитарна, но, несмотря на семинарскую тренировку, совсем не механизирована. Это мужицкая память, лишенная размаха и синтеза, но крепкая и упорная, особенно в злопамятстве. Совсем неверно, будто голова Кобы была набита готовыми цитатами на все случаи жизни. Начетчиком и схоластом Коба не был. Из марксизма он усвоил, через Плеханова и Ленина, наиболее элементарные положения о борьбе классов и о подчиненном значении идей по отношению к материальным факторам. Крайне упрощая эти положения, он мог, тем не менее, с успехом применять их против народников, как человек с револьвером, хотя бы и примитивным, успешно сражается против человека с бумерангом. Но Коба оставался по существу безразличен к марксистской доктрине в целом.

Во время заключения в тюрьмах Батума и Кутаиси Коба, как мы помним, пытался проникнуть в тайны немецкого языка: влияние германской социал-демократии на русскую было тогда чрезвычайно велико. Однако, совладать с языком Маркса Кобе удалось еще меньше, чем с доктриной. В бакинской тюрьме он принялся за эсперанто, как за “язык будущего”. Этот штрих очень наглядно раскрывает интеллектуальный диапазон Кобы, который в сфере познания всегда искал линии наименьшего сопротивления. Несмотря на восемь лет, проведенных им в тюрьмах и ссылке, ему так и не удалось овладеть ни одним иностранным языком, не исключая и злополучного эсперанто.

По общему правилу, политические заключенные старались не общаться с уголовными. Кобу, наоборот, “можно было всегда видеть в обществе головорезов, шантажистов, среди грабителей-маузеристов”. Он чувствовал себя с ними на равной ноге. “Ему всегда imponировали люди реального ‘дела’. И на политику он смотрел, как на “дело”, которое надо уметь и ‘сделать’ и ‘обделать’”. Это очень правильно

подмечено. Но именно это наблюдение лучше всего опровергает слова насчет механизированной памяти, начиненной готовыми цитатами. Коба тяготился обществом людей с более высокими умственными интересами. В Политбюро в годы Ленина он почти всегда сидел молчаливым, угрюмым и раздраженным. Наоборот, он становился общительнее, ровнее и человечнее в кругу людей первобытного склада и не связанных никакими предрассудками. Во время гражданской войны, когда некоторые, преимущественно кавалерийские части разнуздывались и позволяли себе насилия и бесчинства, Ленин иногда говорил: "Не послать ли нам туда Сталина? Он умеет с такими людьми разговаривать".

Зачинщиком тюремных протестов и демонстраций Коба не был, но всегда поддерживал зачинщиков. "Это делало его в глазах тюремной публики хорошим товарищем". И это наблюдение правильно. Инициатором Коба не был ни в чем, нигде и никогда. Но он был весьма способен воспользоваться инициативой других, подтолкнуть инициаторов вперед и оставить за собой свободу выбора. Это не значит, что Коба был лишен мужества, но он предпочитал расходовать его экономно. Режим в тюрьме представлял сочетание распушенности с жестокостью. Заключенные пользовались значительной свободой внутри тюремных стен. Но когда какая-то трудно уловимая черта оказывалась перейденной, администрация прибегала к воинской силе. Верещака рассказывает, как в 1909 г. (очевидно, в 1908 г.), на первый день Пасхи, рота Сальянского полка избивала всех без исключения политических, пропуская их сквозь строй, "Коба шел, не сгибая головы, под ударами прикладов, с книжкой в руках. И когда началась стихийная обструкция, Коба парашей высаживал двери своей камеры, несмотря на угрозы штыками". Этот сдержанный человек умел, в редких, правда, случаях, доходить до крайнего бешенства.

Московский "историк" Ярославский пересказывает Верещака: "Сталин проходил сквозь строй солдат, читая Маркса". Имя Маркса здесь привлечено по той же причине, по которой в руке Богородицы оказывается роза. Вся советская историография состоит из таких роз. Коба с "Марксом" под прикладами стал предметом советской науки, прозы и поэзии. Между тем такое поведение не имело в себе ничего исключительного. Тюремные избиения, как и тюремный героизм, стояли в порядке дня.

Пятницкий рассказывает, как после его ареста в Вильно в 1902 г. полицейский предложил отправить арестованного, тогда еще совсем

молодого рабочего, к становому приставу, известному своими побоями, чтоб вынудить у него показания. Но старший полицейский ответил: "он и там ничего не скажет, он принадлежит к искровской организации". Уже в те ранние годы революционеры школы Ленина имели репутацию негнбаемых. Чтоб установить у Камо мнимую утрату чувствительности, врачи втыкали ему иглы под ногти. И только благодаря тому, что Камо стойко переносил такие испытания в течение нескольких лет, его признали в конце концов безнадежно помешанным. Что значат по сравнению с этим несколько ударов прикладом? Нет основания преуменьшать мужество Кобы, но нужно ввести его в пределы места и времени.

Благодаря условиям тюрьмы, Верещак без труда подметил ту черту Сталина, благодаря которой он долгое время мог оставаться неизвестным: "это способность втихомолку подстрекнуть других, а самому остаться в стороне". Далее следуют два примера. Однажды в коридоре "политического" корпуса жестоко избивали молодого грузина. По коридору пронеслось зловещее слово: "provokator". Только подоспевшие солдаты прекратили избиение. Снесли на носилках в тюремную больницу окровавленное тело. Provokator ли? И если provokator, то почему не убили? "Обыкновенно provokatorов, в доказанных случаях, в баиловской тюрьме убивали", — отмечает мимоходом Верещак. "Никто ничего не знал и не понимал. И лишь спустя много времени выяснилось, что слух исходил от Кобы". Был ли избитый действительно provokatorом, установить не удалось. Может быть, это был просто один из тех рабочих, которые выступали против экспроприаций или обвиняли Кобу в доносе на Шаумяна? Другой случай. На ступеньках лестницы, ведущей в политический корпус, некий заключенный, по прозвищу Грек, убил ножом молодого рабочего, только что доставленного в тюрьму. Сам Грек считал убитого шпионом, хотя лично никогда раньше не встречал его. Кровавое происшествие, естественно взволновавшее тюрьму, долго оставалось невыясненным. Наконец, Грек стал проговариваться в том смысле, что его, видимо, зря "навели". Наводка же исходила от Кобы.

Кавказцы легко воспаляются и прибегают к ножу. Холодному и расчетливому Кобе, знавшему язык и нравы, нетрудно было натравить одного на другого. В обоих случаях дело шло, несомненно, о мести. Подстрекателю не нужно было, чтобы жертвы знали, кто виновник их несчастья. Коба не склонен делиться чувствами, в том числе и радостью

удовлетворенной мести. Он предпочитает наслаждаться один, про себя. Оба эпизода, как ни жутки они, не кажутся невероятными; позднейшие события придают им внутреннюю убедительность... В баиловской тюрьме идет подготовка к будущим событиям. Коба набирается опыта, Коба крепнет, Коба растет. Серая фигура бывшего семинариста с рябинками на лице отбрасывает от себя все более зловещую тень.

Верещак называет далее, но уж явно с чужих слов, различные рискованные предприятия Кобы во время его работы в Баку: организацию фальшивомонетчиков, ограбление казначейства и пр. "Никогда он по этим делам в судебном порядке не привлекался, хотя и фальшивомонетки и эксисты сидели вместе с ним". Если бы они знали о его роли, кто-нибудь неизбежно выдал бы его. "Способность втихомолку бить чужими руками по цели, и в то же время оставаться незамеченным сделала Кобу хитрым комбинатором, не брезгующим никакими средствами и уклоняющимся от публичных отчетов и ответственности".

О жизни Кобы в тюрьме мы знаем, таким образом, больше, чем о его деятельности на воле. Но там и здесь он оставался верен себе. Меж дискуссий с народниками и бесед с грабителями он не забывал о революционной организации. Берия сообщает, что Кобе удалось из тюрьмы наладить правильные связи с бакинским Комитетом. Это вполне возможно: где нет изоляции политических от уголовных и политических — друг от друга, там невозможна и изоляция от внешнего мира. Один из номеров нелегальной газеты был полностью изготовлен в тюрьме. Хоть и ослабленный, пульс революции продолжал биться. Если тюрьма не повысила теоретических интересов Кобы, зато она не сломила его готовности к борьбе.

20 сентября Коба был выслан на север Вологодской губернии, в Сольвычегодск. Это была очень льготная ссылка: всего на два года, не в Сибири, а в Европейской России, не в селе, а в городке с двумя тысячами жителей, при легкой возможности побега. Ясно, что у жандармов не было против Кобы сколько-нибудь серьезных улик. При крайней дешевизне жизни на этих далеких окраинах ссыльные умудрялись проживать на те несколько рублей в месяц, которые выдавало правительство; на экстренные нужды получалась помощь от друзей и революционного Красного Креста. Как провел Коба девять месяцев в Сольвычегодске, что делал, что изучал, мы не знаем. Никаких документов не опубликовано: ни литературных работ, ни дневников, ни писем. В

местном полицейском "деле об Иосифе Джугашвили", под рубрикой "поведение", значится: "груб, дерзок, с начальством непочтителен". Если "непочтительность" была общей чертой революционеров, то грубость была чертой индивидуальной.

Весной 1909 г. Аллилуев, живший уже в Петербурге, получил от Кобы письмо с места ссылки с просьбой сообщить ему свой адрес. "А в конце лета того же года Сталин бежал из ссылки в Питер, где мы встретились с ним случайно на одной из улиц Литейной части". Случилось так, что Сталин не застал Аллилуева ни на квартире, ни на службе, и вынужден был долгое время бродить по улицам без приюта. "Когда мы с ним случайно на улице встретились, то он уже изнемогал от усталости". Аллилуев устроил Кобу у сочувствующего революционерам дворника одного из гвардейских полков. "Здесь Сталин несколько времени спокойно отдыхал, повидался кое с кем из членов большевистской фракции III Думы, а затем уже двинулся на юг, в Баку".

Опять в Баку! Вряд ли его влек туда местный патриотизм. Вернее предположить, что в Петербурге не знали Кобы, депутаты Думы не проявили к нему интереса, никто не приглашал его оставаться и не предлагал столь необходимого нелегальному содействия. "Возвратившись в Баку, вновь энергично взялся за дальнейшее укрепление большевистских организаций... В октябре 1909 г. приезжает в Тифлис, организует и направляет борьбу тифлисской большевистской организации против меньшевиков-ликвидаторов". Читатель узнает стиль Берия. В нелегальной печати Коба публикует несколько статей, интересных разве только в том отношении, что они написаны будущим Сталиным. Ввиду отсутствия сколько-нибудь ярких фактов, за которые можно было бы уцепиться, исключительное значение придается ныне корреспонденции, написанной Кобой в декабре 1909 г. для заграничной газеты партии. Противопоставляя активный промышленный центр, Баку, застойному Тифлису чиновников, лавочников и ремесленников, "Письмо с Кавказа" совершенно правильно объясняет социальной структурой Тифлиса господство в нем меньшевиков. Далее следует полемика против неизменного лидера грузинской социал-демократии Жордания, который еще раз провозгласил необходимость "объединения сил буржуазии и пролетариата". Рабочие должны отказаться от непримиримой политики, ибо, уверяет Жордания, "чем слабее классовая борьба между пролетариатом и буржуазией, тем победоноснее буржуазная революция". Коба противопоставлял этому прямо противоположное положение:

“победа революции будет тем полнее, чем больше обопрется революция на классовую борьбу пролетариата, ведущего за собой деревенскую бедноту против помещиков и либеральных буржуа”. Все это было вполне правильно по существу, но не содержало ни одного нового слова: с весны 1905 г. подобная полемика повторялась несчетное число раз. Если корреспонденция была ценна для Ленина, то не ученическим пересказом его собственных мыслей, а как живой голос из России в такой момент, когда большинство этих голосов замерло. Однако, в 1937 г. “Письмо с Кавказа” объявлено “классическим образцом ленинско-сталинской тактики”. “В нашей литературе и во всем нашем преподавании, — пишет один из панегиристов, — все еще недостаточно освещена эта исключительная по глубине, богатству содержания и историческому значению статья”. Не остается ничего, как пройти мимо.

“В марте — апреле 1910 г. удастся, наконец, — сообщает тот же историк (некий Рабичев), — создать российскую коллегию ЦК. В состав этой коллегии входит и Сталин. Однако, эта коллегия не успела развернуть работы: вся она была арестована”. Если это верно, то Коба, по крайней мере формально, вошел с 1910 г. в состав ЦК. Важная веха в его биографии! Однако, это не верно. За пятнадцать лет до Рабичева старый большевик Германов (Фрумкин) рассказал следующее: “На совещании пишущего эти строки с Ногиным было решено предложить ЦК утвердить следующий список пятерки — русской части ЦК: Ногин, Дубровинский, Малиновский, Сталин и Милютин.” Дело шло, таким образом, не о решении ЦК, а лишь о проекте двух большевиков. “Сталин был нам обоим лично известен, — продолжает Германов, — как один из лучших и более активных бакинских работников. Ногин поехал в Баку договориться с ним, но по ряду причин Сталин не мог взять на себя обязанности члена ЦК.” В чем именно состояла помеха, Германов не говорит. Сам Ногин писал о своей поездке в Баку два года спустя: “В глубоком подполье находился Сталин (Коба), широко известный в то время на Кавказе и принужденный тщательно скрываться на Балаханских промыслах.” Из рассказа Ногина вытекает, что он даже не повиделся с Кобой.

Умолчание о характере причин, по которым Сталин не мог войти в русскую коллегию ЦК, подсказывает интересные заключения. 1910 г. был периодом наиболее полного упадка движения и наиболее широкого разлива примиренческих тенденций. В январе состоялся в Париже пленум ЦК, где примиренцы одержали крайне неустойчивую победу. Решено

было восстановить ЦК в России с участием ликвидаторов. Ногин и Германов принадлежали к числу примиренцев-большевиков. Воссоздание "русской", т. е. действующей нелегально в России, коллегии лежало на Ногине. За отсутствием центральных фигур сделано было несколько попыток привлечь провинциалов. В их числе был и Коба, которого Ногин и Германов знали, как "одного из лучших бакинских работников". Из этого замысла, однако, ничего не вышло. Осведомленный автор немецкой статьи, которую мы уже цитировали выше, утверждает, что, хотя "официальные большевистские биографы пытаются сделать небывшими... экспроприацию и исключение из партии, тем не менее сами большевики стеснялись ставить Сталина на сколько-нибудь видный пост руководителя". Можно с уверенностью предположить, что причиной неудачи миссии Ногина послужило недавнее участие Кобы в "боевых действиях." Парижский пленум осудил экспроприаторов, как лиц, руководившихся "ложно понятыми интересами партии." Борясь за легальность, меньшевики ни в каком случае не могли согласиться на сотрудничество с заведомым руководителем экспроприаций. Ногин понял это, видимо, лишь при переговорах с руководящими меньшевиками на Кавказе. Никакой коллегии с участием Кобы создано не было. Отметим, что из двух примиренцев, протезировавших Сталину, Германов принадлежит к числу бесследно исчезнувших; что касается Ногина, то только ранняя смерть (1924 г.) спасла его от участи Рыкова, Томского, Германова и других ближайших его друзей.

Деятельность Кобы в Баку была несомненно более успешна, чем в Тифлисе, независимо от того, играл ли он первую, вторую или третью роль. Но попытки изобразить бакинскую организацию как единственную по несокрушимости крепость большевизма относятся к области мифов. В конце 1911 г. Ленин сам заложил случайно основу этого мифа, причислив бакинскую организацию, наряду с Киевской, к числу "образцовых и передовых для России 1910 и 1911 годов," т. е. для годов полного упадка партии и начала ее возрождения. "Бакинская организация существовала без перерыва в течение тяжелых годов реакции и принимала во всех проявлениях рабочего движения самое активное участие," — говорит одно из примечаний к ХУ тому "Сочинений" Ленина. Оба эти суждения, тесно связываемые ныне с деятельностью Кобы, оказываются, по проверке, совершенно ошибочными. На самом деле Баку, после подъема, проходил через те же этапы упадка, что и другие промышленные пункты страны, правда, с небольшим запозданием, но зато в еще более

тяжелых формах.

Известный нам Стопани пишет в своих воспоминаниях: "Партийная и профессиональная жизнь в Баку с 1910 г. совершенно замирает." Кое-какие обломки профессиональных союзов еще продолжают некоторое время существовать, да и то с участием преимущественно меньшевиков. "Наша большевистская работа вскоре почти замирает благодаря постоянным провалам, отсутствию работников и вообще безвременью." В 1911 г. положение еще ухудшается. Орджоникидзе, посетивший Баку в марте 1912 г., когда волны прибоя уже явственно поднимались по всей стране, писал за границу: "Вчера удалось, наконец, собрать несколько человек рабочих... Организации, т. е. местного центра, нет, поэтому пришлось ограничиться частным совещанием"... Эти два показания достаточны. Напомним, сверх того, уже цитированное свидетельство Ольминского: "Возрождение всего медленнее шло в тех городах, где было больше всего увлечения экзами (для примера назову Баку и Саратов)." Ошибка Ленина в оценке бакинской организации представляет обычный случай аберрации эмигранта, которому приходится судить издалека, на основании частичных сведений, к числу которых могли принадлежать и чрезмерно оптимистические сообщения самого Кобы.

Общая картина вырисовывается во всяком случае с достаточной ясностью. Коба не принимал активного участия в профессиональном движении, которое было тогда главной ареной борьбы (Каринян, Стопани). Он не выступал на рабочих собраниях (Верещак), а сидел в "глубоком подполье" (Ногин). Он не мог "по ряду причин" вступить в русскую коллегию ЦК (Германов). В Баку было "больше всего увлечения экзами" (Ольминский) и индивидуальным террором (Верещак). Кобе приписывалось прямое руководство бакинскими "боевыми действиями" (Верещак, Мартов и др.). Такая деятельность несомненно требовала ухода от масс в "глубокое подполье." Денежная добыча в течение известного времени искусственно поддерживала существование нелегальной организации. Но тем сильнее дала о себе знать реакция, и тем позже началось возрождение. Этот вывод имеет не только биографическое, но и теоретическое значение, ибо помогает осветить некоторые общие законы массового движения.

24 марта 1910 г. жандармский ротмистр Мартынов сообщал, что им задержан Иосиф Джугашвили, известный под кличкой "Коба," член бакинского Комитета, "самый деятельный партийный работник, занявший

руководящую роль” (будем верить, что документ не исправлен рукою Берия). В связи с этим арестом другой жандарм докладывал по начальству: ”ввиду упорного участия” Джугашвили в революционной деятельности и его ”двукратного побега,” он, ротмистр Галимбатовский, ”полагал бы принять высшую меру взыскания.” Не надо думать, однако, что дело шло о расстреле: ”высшая мера взыскания,” в административном порядке, означала ссылку в отдаленные места Сибири на пять лет.

Тем временем Коба снова сидел в знакомой ему бакинской тюрьме. Политическое положение в стране и тюремный режим за протекшие полтора года претерпели глубокие изменения. Шел 1910-й год, реакция торжествовала по всей линии; не только массовое движение, но и экспроприации, террор, акты индивидуального отчаяния упали до низшей точки. В тюрьме стало строже и тише. О коллективных дискуссиях не было больше речи. Коба имел достаточный досуг изучать эсперанто, если только он не успел разочароваться в языке будущего. 27 августа распоряжением кавказского наместника Джугашвили воспрещено было в течение пяти лет проживать в Закавказье. Но в Петербурге остались глухи к рекомендациям ротмистра Галимбатовского, который не сумел, очевидно, представить никаких серьезных улик: Коба снова был отправлен в Вологодскую губернию отбывать незаконченный двух-летний срок ссылки. Петербургские власти еще явно не придавали Иосифу Джугашвили серьезного значения.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

УДБ

Тяжелые времена для меня настали. "Времена тежка и усиљна", — как писал сербский древний летописец о турецком иге. Серый дом... О, этот серый большой дом в два этажа, с глубоким подвалом! Некогда — дом богача Унковича, новый, построенный в 1940 году. Немцы, заняв город, устроили в нем свое отделение Гестапо. Коммунисты в 1945 году поместили здесь свою ОЗНу, позже переименованную в УДБу. Как известно, "хрен редьки не слаше". Немцы неугодных, вроде меня, гоняли на работы в лагерь, а новые хозяева "добровольно" отправляли носить камни. Вдобавок, их мегеры ходили по домам т. н. реакционеров и, подойдя к плите, смотрели, что варится у лишенца и откуда у него яйца и лук.

Дело мое было совсем плохое и непонятое. Меня начали будить среди ночи, забирали и днем и вели с двумя озновцами в дом Унковича, не тратя лишних слов и не отвечая на мои вопросы. Вводили в пустую комнату с красивым каменным полом и, заперев дверь и железные ставни, уходили. Постояв час—другой, я прислонялся к стене. Тотчас окрик через дверь: "Стоять посередине, не будешь — подвесим!" Это ужасная пытка, когда подвешивают подмышками на канатах в десяти сантиметрах от пола и оставляют так болтаться часами. Часов через пять—шесть меня выводили и провожали до квартиры. Не успевал я поесть и прилечь, новая пара "архангелов" и опять та же самая процедура. Редко случались дни, когда я мог спокойно выспаться, ночью ведь тоже брали. Совсем меня извели: осунулся, похудел, ноги стали трястись.

Раз, в двенадцать ночи зашел шеф учреждения. С эдаким

легким поклоном и злой усмешкой на гладко выбритой физиономии спросил: "Знаете ли вы уже, почему здесь?" Я вздохнул и тихо ответил по-сербски: "Бог и душа, не знаю". — "Ээ, знаешь, ты тут из-за Бога!" Ничего я не понял и стоял, ссутулясь.

Выпала тихая холодная позднесенняя ночь. Спал я нервно, чутко. Вдруг раздался тихий мягкий стук. Была полная темнота, но я почувал кого-то, прижавшегося у окна близ двери: "Профессор, профессор, можно мне к вам?" Я обмер. По смутной фигуре, по голосу узнал я Кровавого "Шпанца" (т. е. Испанца) Петара Волича. В свое время он ушел из Югославии в Испанскую Международную бригаду. Был позже в партизанах у Тито и в конце сороковых годов совершал массовые казни на севере и на Дунае. Овладев собою, я выдохнул: "Да, пожалуйста".

Этот коммунист и ранее, до войны 1941 года, не замечал меня. Он был братом подростка, милой девочки, которой я давал частные уроки. Как-то раз я с ним встретился у входа в их дом и поздоровался. Он, глядя мимо, прошел молча. С тех пор, если мы встречались на улице, я смотрел сквозь него и молчал, как чугунная тумба, или "бинекташ" — огромный камень для легкой посадки в седло. (Мало их сохранилось в этом городе, но кое-где они еще остались. В Сербии тогда старину не ценили. В городе Пожаревце мостили грязные улицы и дворы кирпичами выделки 11 римского легиона Паннонии).

"Садитесь. Вот, немного сливовицы", — предложил я. Петар Волич отрицательно качнул подстриженной головой. Усевшись против меня за низкий стол, он извлек из бокового кармана пиджака объемистую плоскую бутылку и наощупь налил мне и себе. Я хотел зажечь свет, но он нервно сказал: "Нет! Не зажигайте!" Мы помолчали. Пригубив свою рюмку, я обжегся. Это была "мученица" (84⁰ можжевелевая водка — ракия). Петр выпил, не крикнув. Захотелось угостить хоть какой-то закуской. Вздыхая про себя, вытащил из шкафчика два крутых яйца, немного соленого каймака и печеный зеленый перец. Волич отодвинул мою закуску, поставив на стол развернутый пакет. Там была поросятина и несколько кусков сербского шашлыка — ражничичи. Качнувшись вперед и чуть скрипнув зубами, он заметил очень спокойным голосом, но с потаенной злобой: "Есть тут и третий..."

дьявол в крови и в черном. Его и нет и есть". Мне стало страшно. А что, если это не одна большая фантазия?

"Начну я, профессор, с важнейшего. После запрета "Звезды" и какого-то там еще одного журнала в Ленинграде, собрали нас со всего света по вызову из СССР на совещание, точнее, на получение директив от товарища Жданова. Всекие там были. Немцы и китайцы, японцы и англичане, русские и финны, французы, греки, итальянцы, югославяне и болгары. Всех не перечислить. Была перед каждым на его пульте — дощечка и печатная речь того же Жданова. Раздался особый звонок, мы стихли и на кафедре появился наш мэтр. Для нас он был, после Сталина, самым большим коммунистом, идеологом и наставником. Мы все, стоя, долго рукоплескали.

Он сказал нам примерно следующее: "Вы — вернейшие из верных, вы все испытаны железом и кровью, ваша верность идеалам Ленина-Сталина несомненна. Но вы все здесь собраны впервые не только как коммунисты, но как коммунисты-специалисты. Среди вас есть электрики и искусствоведы, доктора медицины и доктора философии, биологи и кораблестроители, математики и юристы, зоотехники и химики, мастера пропаганды и астрономы. Вы — соль коммунизма. От вас у нас нет тайн.

Мы переходим от войны горячей к войне подрывной, к дезинформации. Ибо ложь, по словам Ленина, не порок, а часто необходимое оружие для достижения великой цели. Вы все время слышите о демократии, о новой демократии. Это надо сейчас писать и говорить так для гибели ихней, западной демократии. Нас интересуют не временные цели того или иного государства, а глобальные, мирового масштаба. За столетия капитализм и его демократия, ничего путного не создав, выдохлись. Мы хотим и мы одни можем создать нового человека. Это не в год, не в сорок лет возможно. Новое медленно растет. Да, для осуществления коммунизма во всем мире нам надобно лет триста. Смены 12—15 поколений. Успех во многих странах уже виден, но это только начало. Победа должна стать глобальной. Речь эту вы найдете на своем языке. Прочитайте ее и, уходя, бросьте в горящую печь у выхода. Тактика будет меняться, приспособляясь к их демократии или к тирании, стратегия же Маркса-Ленина-Сталина не изменится. Вперед! Вперед к коммунизму!

Все закричали, все заплодировали, все, и не понявшие русской речи и еще не прочитавшие ее на родном языке”.

Он вытер пот со лба. Выпил две рюмки и прошептал: “Я всё, всё делал, и вот — в крови всё. Хотел убить себя, да Он не дает. Часто хочется убивать опять, но теперь почему-то страшно... Что делать, не знаю, всё ломается...”. Ломались, рвались отношения со Сталиным. Я знал, что начальник штаба Тито Арсо Йованович застрелен, что генерал Жуйович исчез, а Хебранг покаялся, заявив: “Партия Тито спасла меня от самого себя”.

“Чего же вы хотите?” — с трудом сказали мои губы. — “Совета. Что делать? Вы же доктор двух университетов; *бывший*, как говорят власти, но они ведь теперь *разное* говорят”. Подумав, я ответил: “Сперва поезжайте в отпуск в санаторий в Словении, в лес, к озеру. Туда, где мало народа. В Бога вы не верите, да и в черта тоже, хотя он вам и грезится... Лечить нервы и душу лечить. Вас обожгла политика злобы. Но вы шли не из-за личной выгоды, вас околдовала идеология. Вы — адвокат, гнаться за гонораром вам нечего. Даже теперь вы кое-кому из малых и пришибленных сможете помочь, или хоть утешить. Другого сказать я не могу”. Звякнув о мою рюмку и опять выпив, Петар ответил: “Попробую, попробую!... А знаете, вы скорее уходите”. — “Куда?” — “Бегите из Югославии, я недаром это сказал”. Он быстро встал и вышел, оставив плоскую бутылку и закуску.

На другой день меня отвели в кабинет шефа УДБы. Усадили в кресло напротив стола, покрытого красным сукном с конфискованной серебряной чернильницей. “Ну-с, поняли, наконец, почему вы к нам ходите?” — “Не знаю”, — ответил я. “Из-за веры и церкви!” — “Но в Конституции сказано, что вера частного лица — его дело”. — “Лжешь, мы сами Конституцию писали”. Последовала брань с упоминанием всех моих предков и сестры, которой не было. “У нас запрещена всякая пропаганда религии. Скажи, черт тебя раздери, скажи, сколько докторов философии двух университетов у нас в городе, а?” — “Не знаю”. — “Лжешь, ты, ты один! — задыхался шеф УДБы. — Ты при всем народе встал на паперти на колени, а потом вошел в церковь! Вот, вот явная пропаганда веры! Скажут, он ученый, ходит, молится а

эти, т. е. мы, говорим, что Бога нет! Спрашиваю в последний раз, будешь опять ходить к своему другу, попу Ташичу в церковь?". Я думал быстро: "Не буду больше ходить и явно молиться". — "Ступай, и помни сказанное мною".

И я не ходил, признаю, и теперь редко встречался с милым 80-тилетним "поп-Ташичем". Испугался, намучился? Да. Видел я героев и удалцов, да сам не был героем. Никогда не требовал от себя героизма и мученичества. И это позже помогло мне вовремя бежать из богоспасаемой Сербии, правда, не без помощи тех, кто уже разочаровался в коммунизме, но был еще в партии. Дважды срывалось мое бегство, на третий раз — удалось.

Р. Плетнев

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Л. Л. ДОМГЕРР

Людвиг Леопольдович Домгерр родился 25 декабря 1894 года в Керчи в семье состоятельного коммерсанта. В гимназию он не ходил: занимался дома и сдавал экзамены экстерном. В 1911 году Людвиг Леопольдович поступил в Московский университет, но после одного семестра перевелся в Петербургский, где окончил историко-филологический факультет. Затем он был зачислен в артиллерийское училище, по окончании которого его определили в гвардейский полк. Как и очень многие молодые люди, представители интеллигенции, Людвиг Леопольдович приветствовал Февральскую революцию. Даже принимал в ней скромное участие. "Я в Таврическом дворце набивал пулеметные ленты, — вспоминал он. — Отлично помню, как великий князь, нацепив красный бант, вел свой гвардейский экипаж по Миллионной."

После Октябрьского переворота Людвиг Леопольдович вернулся в Керчь, где тогда была и Вера Евгеньевна, его будущая жена. Вскоре он поступил на юридический факультет Одесского университета, но в начале 1920-х годов вернулся в Петроград. Там он преподавал русский язык в военном училище, потом поступил в Управление по делам научных и художественных учреждений, затем в Институт истории и, наконец, в Институт русской литературы Академии Наук

(Пушкинский Дом). Наиболее монументальной его работой там была редакция юбилейного Академического издания полного собрания сочинений А. С. Пушкина. Работая в Управлении, Домгерр занимался переводами, чаще всего для известного издательства "Academia" — сперва частного, потом государственного. Совместно с Д. М. Гарфинкелем он сделал первый перевод на русский романа Теодора Драйзера "Американская трагедия." Он также перевел роман "Мартин Эрроусмит" Синклера Льюиса, "Путешествие де Кюстина" и многое другое.

О его сотрудничестве с Д. М. Гарфинкелем вспоминается такой случай. "Попался сложнейший технический перевод, — рассказывал Людвиг Леопольдович. — Читаю — ничего не понимаю. Пошел к Гарфинкелю. Тот, посмотрев текст, сказал: 'Да-а-а! Понять нельзя, а вот перевести можно'. И мы перевели."

В годы Второй мировой войны супруги Домгерры пережили все ужасы блокады Ленинграда, с ее чудовишным голодом, бомбежками, артобстрелами. "Просто не знаю, как это нам с Верочкой удалось выжить. Я ведь совсем был плох." В феврале 1942 года Людвиг Леопольдович, как сотрудника Академии Наук эвакуировали из Ленинграда и с женой привезли на Северный Кавказ, который вскоре был занят немцами. Так цвет научной мысли и искусства, люди, чудом избежавшие смерти в Ленинграде, проделав невероятно трудный путь чуть ли не через всю Россию, попали к немцам.

Отступая, немцы, в числе многих миллионов других советских граждан, привезли в Германию и Домгерров. Война кончилась, и Домгерры перебрались в Париж, куда их пригласил известный русский балетмейстер Леонид Мясин, чьим доверенным управляющим стал Людвиг Леопольдович. Но и тут он находил время заниматься своим любимым делом: для издательства "Галлимар" он делал правку перевода на французский язык "Анны Карениной." За границей он написал и издал труд о А. И. Герцене, что, между прочим, привело к личному знакомству во Франции с правнуком этого русского писателя.

В конце 1951 года Домгерры приехали в Нью-Йорк, где Людвиг Леопольдович получил место в библиотеке Колумбийского университета, а также прослушал несколько аспирантских дисциплин по библиотечному делу. В 1956 году его пригласили на должность редактора русскоязычного журнала "Америка", который правительство США снова стало издавать. Редактором "Америки" он оставался до 1971 года, потом еще несколько лет работал в редакции неполный рабочий день и, наконец, ушел на покой. Таков, вкратце, необычный жизненный путь этого необычного человека. Скончался Л. Л. в январе 1984 года во сне от сердечного припадка.

Г. Лидес и Н. Моравский

БИБЛИОГРАФИЯ

”ЖИЗНЬ ПРОШЛА, А МОЛОДОСТЬ ДЛИТСЯ...”

В последнее время появились два ценных и захватывающе-интересных произведения, являющихся как бы продолжением первых книг воспоминаний их авторов. Оба они относятся к ”России во Франции,” хотя написаны в совершенно разной манере и, в основном, касаются разных слоев эмиграции, но без них не сможет обойтись ни один исследователь первого пореволюционного исхода россиян. Я имею в виду *второй том мемуаров Р. Б. Гуля ”Я унес Россию,”* печатающихся в ”Новом Журнале” и *”На берегах Сены” Ирины Одоевцевой* (Париж, *La Presse Libre*, 1983, 528 стр. с иллюстр.).

Попытаюсь дать краткий обзор этого второго труда, посвященного встречам автора с представителями русского литературного Зарубежья, в котором сама Ирина Одоевцева играла видную роль и в силу своего собственного таланта, и как жена Георгия Иванова.

Первые зарисовки этой живой книги относятся к лицам, лишь мимолетно встреченным автором еще в Берлине. Глава о Есенине и Айседоре Дункан не вносит ничего нового в уже многократно описанный облик этой странной пары. Но вот на русском балу перед читателями предстает ”долговязый брюнет в длиннополом старомодном сюртуке. Черты его большого лица так неподвижны, что кажутся вырезанными из дерева. Он сидит молча, с напряженно-беспокойным видом путешественника, ждущего на вокзале пересадки, и явно чувствует себя здесь совсем не на своем месте. Никто не обращает на него внимания...” Это — Игорь Северянин, совсем не такой, каким представляла себе его Ирина Одоевцева. Особенно же поразил он ее позже, приехав к ней пить чай совершенно пьяным. И, наконец, — горькая исповедь еще недавнего кумира русской публики. А затем, в сумерках, он читает молодой

слушательнице свои "поэзы" и она, привыкшая к высмеиванию их Гумилевым и его окружением, неожиданно попадает под власть этого гипнотического чтения-пения, а потом, после ухода Северянина, плачет от острой жалости к нему, хотя Георгий Иванов и предсказывает поэту посмертную славу.

Очень живо рассказав о жизни, деятельности и славе Бальмонта в России, Ирина Одоевцева описывает, как в Париже его звезда, начавшая вторично подыматься, снова померкла, и винит в этом преимущественно Георгия Адамовича. Самолюбивый и мстительный, уже начавший в те годы карьеру зарубежного критика, Адамович не простил начитаннейшему эрудиту Бальмонту его отзыв о нем, как о "недоучившемся лопухом гимназисте" и стал вредить поэту, где только мог, хотя стихи Бальмонта становились все лучше, замечает Одоевцева, единственный раз встретившаяся с тяжело переживавшим охлаждение публики поэтом на одном из знаменитых "воскресений" у Мережковских. И тут же она разоблачает ряд мифов о Бальмонте — он вовсе не зачитывал присутствовавших до полуобморочного состояния своими стихами; в тот единственный раз он умно и дельно рассказывал об Индии. Последние строки повествования о дальнейшей судьбе Бальмонта, его кончине и похоронах навевают на читателя искреннюю грусть.

Словно окропленная живой водой, встает на посвященных ей многих страницах нарядная Тэффи, которой "женские успехи доставляли не меньше удовольствия, чем литературные" — по ее уверениям, она в свое время "объелась всероссийской славой," получив огромную коробку конфет "Тэффи," завернутых в бумажки с ее изображением. "Тэффи, что так редко встречается среди юмористов, была и в жизни полна юмора и веселья," — пишет Одоевцева. Но она расскажет еще и о другой Тэффи, усталой неврастеничке, страстной любительнице кошек, "старухе, похожей на старика," верящей в сношения с потусторонним миром и томящейся в скучном Биаррице военных лет.

Автор пишет и о другом юмористе — Доне Аминадо, мучительно боявшемся смерти близких. О Борисе Константиновиче Зайцеве, одним своим присутствием вносившем покой в мысли и сердца. О Юрии Терапиано, настойчиво подталкивавшем Одоевцеву на писание воспоминаний. О странном Борисе Поплавском, о художниках Юрии Анненкове и Сергее Шаршуне. Но память снова и снова приводит ее на Рю Колоннель Бонне, там — "вполне буржуазная, хотя и очень скромно обставленная квартира с многотомной библиотекой." Мережковский

вдохновенно рассуждает об Атлантиде, очень сильно набеленная и нарумяненная капризная умница Зинаида Гиппиус царит за чайным столом.

В конце своих воспоминаний Ирина Одоевцева посвящает теплые строки своему второму мужу, писателю Якову Николаевичу Горбову, на редкость милому человеку, о котором мы храним добрую память после наших кратких встреч в 1979 году. Но главное место в книге "На берегах Сены" отведено Бунину, которому посвящена почти треть этой блестящей книги, да "двум Жоржам" — Георгию Адамовичу, с которым Одоевцева, как и Георгий Иванов, были связаны неповторимой дружбой еще с тех петроградских дней, когда "брезжил над нами какой-то особенный свет," — и самому Георгию Иванову, остроумному насмешнику, "поэту в химически-чистом виде," постоянно смотрящему на нас со страниц воспоминаний своей жены, вполне отдававшей себе отчет в своей женской привлекательности, увлеченной светской жизнью и не скрывающей этого от читателей, но тем не менее чрезвычайно наблюдательной и умевшей терпеливо слушать людей, что дало ей возможность наполнить свои мемуары исключительно интересными подробностями. Именно поэтому глава о Бунине раскрывает много в его характере и поведении, а раздел, посвященный Георгию Иванову, содержит прекрасно изложенный рассказ о детстве поэта и начале его литературной деятельности, при помощи которого Ирина Одоевцева пытается объяснить многие странные черты в характере своего мужа. Тем не менее, прожив с ним тридцать семь лет, она признается:

"Мне он часто казался не только странным, но и загадочным, и я, несмотря на всю нашу душевную и умственную близость, становилась в тупик, не в состоянии понять его, до того он был сложен и многогранен. В нем уживались самые противоположные взаимоуничтожающие достоинства и недостатки."

В свое время, когда вышла из печати первая книга воспоминаний Ирины Одоевцевой "На берегах Невы," мемуаристка полагалась, в основном, на свою поистине блестящую память, да на те впечатления, которые остались у совсем молоденькой девушки от встреч с людьми в тот период ее жизни, когда она вряд ли думала об этих встречах, как о материале для своих будущих мемуаров. У наблюдательного и умного автора "На берегах Сены" уже совсем иной подход.

Вторая книга вышла из-под пера зрелой женщины, отточившей свое литературное мастерство и ясно представляющей, что общение с

крупнейшими представителями русской литературы в эмиграции налагает на нее обязанность как можно точнее воссоздать эти встречи и разговоры, сохранить эту уходящую Россию для *России будущей*. Не сомневаюсь, что необычайно рельефно вылепленная фигура Бунина воссоздана "по горячим следам" — интереснейшие разговоры с ним, вероятно, записывались день за днем в "Русском Доме" на маленьком французском курорте за тем самым длинным кухонным столом, покрытым черным лаком, который "мне и Георгию Иванову очень нравится. Мы оба сразу, сидя за ним, можем писать, не мешая друг другу" (и от которого Бунин, всегда боявшийся смерти, с возмущением отказался — "такой, как в похоронном бюро, чтобы покойников на него класть").

Просто невозможно полностью представить себе Бунина последних лет его жизни, не прочтя эти поразительно яркие страницы, ценные и как художественное произведение, и как литературоведческий материал, раскрывающий многое в мышлении и характере писателя.

Во второй книге своих воспоминаний Одоевцева уже далека от юной восторженности своих "девятнадцати жасминовых лет." Она не скрывает, например, того, что Бунин мог порой быть чрезвычайно неприятен в обществе, что у Георгия Адамовича, охваченного азартом игрока, "лицо становится злым и жестоким, голос — визгливым," что Георгий Иванов был "безгранично ленив" и т. д. Но в целом, воспоминания Одоевцевой написаны с огромным зарядом доброжелательности, находясь как бы на противоположном конце шкалы злых и едких воспоминаний самого Бунина. Касаясь каких-либо отрицательных черт описываемых ею людей, она неизменно руководится старым французским изречением "понять — значит простить," объясняя эти черты теми или иными условиями жизни или писательской судьбы и радостно находя в противовес этим отрицательным чертам положительные стороны. В своих воспоминаниях Одоевцева как бы следует заветам Георгия Адамовича, высказанным им уже под конец жизни, во время их совместного еженедельного обеда:

"... я хочу, чтоб обо мне писали бы только правду.

— Всю правду без утайки? — спросила я.

Он поморщился.

— Никто не хочет, чтоб о нем знали всю правду. Есть вещи, о которых нельзя говорить, — у каждого. Но я против лжи, против наведения тени и против того, чтоб меня покрывали сахарной глазурью. Пожалуйста, помните это, если когда-нибудь вам захочется писать обо

мне — *la verité, rien que la verité, но конечно, ne toute la verité.*”

И Ирина Одоевцева с большим тактом и уже отмеченной мной доброжелательностью следует этому совету в приложении к каждому описываемому ею лицу, не соблазняясь какими-либо сенсационными подробностями и нередко даже разоблачая выдумки других мемуаристов. И снова, как и в предисловии к “На берегах Невы,” автор обращается с просьбой о любви к людям, о которых она пишет в новой книге своих воспоминаний: “Все они нуждаются в еще большей любви не только потому, что ‘горек хлеб и круты ступени земли чужой’, но и потому, что еще больше, чем хлеба, им нехватало любви читателя и они задыхались в вольном воздухе чужих стран.”

И все, открывшие толстую белую книгу, населенную такими разными образами людей, чудодейственно оживленных силой таланта Ирины Одоевцевой, не могут остаться глухими к ее призыву.

Татьяна Фесенко

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЧЕТЬИ МИНЕИ В НАШИ ДНИ

Дальние предки россиян, как рассказывали наши учителя, читали, если были грамотными, жития святых и апокрифы. Не помню, как склонялись Четьи Миней в учебниках, но преподавательница истории русской словесности в Гимназии ХСМЛ в Харбине, незабвенная Ольга Васильевна Голубцова, учила меня и моих одноклассников и одноклассниц склонять эти два слова так: в именительном и винительном падежах — Четьи Миней, в родительном — Четьих Миней, в дательном — Четьим Минеям, в творительном — Четьими Минеями, в предложном — Четьих Минеях.

В поэзии слов этих я или не встречал (в косвенных падежах), или “адресов” не запомнил. Всплывает в памяти только строфа Андрея Белого (из поэмы “Первое Свидание”):

Молилась на Четьи Минеи,
Переводила де Виньи.
Ее пленяли Пиренеи:
Кармен, Барбе д'Оревилю,

но здесь нет косвенного падежа.

Только что прочел я в "Новом Журнале" № 151 увлекательнейший очерк Альберта Опульского "Л. Толстой в работе над агиографической литературой" — о том, как граф Л. Н. Толстой, перелагая житийные рассказы на "простой народный язык", не только устранял из житий весь пафос оригиналов, но также и все черты чудесного.

Альберт Опульский — человек "новой культуры", родившийся и получивший образование в СССР. На "Саводников кладбищенские урны" (слова Арсения Несмелова) сослаться он не может, ибо едва ли когда-либо держал в руках учебники Саводника или Сиповского. Язык у него правильный, даже хороший, но архаизмы, советской учебной программой не предусмотренные, могут оказаться ему "не по плечу".

В данном случае камнем преткновения явилось для него как-раз склонение слов Четьи Минеи. Тут он не чувствует почвы под ногами. Шесть раз (на страницах 86, 91, 95, 96, 98 и 99) упоминает он чтения из "Четьий Минеи". Другой вариант — "в Четьях Минеях" трижды появляется на странице сотой. Правильную форму — "в Четьих Минеях" — находим попеременно с неправильными на страницах 96, 98, 99 и 100.

Слово "минеи" — греческое (чтения на каждый день месяца). А слово "четьи" — имя прилагательное (знаю это твердо со слов выше-названной О. В. Голубцовой), означающее "чтомые", "подлежащие чтению"; по форме это слово сближается с прилагательными "мужичьи, холопыи, рабыи, заячьи, рыбий, лисьи". Подстановка любого из этих прилагательных во вступительную часть настоящей заметки убедит читателя в том, что тут нет импровизации: слово "четьи" склоняется, как "волчьи, собачьи, песьи, медвежьи" и др.

Другую вольность А. Опульский допустил на странице 95-ой, где упоминается "Житие Юлианны Лазаревской". Помнится, в одном из выпусков школьной хрестоматии "Отблески" имеется рассказ "Жизнь Иулиании Лазаревской". Юлиана — имя латинское; у славян оно изображалось, как Иулиания, хотя не все римские имена подверглись подобной переработке: Татиана не стала "Татианией", Валентина — "Валентинией". Лично мне привелось знать одну престарелую русскую помещицу, Ульяну Павловну Арсеньеву, а теперь изредка встречаюсь с

Юлианой Леонардовной К., родившейся в Германии; ее, конечно, никому и в голову не придет назвать Ульяной или Иулианией, тем более через удвоенное "н", как в статье А. Опульского. Ту же разговорную форму "Ульяна" приводит С. Пушкарев на странице 144-ой того же выпуска "Нового Журнала". С глубоким уважением,

Валерий Перелешин.

Дорогой Роман Борисович, не откажите в просьбе поместить в "Н.Ж." эту заметку. Она вызвана нападками на меня Л.Д. Ржевского в "Новом Русском Слове" от 13-го мая с.г. В статье "О Пушкиниане" он резко критикует мой очерк о Пушкине в "Новом Журнале" (154, 1984).

Сожалею, что в моем очерке о Пушкине я неверно процитировал один стих из письма Онегина. Надо читать: «Хотеть обнять у вас колени», а не «твои колени...» Благодарю Л. Р. за поправку. Это, как говорится, "досадная ошибка". Остальное — явные придирки. Л.Р. обвиняет меня в субъективности, в пристрастиях. Так, ссылаясь на авторитеты Пушкина, Вяземского, Батюшкова, он уверяет: они хорошо сделали, что высмеивали забытого Семена Боброва. Для меня названные поэты тоже достаточно авторитетны, но в данном случае они, по-моему, ошибались. Вот хотя бы строки, свидетельствующие о таланте Боброва. В одном стихотворении он так барочно-звучно воспевал русских моряков:

Не юные ли полубоги

В полуночных полях растут...

Л. Р. даже отказывает мне в праве заниматься литературной критикой. Другого мнения была Марина Цветаева: в письме ко мне от 23 ноября 1936 г. она одобряла мою критику и даже тот незрелый очерк, который я посвятил ей (см. *Русск. Литер. Архив*, Харвард, 1958 г., стр. 210). Эти письма Цветаевой часто цитируются — даже в СССР, где меня называют неизвестным корреспондентом Цветаевой! Горжусь ее

отзывом, но, конечно, не могу судить сам о качестве моей критики.

По непонятным причинам, Л. Р. взял под свою защиту книгу А. Терца-Синявского "Прогулки с Пушкиным", а я переименовал ее так: "Прогулка Ноздрева с Пушкиным". Р.Б. Гуль выразился сильнее: "Прогулка хама с Пушкиным", и был прав. Кто-то обвинил его в грубости. Но вот Цветаева крикнула младороссам: *хамло!* Она их так (да, грубо, но верно) обозвала за антисемитскую выходку на одном парижском собрании. А апологет Синявского Л. Р. не нашел никаких "шоковых суждений" в его книге, а их много, хотя бы: — "На тоненьких эротических ножках Пушкин вбежал в русскую литературу и произвел переполох".

Ранее Л. Р. был чужд всяких литературных скандалов и не стремился "эпатировать", но теперь вот взял под свое крыло Терца-Синявского Ноздрева: по-видимому, для Ржевского он достаточно авторитетный критик, и ему прощается всякая действительно "шоковая" субъективность — то "ячество" за которое он меня упрекает.

Л. Р. придирается ко мне, не желая разбираться в моей серии статей "Похвала российской поэзии", и самое слово "похвала" его "раздражает". Я-де не Эразм Роттердамский, чтобы хвалить-похвалять! Это слишком амбициозно. Позволю себе сказать несколько слов о моем подходе к поэзии. Прежде всего, я анализирую лад и звук стихов (метрику и фоннику). В этом смысле я формалист и многим обязан старым формалистам (Эйхенбауму, Тынянову), и не лишенным понимания структуралистам (вроде Лотмана). Далее я пытаюсь в общих чертах воссоздать эпоху, исторический фон. Касаюсь и биографий. Наконец, стремлюсь дать некоторый синтез: слагаю и поэта и его поэзию в один образ: это, конечно, уже мифотворчество, как в очерках Цветаевой, но, повторяю, о качестве моей критики судить не могу и только кое-что разъясняю. При этом, в моих очерках я часто прибегаю к помощи других поэтов, включая наших современников. Так, очерк о Пушкине я заключил стихами Кузмина: "И если в нем признаем брата..." Да, Пушкин наш испытанный друг, но критика-Ноздрева вроде Терца-Синявского, он сразу бы срезал, сразил эпиграммой, как Фаддея Булгарина...

Мою "Похвалу российской поэзии" я уже давно начал писать. Первый отрывок был помещен в журнале "Мосты" (V, 1960). Благодарен Вам, Роман Борисович, за помещение других глав в "Новом Журнале".

С уважением и приветом, Ваш Юрий Иваск.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ,

В мою статью "Людоедство в хлебной стране" ("Н.Ж.", 153, 1983 г.) вкрались досадные ошибки. Последний абзац на 202 стр. следует читать так: "Однако, количество жертв сталинского голода и террора по Туркестану и другим мусульманским районам я могу установить по официальным данным: согласно резолюции XII съезда партии в 1923 году, все мусульманское население в СССР составляло 30 миллионов человек, а по переписи населения СССР 1959 года это население уменьшилось до 24 миллионов человек".

Ссылка на мою работу, напечатанную по-немецки, должна быть не на "Welt", а на журнал "Glaube in der 2. Welt", выходящий в Швейцарии. С глубоким уважением,

А. Авторханов...

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ
”Я УНЕС РОССИЮ”
АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ II. ”Россия во Франции”. Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в ”Новом Журнале”. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

ТОМ I. ”Россия в Германии”. Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу ”Нового Журнала”: ”New Review” 2700 Broadway, New York 10025.

Готовится к печати ТОМ III. ”Россия в Америке”. Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Сельскохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпатриоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. ”Народная Правда”. По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. ”Лига борьбы за Народную свободу”. Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и ”Новый Журнал”, Радиостанция ”Свобода”. Встреча с Солженицыным. Работа над ”Я унес Россию”.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1984 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1984 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
